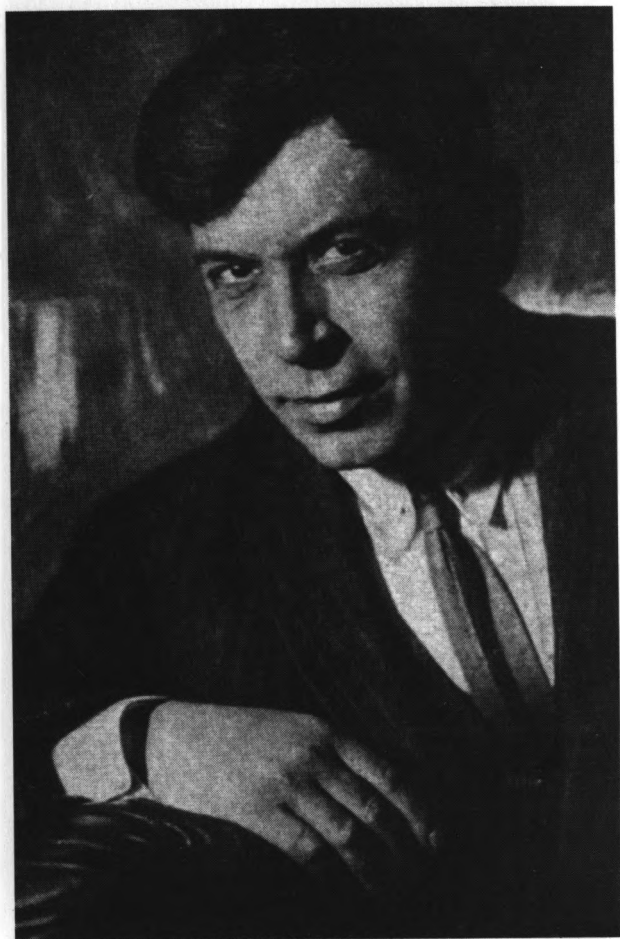


Лев Тумилевский

Судьба
и жизнь

Трифон
М
МОНОГРАММА



Александров

Лев Гумилевский

СУДЬБА И ЖИЗНЬ



Воспоминания

Москва Грифон М 2005

ББК 84(2Рос-Рус)6
Г94

ISBN 5-98862-006-X

Вступительная статья Л.И. Лебедевой

© Грифон М, 2005

© В.В. Носова-Гумилевская, наследница, 2005

© Л.И. Лебедева, С.С. Никитин, комментарии, 2005

© Игорь Борисович Северцев, оформление, 2005

Четверги у Гумилевского...

Воспоминания Льва Ивановича Гумилевского, законченные им в 1969 г. и опубликованные двадцать лет спустя в саратовском журнале «Волга», пожалуй, следовало бы назвать явлением уникальным в мемуаристике XX века, — прежде всего потому, что «захват материала» необычайно широк и по временным и по событийным параметрам. Родившийся в Саратове в 1890 г., автор начинает повествование со времени своего детства, не слишком счастливого в рано потерявшей главу многодетной семье. Лева Гумилевский оказался «везунчиком» — его приняли в лучшую саратовскую гимназию, и обучался он на казенный счет. В гимназии и определилась его тяга к литературе и писательству.

Первый свой рассказ он опубликовал в 1914 г., а в дальнейшем его литературная дорога пошла вполне гладко и успешно: перебравшись в 1915 г. в Петроград, он публиковал рассказы во многих журналах, в том числе в «Русском богатстве» и «Современном мире». В 1918 г. он вернулся в Саратов, а с 1923 г. постоянно жил в Москве, продолжая публиковать свою прозу, — рассказы, повести, романы и книги для детей, из которых наибольшей популярностью пользовался приключенческий роман «Харита» (1926). Так продолжалось до определенного момента, когда писателю пришлось совершить крутой поворот, в корне изменивший течение его жизни, литературной и обыденной.

Гумилевский весьма подробно рассказывает о перипетиях своего бытия, но главное в его мемуарах не в этом. Главное в том, что благодаря пристальной наблюдательности и острейшей восприимчивости Гумилевского к окружающему люди, реально существовавшие, но в большинстве своем уже ушедшие в мир иной, оживают на страницах его книги с такой осязательностью, что ты будто слышишь их голоса, видишь лица и жесты, замечаешь выражение их глаз. Непосредственность изображения, какая дана далеко не всякому прозаику, представляет собой самую суть обаяния этих воспоминаний и воздействия их на читателя. Книгу Гумилевского «Судьба и жизнь» по праву можно

было бы назвать «романом о двадцатом веке». В среде его персонажей присутствуют не только писатели, прошедшие по дорогам нескольких неслыханно трудных десятилетий века кровавых исторических парадоксов, не только журналисты, издатели, чиновники от литературы, государственные и партийные руководители, включая И. Сталина, но и крупные ученые, инженеры, авиаконструкторы, с которыми он тесно общался на новом этапе своей литературной работы, после упомянутого выше поворота в его судьбе.

В каждом литературном произведении, к какому бы жанру оно ни относилось, в том числе и в воспоминаниях, есть своя кульминация — высшая точка напряжения сюжета, или — для мемуариста — главное средоточие его мысли. В воспоминаниях Гумилевского таких «главных смыслов» два: это, во-первых, главы, посвященные Андрею Платонову, с которым Лев Иванович был дружен долгие годы, личностью и талантом которого он восхищался. В контексте повествования эти главы несомненно имеют самостоятельное литературное значение, являя собой, как говорят ученые-литературоведы, «обрамленную повесть».

Вторая кульминация — особо выделенные автором и размеченные на пункты, или параграфы, страницы, на которых он излагает свое написание потомкам, свои обдуманые за долгие годы взгляды на развитие техники в широком смысле этого слова и разрушительное воздействие ее развития на человеческую цивилизацию — тоже в широком смысле слова. Если учесть то обстоятельство, что написан этот меморандум несколько десятилетий назад, нельзя не подивиться прозорливости писателя и верности многих его суждений.

Лев Гумилевский был разносторонним человеком; все, о чем он писал в зрелые годы творчества, было изучено и продумано им досконально до того, как он брался за перо. О каком же крутом повороте в его писательской судьбе упоминалось ранее?

Поворот этот, происшедший не только в судьбе Гумилевского, но во многих и многих писательских судьбах в конце 20-х — начале 30-х годов, был результатом тех процессов в советской литературе, которые определялись политической ситуацией в стране, и своей целью, четко сформулированной в партийных постановлениях и газетных статьях, имели превращение литературы в служанку государственной политики во всех областях жизни страны. Тем прозаикам и поэтам, кто не «выстраивался» в этом направлении, грозили либо репрессии, вплоть до расстрела, либо полная невозможность печататься, как это было в случае с М. Булгаковым. От физического или полного творческого уничтожения спасал только уход в иную область литературы: художественный перевод либо научно-популярную беллетристику.

Литературовед и языковед-славист Т.М. Николаева в своей статье о так называемой «срединной прозе»*, анализируя процесс вытесне-

* Статья эта, под названием «“Срединная проза” и парадигма социологизированных оппозиций» опубликована в вышедшем в 1995 г. в Тренто сборнике статей «Вторая проза». Русская проза 20-х—30-х годов XX века».

ния из литературы «неугодных» писателей, пишет о судьбе троих, книги которых о проблемах нравственности и сексуальных отношений в среде молодежи, вышли почти одновременно. Это были «Без черемухи» (1926) П. Романова, «Луна с правой стороны, или Необыкновенная любовь» (1926) С. Малашкина и «Собачий переулок» (1927) Л. Гумилевского.

«Критика практически уничтожила этих писателей, — говорится в статье. — П. Романов погиб в 1938 г., С. Малашкин замолчал до 1956 г., Л.И. Гумилевский пошел по пути полной смены творческой ориентации, то есть перешел в ряды авторов научно-популярной литературы».

О том, какого рода «критика» обрушилась на его роман о фабричной молодежи, автор воспоминаний говорит достаточно подробно и выразительно. Нельзя сказать, чтобы его путь в области научно-популярной беллетристики, в которой он, кстати, успел сделать очень многое, был усеян розами, — шипов ему досталось немало в жарких, но нередко, к сожалению, бесплодных для него спорах с «воителями и воительницами» издательского фронта, использовавшими в этих боях недозволенное оружие в виде лишенных здоровой логики аргументов и так называемых внутренних рецензий заранее «заказанного» рецензенту направления. Поддержку Гумилевский находил у подлинно компетентных и принципиальных людей, главным образом крупных ученых и практических специалистов, с которыми ему постоянно приходилось общаться на своем «втором литературном пути».

В области научно-художественного жанра Л. Гумилевскому, начиная с 30-х гг., удалось сделать поразительно много. Чтобы оценить его писательский подвиг, достаточно привести перечень опубликованных им научно-популярных произведений. В 1933 г. вышла его книга «Рудольф Дизель» — в числе первых, которыми открылась приобретающая вскоре широкую известность серия «Жизнь замечательных людей». Далее последовали «Густав Лаваль» (1936), «Русские инженеры» (1947), «Создатели двигателей» (1960), «А.М. Бутлеров» (1961), «Вернадский» (1961, книга переиздана в 1965 и 1988 гг.), «Зинин» (1965), «Чаплыгин» (1969), «Чернов» (1975).

Обыденная жизнь Льва Ивановича Гумилевского в условиях жестокого «жилищного кризиса» предвоенной Москвы была не слишком легкой и комфортной: он со своей первой женой (детей у них не было) долго ютился в коммунальной квартире, почти лишенной элементарных удобств, о чем он весьма ярко и с присущим ему несколько мрачным юмором рассказывает в своих воспоминаниях. Лишь много позже ему удалось вступить в писательский жилищный кооператив и перебраться в небольшую отдельную двухкомнатную квартиру.

По свидетельству людей, его знавших, Гумилевский вел жизнь уединенную, встречаясь у себя в доме с достаточно узким кругом людей. Лишь после событий 1956 г. он несколько изменил привычный стиль существования и с 1958 г. устраивал у себя дружеские посиделки, еженедельные «четверги», во время которых рассказывал о многообразных событиях своей жизни — литературных и прочих, о людях, с которыми

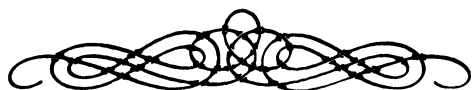


*Гости одного из четвергов Л. Гумилевского.
Слева направо: Э. Циппельзон, О. Михайлов, А. Михайлова,
А. Михайлов, Т. Николаева.
Фото Л. Гумилевского 1958 г. Из архива Т. Николаевой.*

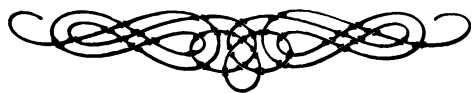
пересекались его дороги. С определенного времени начал он и читать собравшимся вслух свои воспоминания, над которыми трудился долго и тщательно.

Вскоре после ухода из жизни его первой жены Лев Иванович женился на В.В. Носовой, ставшей его преданным другом и деятельной помощницей в творческой работе. После смерти Л.И. Гумилевского в 1976 г. она систематизировала его огромный архив, переданный ею в хранилище РГБ. Именно В.В. Носовой-Гумилевской мы обязаны тем, что в 1988 г. в журнале «Волга» появилась подготовленная ею публикация мемуаров мужа, текст которой и воспроизводится в предлагаемой читателям книге.

Л. Лебедева



СУДЬБА И ЖИЗНЬ
Воспоминания



Я думаю, что самое важное и полезное людям, что может написать человек, это то, чтобы рассказать правдиво пережитое, передуманное, перечувствованное им.

Л. Толстой

Часть первая

1

В 1912 году я послал Алексею Максимовичу Горькому два небольших рассказа с обычным вопросом: есть ли у автора способности, стоит ли продолжать?

Горький находился в Италии, я жил в Саратове, Горький — знаменитый писатель, я — недоучившийся до конца студент, печатавший иногда рассказы и стихи в саратовских газетах.

С великим изумлением получил я письмо Горького.

Алексей Максимович писал, что судить по присланному он не может, писать такие рассказы, думается ему, не трудно — пишут их много. Удивил его крайний пессимизм автора. Указывая на него, Горький заканчивал письмо афористически:

«В двадцать два года — это даже для русского рано».

Не знаю, существует ли пессимизм врожденный, так сказать, физиологический, но, оказывается, можно и родиться с нахмуренным лбом и угрюмым взглядом. Мать моя часто рассказывала, как уже в колыбели дивил я мрачностью и серьезностью всех, кто приходил посмотреть необыкновенного ребенка.

Говорят, я не улыбался ни блеску, ни шуму, ни своим, ни чужим. Огорченные родственники, знакомые и знакомые знакомых восклицали недоумевая:

— Матушка Раиса Ивановна, да что же из него вырастет, если он уже сейчас такой?

Одни тут же решали: профессор! Другие шли дальше: философ!

Мы неверно думаем, что художником, писателем, архиереем, инженером надо родиться. Мы не рождаемся ими, а становимся — в зависимости от разнообразных и, чаще всего, ничтожных влия-

ний, в такую пору жизни, когда их трудно заметить, а тем более оценить. Если бы мы не знали, как вырастает горб, то и горбунов считали бы прирожденными.

Вот первое мое воспоминание.

Я сижу на кошме, расстланной на полу под самым окном, настезь раскрытым. Ничего, кроме белой кошмы и куска стены, перед глазами у меня нет. Стена плохо оштукатурена: по ней клетками выступают ребра дранок. В окно протягиваются чьи-то руки: они быстро подхватывают меня, поднимают и выносят через окно на огненно жаркий, ослепляющий свет солнца.

Это мать выкидывает меня вслед за братьями из дому, где гремит и бушует отец.

Отец мой — потомок уходящего в бесконечное прошлое старинного рода деревенских дьячков и пономарей. Трудно было бы составить нашу родословную. Свято блюдя наследственность духовного звания, предки наши почти в каждом поколении теряли свои прозвища, а вместе с тем и память о родстве. Так и мой прадед, сын пономаря Ярославова, при поступлении в Саратовское духовное училище был поименован за свой малый рост — Гумилевским, по латинскому слову *humilis**, а родной брат его стал называться по церкви, где служил их отец, — Никольским.

Иван Федорович Гумилевский — мой отец — первым в роду нарушил традицию и поступил на службу в казначейство, не окончив семинарии и пренебрегая духовным званием.

Начав с писца, он дослужился до чина коллежского секретаря. Он был отличный бухгалтер, но два или три раза в год предавался бурному запою. Тогда он приходил на службу и обличал своих начальников в казнокрадстве, беззаконии, взяточничестве. Его смещали с должности и переводили в другое казначейство. Таким образом, к 36 годам жизни он перебивал в шести уездных казначействах Саратовской губернии и умер в Камышине, не успев перевезти семью из Аткарска, где родился я.

У него был порок сердца. Умер он неожиданно, обливаясь кровавой пеной, в пустой квартире на голом полу, возле входной двери, один на один с голубым штофом, наполовину пустым.

И вот второе мое воспоминание, такое же яркое и значительное, из тех же дней раннего возраста.

* *Humilis* (лат.) — низкий, невысокий (о росте).

Я сижу на нижней ступеньке деревянного крыльца, один. Мать ушла в этот дом, оставив меня на улице. Улица городская, с плотными рядами домов по обеим сторонам, но дорога посредине деревенская, с колеями, полными пыли. В колеях, наслаждаясь ходьбой по горячей пыли, бродят мальчишки и куры. Над всеми нами пылает солнце; нет ни дерева, ни крыши, ничего, что могло бы укрыть от зноя.

Это моя мать подписывает с хозяином места договор о покупке флигеля во дворе дома № 87 по Царевской улице в Саратове.

Купленный нами маленький флигель в две комнаты построил какой-то железнодорожник. Он строил его из старых шпал, поставленных стоймя и обитых сверху красной вагонной обшивкой. На обшивке сохранились следы номеров и инициалы дороги-владельца. В одном месте остался конец надписи: «восемь лошадей».

Умница мать моя купила этот домик за 200 рублей. Она истратила на это целиком пособие, выданное из Эмеритальной кассы на похороны отца и до назначения пенсии. Как ни случилось нам потом жить, никто нас не гнал с квартиры, никто не видел нашей нужды, которую правило приличия тогда требовало всячески скрывать!

Мы жили в своем доме, окруженном двором, куда к нам никто не ходил. От большого общего двора ограждались мы стеной нашего дома и палисадником перед окнами, где росли сирень и шиповник. Ажурный заборчик палисадника завершался высоким шестом. На шесте вместо флюгера стоял деревянный солдатик с саблей в руке. Когда дул ветер, солдатик поворачивался и размахивал саблей.

И вот еще одно, последнее из дней раннего детства, воспоминание.

На деревянном полу с широкими трещинами, в открытых сенях, скользят зеленоватые тени от огромной ветлы. Свежую листву ее насквозь просвечивает солнце. Я стою очарованный необыкновенным светом и звоном церковных колоколов. Я не понимаю, что происходит, но мне удивительно хорошо.

Это — мне шесть лет и в Москве коронуется новый царь под звон колоколов необъятной Руси.

2

Я был меньшим в семье, дольше оставался дома, с матерью.

Каждый месяц, возвращаясь домой с пенсией, мать дарила мне новенькую монету в три копейки. На себя и детей она полу-

чала двадцать рублей восемьдесят три копейки в месяц. Вот эти три копейки мне и доставались как меньшому, маленькому. Тратил я их при помощи братьев. Вдвоем или втроем мы бежали в магазин Земского книжного склада. Там обыкновенно покупали за копейку книжку, за копейку карандаш и на копейку бумаги.

Старший брат мой Вениамин Иванович в эти годы кончал семинарию, сестра Алевтина Ивановна — епархиальное училище, и в наши заботы они уже не вмешивались. Из нас четверых, мы — двое младших, Алексей и Лев, — сидели дома, а двое старших — Иван и Анатолий — учились в Духовном училище. Учились они не очень хорошо, но любили по вечерам играть с нами в учителей и учеников. Случалось, игра кончалась слезами, но чаще — выдачей наград. За похвальные листы шли чайные рекламы с нарядными китайками, вкладывавшиеся в пачки чая.

Так, играючи, незаметно ни для кого, я выучился писать и читать. Мать моя часто вспоминала, как удивил я ее, прочитавши вслух вывеску на обувном магазине Ауера. Она везла меня в салазках по улице и услышала, как я вслух громко сказал: «Ауер». От удивления она остановилась, потом наклонилась ко мне и, сдвинув шапку, поцеловала в лоб.

У матери дома не хватало времени вникать в наши детские дела, и мы жили самостоятельно. Оторвавшись от печки с неотстывшим от пламени лицом, мать садилась у окна за шитье и стучала машиной до поздних сумерек, пока можно было видеть. С нами теперь жила бабушка — по матери, но днем ее никогда не было, она возвращалась к вечеру.

Бабушка Матрена Герасимовна ходила на поденную работу то в одну, то в другую семью известных в Саратове железоторговцев Егоровых. На них же шила и мать.

Когда набиралась груда готовых простыней, наволочек или платков, мать завязывала все это в салфетку, и мы шли сдавать работу. Я держался за другую руку и украдкой ее целовал, уверенный, что мать не замечает моих поцелуев. У матери не было досуга для ласк, и мы их стыдились.

Завязав в уголок освободившейся салфетки деньги, всегда мелким серебром, мы уходили не сразу. В те времена скоростижные смерти, да еще в возрасте моего отца, были редкостью. Мать мою оставляли, чтобы послушать историю нашего сиротства, которая была еще мучительно свежа и в памяти и в сердце матери.

Я стоял у нее в коленях, дрожа от слез, страха и жалости, а она, глядя мою голову, говорила:

— Ведь пьяному-то море по колена! Попадется утюг, пустит утюгом, схватит за косы, таскает, пока не устанет... Господи боже, что я только не пережила! Да уж не о себе, только о детях думаю, как бы их уберечь... Ну и бегу с ними из дому. Один на руках, другого веду за руку, третий за подол ухватится... Боже мой, чего только я не натерпелась! Рада уж, что умер, прости, Господи, мои прегрешения, вот ведь до чего дошла...

Счет буйств и запоев, бегств из дому с детьми и ночевок у соседей с каждым разом уходит в меня все глубже и страшнее.

— Господи, а ведь трезвый, — какой отец, какой муж! — уже плачет мать. — Только бы жить да радоваться! Так вот нате же вам! Начинается запой, и беги из дому!

— С чего же это, Раиса Ивановна?

— Ни с того ни с сего, с озорства — и все тут! Вот как-то Великим постом начали вечерни звонить, подходит к окну, передразнивает: дон, дон, донннн... А потом погрозил кулаком в окно, проскрежетал: у, черти долгогривые! И запил.

Отца я не помнил, зачем он нужен в семье — не знал, в чем виновата была мать перед ним — никто мне не сказал. С пересохших губ матери слова падали как проклятья бессмыслице, жестокости и глупости.

Человек сильной воли, резкий, решительный и властный, моя мать не прощала никому никаких слабостей, даже нам, детям. Отцу не прощала пьянства, нам — детскости. Во всем, что мы делали, она всегда находила что-нибудь такое, что сделано было ей назло. Принесли чай Перлова вместо Высоцкого — назло. Купили тетради у Бестужева, а не у Болдырева — назло. Вымели двор, убрали хлевушок, но поставили не на место метлу — назло.

И она швыряла ухваты, изнемогая от нетерпимости. С пылающим от огня и раздражения лицом она кричала:

— Ах, чтоб вам сдохнуть! Прости, Господи, мои согрешения, — погибели на вас нет! Наслал вас Господь на мое наказание... Ведь говорила же, говорила, тысячи раз говорила: не смей брать хлеб у Беспалова!

Мы жались по углам, не смея дышать. Никогда в голову не приходила мне мысль, что мать, может быть, не права, а мы, может быть, не виноваты.

...Когда ум и сердце моей матери освобождались, она была добра к людям и нежна к детям. Тяжкий крест на ее жизни — мы чувствовали себя виноватыми в том, что родились и живем.

И мне всегда, и страстно, до слез хотелось искупить нашу вину. Я говорил ей:

— Я вырасту, куплю вам вольтеровское кресло, и вы не будете ничего делать, только сидеть!

Вольтеровские кресла я вычитал, никогда их не видел, но представлял себе как земное счастье.

3

Я еще не учился в школе, но читал хорошо, как взрослый. Первое, что помнится по заглавию, роман «Мальтийская цепь»¹ попался мне в «Ниве»². Не думаю, однако, что там было что-нибудь для меня интересное.

Страсть к чтению пробудили во мне не «Нива», а копеечные книжки народных рассказов Л.Н. Толстого. Они составляли мою собственность и библиотеку. Более страшного, чем «Много ли человеку земли нужно», я уже никогда не читал.

Играя с нами в «учеников и учителей», братья мои с особенной охотой учили нас чистописанию, не требовавшему от них больших знаний. И я выучился писать не хуже их.

Семен Михайлович Орлов, приятель отца, сочинил нам прошение в министерство финансов с просьбой о «пособии» за «службу отца».

— Надо, Раиса Ивановна, переписать, — сказал он, — там руку мою знают!

Прошение переписывал я. Печатал красным сургучом конверт он сам и при этом прикладывал вместо печати свой золотой перстень с инициалами.

Это был настоящий чиновник, холостяк и пьяница, добродушный и веселый человек. Хмурый взгляд мой, уставленный на него, не нарушал его добродушия. Мрачной серьезности моей он не замечал. Узнав, что я прекрасно читаю, он пообещал:

— Я ему подарю книгу, Раиса Ивановна! У меня есть. Одна вот такая, — он широко развел руками, лукаво глядя на меня, — а другая — вот такая, совсем маленькая! — он раздвинул большой и указательный, с перстнем, палец, показывая ее высоту. — Хочешь, что ли?

Я отвернулся, конфузясь, но все-таки пробормотал:

— Спасибо.

Я ждал подарка, воображая его в тысяче разных видов. Большая книга оказалась «Островом Пингвинов» Анатоля Франса — парадное приложение к журналу «Стрекоза»³ — с рисунками, крупным шрифтом и большими полями. Другая книжечка, прилагавшаяся к «Стрекозе» в противовес огромному роману Франса, очаровала и покорила меня. Она называлась «Росинки с цветов всемирной поэзии». К ней необыкновенно шли красный с золотом переплет, тонкая бумага, мелкий шрифт, ясная печать. Никогда ни один подарок не делал меня более счастливым.

Семен Михайлович скоро ушел. Мать вырвала у меня из рук книгу и направилась к своему сундуку.

— Хорошая книжка такая, перепачкаете, изгадите! — сказала она, открывая сундук, и, бросив туда мои «Росинки», захлопнула крышку.

Привычка прятать в сундук все, что ей нравилось, тяготела над матерью, как кошмар, и без нужды увеличивала нашу детскую обездоленность. Оскорбленный погребением «Росинок» в недостижимом сундуке, я не стал читать и «Остров Пингвинов». Рисунков я не понимал, а хорошо знакомый по детским книгам шрифт ненавидел.

Эстетические переживания пробудили во мне не книги. Это сделал Саратовский Радищевский музей⁴.

Каждое воскресение, сначала с братьями, а потом и один, проводил я три часа в этом музее. Самое здание его на Театральной площади внушало мне трепетное уважение, как Старый собор с пугачевскими пушками у притвора.

Мы робко раздевались внизу, предвкушая наслаждение, и шли в боковые залы или сразу поднимались наверх по чугунной лестнице с ковром. Нас поражали и тепло, лившееся в медные отдушины из стен, и странный свет с потолка, сквозь тонкую пелену снега, и блеск паркетных полов, и тишина тихих шагов посетителей.

Там было много картин. Я помню и копию с «Урока анатомии»⁵, и оригинал «Убийства царевича Дмитрия» — самые большие картины. Однако больше всего я дивился боголюбовским рисункам в его письмах, которые были выставлены в музее вместе с картинами Боголюбова⁶.

Рыцарские стальные одеяния по углам зал, со шлемами и кольчугами, меня пугали. Следы ржавчины я принимал за кровь. Больше всего простаивали мы внизу, за лестницей, у моделей двух пароходов Черноморского добровольного флота. Один из них назывался «Саратов».

Самой странной вещью казалась мне докторская мантия Тургенева. На его письменном столе, возле гипсовых слепков лица и руки лежали печатные подписи «Дар Виардо». Я не понимал, что такое в и а р д о.

Вот еще кто содействовал моему эстетическому развитию в ранние годы — почтальон Артамон Сергеевич Гумилевский. Он приходился нам каким-то родственником, и, когда приносил письма, мать поила его чаем и расспрашивала о родных, а мы смотрели на его смуглое лицо, черную бороду и кожаную сумку на широком ремне через плечо.

Наконец он обращал на нас внимание, вынимал из сумки какой-нибудь циркулярно по всем адресам рассылаемый проспект нового журнала с картинками, каталог или прейскурант, срывал бандерольную обертку с них и дарил в наши жадные руки.

Мать испуганно останавливала его щедрость, а мы видели в нем властительного человека, вроде губернатора.

Проспекты, каталоги и рекламные издания, рассылаемые бесплатно в чужие адреса, показывали нам другой мир. Потом, разобравшись в правопорядке, я сам стал их выписывать по газетным объявлениям. Мне это стоило трехкопеечной открытки, а доставляло бездну наслаждения. Наш почтальон в это время был повышен в своих обязанностях и — с револьвером у пояса на синем шнураке — стал разносить не письма, а деньги.

Я помню похожие на однотомную энциклопедию каталоги «Мюра и Мерилиза»⁷, огромные, как альбомы, музыкальные каталоги Юлия Генриха Циммермана⁸, красочные прейскуранты цветоведа Мейера. Матери и это наше детское увлечение казалось нарушением чьих-то прав и внушало страх.

— Ведь там люди думают, что человек пишет! — кричала она. — Как вам не стыдно!

Несколько раз в год мать разбирала сундук. Я успевал завладевать «Росинками», но ненадолго. Увидя у меня книгу, она отбирала ее и бросала обратно.

Первое стихотворение мое подражало какой-то страничке из «Росинок». Подражал я так: если там было — «трещат декабрьские морозы», то я писал — «трещат январские морозы».

Не удивительно, что десять лет спустя я дарил своей невесте двадцать четвертое издание «Стихотворений Надсона» с надписью на латыни:

«Прекрасное — прекрасному».

4

Я окончил городское начальное трехклассное училище в Саратове, а затем поступил во 2-ю Саратовскую гимназию. Едва ли не до последних классов гимназии я опирался на те знания, что получил в начальной школе: так превосходно было поставлено дело, так продумана программа занятий, так честно подобран учительский состав.

Гимназии к этому времени уже демократизировались. Большинство в нашей гимназии составляли дети заволжских колонистов, купцов, мещан, разночинцев, как я. Не имела большого значения состоятельность родителей. Меня освобождали от платы за учение уже с первого года.

Наша Вторая гимназия помещалась сначала в здании старого духовного училища, почти на самой Волге. Я ходил пешком через весь город, с тяжелым ранцем, в длинном пальто и часто встречал губернатора П.А. Столыпина, выходявшего из дому. Губернаторский дом находился тогда на Московской улице, у Волги. Через год гимназию перевели в новое здание, по нашей же Царевской улице, в нескольких минутах ходьбы от нас. Теперь я старался усакальзывать от товарищей так, чтобы никто не знал, где мы живем и как.

От детских глаз трудно укрыться. Я раз пришел в двух левых сапогах. Правый отдали в починку, а братнин левый из отношений еще годился надеть. Уже в первую перемену весь класс знал, что я пришел в разных сапогах.

Бедность мучает не голодом, а постыдностью.

По установленному обычаю, третий класс в нашей гимназии переходил в руки директора, как преподавателя латинского языка и классного наставника. Анатолий Абрамович Казаринов был удивительный педагог. Он бегал в проходах между партами, задавая вопросы, требовал немедленных ответов и держал весь класс в напряжении, успевая только показывать пальцем — к кому обращался:

— Ты... Ты... Ты...

И метод был таков, что фактически запасенной в третьем классе латынью мы все держались до выпускных экзаменов.

В самом начале года я ответил ему по вызову и получил пять. На другой день, вопреки ожиданию, снова вызов и снова — пять, ко всеобщему удивлению. На третий день опять вызов, уже сверх

всякого вероятия — и на этот раз — четыре. Затем весь год ни одного вызова, но в каждой четверти пятерки по доверию и беглым вопросам, когда замнется кто-нибудь рядом.

В конце урока директор превращался в классного наставника. Остановился в узком проходе между партами, заложил руки под фалды фрака и глядит на меня:

— Ты завтракаешь?

Я встаю и мучительно краснею: гимназический завтрак в столовой стоит рубль в месяц, из дому мне приносить нечего, но я отвечаю утвердительно.

Частный разговор оживляет класс. Товарищи спешат меня выручить:

— Не завтракает! Не завтракает!

И даже слышится не очень громкий голос:

— Он — бедный!

Директор прекращает шум:

— Будешь ходить завтракать!

Едва наступает перемена, ребята тащат меня в столовую. В фарфоровых кружках налит и слегка дымится горячий чай. Сторож, готовящий завтрак, смотрит в список, находит мою фамилию, выдает полбулки и чай. И вот до конца курса я завтракаю за счет «Общества вспомоществования нуждающимся ученикам» Саратовской 2-й гимназии.

Но вот я уже в четвертом классе. Директора у нас нет. Через его руки проходит новая группа учеников. Но каждое полугодие, украдкой, чтобы не видели товарищи, я являюсь к нему подать прошение об освобождении от платы за учение. Прощение пишу я сам. Мать только подписывает.

Перед кабинетом я долго прохаживаюсь с раскрытой книгой в руках, выжидая, когда там никого не будет, и вхожу никем не замеченный. У Анатолия Абрамовича небольшие узковатые глазки под большими седыми бровями, и окидывает он меня взглядом на мгновение, когда я отворяю дверь.

Но через несколько дней приходит канцелярский сторож и равнодушно кричит в класс:

— Гумилевский который? К директору!

Я иду. Товарищи оглядываются на меня с сочувствием. В кабинете директор с едва заметной улыбкой показывает мне на дверь в канцелярию:

— Пойди, там портной с тебя мерку снимет.

И мне шьют настоящую, как у всех, шерстяную, а не казине-товую, в какой я ходил, форму. В новой куртке и разутюженных брюках я захожу благодарить, директор спрашивает:

— Учишься как? Тройки есть?

— Нет.

— Ну и дальше так! Что мелко плавать!

Не помню, по чьей рекомендации и каким образом, уже в четвертом классе я получил своей первый урок. Занимался я у какого-то аптекаря на Ильинской площади за десять рублей в месяц с его дочерью.

Смуглую маленькую ученицу мою в коричневом платье звали Региной, по латыни — царица. Тонкие пальчики ее, измазанные чернилами, черные косы и необыкновенное имя ужасно трогали меня, но я честно кричал на нее, и раз она так расплакалась, что прибежал отец, умоляя меня не быть слишком строгим.

Так начал я зарабатывать деньги.

Я хорошо учился, но никогда не выбивался в первые ученики. Я шел на памяти и зрении: часто отвечал по учебнику, читая через две парты. Уроки я готовил у всех на глазах в перемены и удивлялся, как можно получать двойки или оставаться на второй год!

Евгений Валентинович Элухен преподавал нам с пятого класса математику. Он почти никогда меня не спрашивал, но в четвертях выводил пятерки за «критический ум».

Я как-то встретился с ним на Немецкой улице. Немецкая в Саратове служила всем для встреч и прогулок. Учитель мой подал мне руку, мы остановились. Дело шло уже к выпускным экзаменам, и он спросил меня, как идут дела.

— Боюсь провалиться, — признался я. — По совести говоря, я ведь ничего не знаю!

— Ну, если такие, как вы, будут проваливаться, то кто же кончать будет? Выдержите, — уверенно сказал он, — вот в университете дело будет серьезнее!

Начался разговор на древнюю тему о том, что гений есть труд и алмаз требует шлифовки, чтобы стать бриллиантом, а затем перескочил на Шаляпина. Шаляпин давал тогда в Саратове концерты.

Этими концертами Саратов был обязан в значительной мере второй жене Шаляпина Марии Валентиновне⁹, родной сестре моего учителя, желавшей повидаться с братом и познакомить с ним Фе-

дора Ивановича. Более всего поразила Евгения Валентиновича способность Шаляпина везде и всегда, даже в гостях, работать над собой. Накануне Шаляпин был у него, и Элухен рассказывал:

— Вот видите ли, какой это человек! Сидим за столом, разговариваем. Жена хотела поставить конфорку на самовар и зацепила ею за что-то, и Федор Иванович тут же повторил вполголоса этот звук — и так верно, что мы диву дались. Не в том дело, что у него абсолютный музыкальный слух... А в том, что он и во всей славе своей ежеминутно, ежечасно работает над собой...

Я этот живой эпизод, рассказанный мне тогда моим учителем, правильно понял и на всю жизнь запомнил, но приверженность к делу вырастает не из подражания гению, а из чего-то другого, чего у меня тогда не было.

Математику я не любил, задачи большею частью списывал, а когда приходилось решать их самому, решал по схемам, сохранявшимся в памяти.

Мы все так учились и все боялись: кто — математики, кто — сочинения, кто — и того и другого.

Перед выпускными экзаменами мы решили узнать у Элухена, какая будет задача. Выбрали несколько человек, в том числе и меня. Евгений Валентинович принял нас очень любезно, но, разумеется, ничего о том, какая будет задача, не сказал.

— Так я могу сказать, — говорил он, — задачу присылают из округа директору, он распечатает ее только на экзамене...

Мы все, однако, знали, что накануне канцелярский сторож делает с гектографа несколько, по числу экзаменуемых, десятков оттисков, которые утром будут розданы по партам. Сторожа мы подкупили. Правда, на этот раз он работал под надзором; дали ему строго считанные листы бумаги, но тот был догадлив. Когда надзиратель на минуту вышел, он спустил штаны и на половине толстого зада сделал драгоценный оттиск. Ночью мы все сошлись и в пять минут решили задачу.

Из всех гимназических предметов пришелся мне по душе только один — философская пропедевтика, состоявшая из двух курсов — логики и психологии. Наша гимназия первая в России организовала у себя кабинет экспериментальной психологии.

Преподавал психологию учитель Закона Божия священник Николай Николаевич Русанов. Это был большой, полный, сильный человек с круглым лицом и маленьким носиком. Мне кажется, среди штатских людей в сюртуках и фраках он стеснялся своей рысы, длин-

ных волос, креста на груди. Поэтому он часто краснел, не сразу находил слова, а если сердился, то долго ничего не мог выговорить.

Он попросил меня помочь в устройстве кабинета, когда пришли закупленные приборы.

Несколько больших перемен и свободных уроков мы провели в этом кабинете: расставили мебель, разместили приборы. Помню, мой учитель попросил меня повесить плакат на стене. Я встал на стул и приколот его кнопками над дверью. Когда я все сделал, он сказал:

– Прочтите, что там написано...

Я прочел:

– Просят громко не разговаривать!

– Нет, прочтите еще раз!

Я прочел еще раз, он попросил прочесть в третий раз, и так продолжалось раз шесть. Тогда только я заметил, что на плакате стояло: не разговаривать.

Первый психологический эксперимент произвел на меня впечатление. Он пробудил во мне интерес к психологии. Интерес этот остался.

Детство не самое счастливое, а самое важное время жизни, оно определяет многое в нашем будущем и сопровождает нас привычками, вкусами, стремлениями всю жизнь до последнего дня.

Я был в пятом классе. На рождественские каникулы для учеников старших классов устраивалась поездка в Москву и Петербург. Участие в экскурсии стоило, кажется, 25 рублей. Я, разумеется, не думал о ней. Но руководители экскурсии — все тот же законоучитель и учитель словесности Константин Владимирович Лебедев — неожиданно сообщили мне:

– Мы хотим взять вас в первую группу экскурсантов. Плату за вас внесет гимназия, но условие: вы будете вести дневник. Надо это хорошо сделать, может быть, его потом издадим книгой!

Еще не забывший своих собственных ученических лет, Константин Владимирович был добр и отзывчив. В тот год первой русской революции с нами ладить удавалось не каждому учителю. На ученических сходках мы не без основания громили школьные наши порядки:

– Наука есть свет, а то, что светит, то горит. А наши преподаватели не горят, а жиреют да тухнут!

Когда мы потребовали введения с пятого класса лекционной системы преподавания, Константин Владимирович первым и очень приветливо согласился на это. Поездка с таким руководителем меня не очень пугала; помогать вести дневник мне обещали все.

Тогда я не думал о литераторстве. В тот год я впервые выступал на гимназическом вечере с чеховским «Разговором человека с собакой». Я лаял, изображал пьяного, мне аплодировали, успех мгновенно меня закружил, и я решил, что буду актером. Дневник меня тяготил: я не знал, как писать, что писать. Выручил меня уже в Москве одноклассник, Саша Кожевников. За смелость и решительность он прозван был Цезарем.

Мы вернулись из Третьяковской галереи. Написав об этом, я тоскливо глядел на пустую страницу тетради, не зная, что делать дальше.

— Дай-ка я! — сказал Кожевников. Он взял у меня перо и начал бойко перечислять картины, не скупясь на эпитеты. Я следил за каждым его словом. Описание картины Айвазовского он заключал так:

— ...и кажется, что огромные синие волны вот-вот готовы выплеснуться из рамы через ее бронзовый край...

После этого я в помощи товарищей уже не нуждался.

Днем мы бродили по музеям, урывками бегали по магазинам, вечером шли в театр и там засыпали от усталости. А в Большом давали «Лоэнгина», в Малом — «Вишневый сад», в Художественном мы видели «Жизнь человека». Этого было слишком много для нас. Праздничная московская суета напоминала нам наши саратовские улицы, наши дома, наши сугробы...

5

Соблазн славы людской день ото дня возрастал. На гимназических вечерах я выступал с чтением чеховских рассказов. «Лекция о вреде табака» показалась скучной, но зато «Не в духе» читал я с большим успехом.

Чувствуя приближение к заветным мечтам, я пошел в типографию и заказал себе визитные карточки. Наверху — имя и фамилия, в правом нижнем углу петитом:

«Артист жизненной комедии».

Константин Владимирович Лебедев считал судьбу мою определенной. На одном из уроков он предложил нам для классного сочинения тему «Бедность не порок». Сочинения на эти так называемые отвлеченные темы я ненавидел. Рассуждать о том, что

всем было известно, я не умел. Я вообще не умел делать то, что проще и легче. Например, я не умел рассказывать прочитанное.

Несколько минут я злился, поглядывая на выведенное вверх страницы: «Бедность не порок», потом встал:

— Константин Владимирович, можно мне написать рассказ на эту тему?

— Пишите.

Я вспомнил какой-то случай из нашей сиротской жизни и рассказал его, как пришло в голову. Писал я, как пьют холодную воду в знойный день после ходьбы — залпом, не отрываясь. Два или три раза я вытер слезы. Когда кончил и перечитал, решил писать заново, как все, но было уже поздно, урок кончался. Я отдал тетрадь.

Через сколько-то дней Константин Владимирович пришел в класс с тетрадями и начал обычный разбор наших сочинений.

Мою тетрадь, с лиловым чернильным пятном на белой наклейке, я узнал еще в его руках и встал сам.

— Да, вот с вами, Гумилевский, придется поговорить. Я поставил вам пять, но дело в самом вашем рассказе. Откуда у вас такой мрачный взгляд на жизнь? В чем дело? Вы же способный человек, у вас впереди вся жизнь... Может быть, вы — будущий Варламов!¹⁰ Что за пессимизм в ваши годы? Нет, я недоволен вашим сочинением, очень недоволен!

Это и был мой первый рассказ. Вскоре появились и стихи.

Мы устраивали очередной вечер в гимназии. Мне дали читать «Злоумышленника». Но я был влюблен, а комики, как известно, не пользуются успехом у женщин.

Я решил показаться гимназисткам в героическом репертуаре и написал в стихах, специально для декламации, историю Герострата, сжегшего храм богини Артемиды в Эфесе, чтобы оставить свое имя в истории. О большом стихотворении Надсона на эту тему я тогда не знал.

«Злоумышленника» я прочитал в первом отделении, стихи — во втором.

На вечере мне отчаянно хлопали, кричали: автора!

Самолюбие у меня было огромное, а хваталось за мелкое, плавало неглубоко. И хорошо, что под моими нахмуренными бровями никто не видел моего счастья: мне кажется, обо мне все думали возвышеннее, чем было в действительности.

После концерта стулья составили к стене, начались танцы. Люстры, в свечах и подвесках, сияли, капая стеарином. Блестя-

щий и скользкий паркет отражал наши начищенные сапоги, шум в зале чуть не заглушал наш духовой оркестр.

Заложив руки за спину, я стоял у дверей. Танцевать я не пытался из-за неловкости и неуклюжести, но делал вид, что презираю это.

На другой день сторожа убирали зал. Стулья торчали один в другом. Паркет был закапан стеарином, засыпан конфетти и обрывками серпантина. Я поднял обрывок программы с двумя строчками: «Герострат» — стих. уч. Л. Гумилевского.

Прочтет автор».

Долго и обиженно смотрел я на этот затоптанный кусок бумаги и бросил его, когда почувствовал на глазах слезы.

Актерская и поэтическая слава моя росла с провинциальным размахом. Хорошенькая гимназистка Тоня Астраханцева увидела у своей подруги мою фотографию и спросила:

— Ты с ним знакома?

— Да, он у нас бывает.

— И он с тобой разговаривает?..

На фотографической открытке — это была первая в моей жизни фотография — я сидел на скамье в декоративном лесу в полной гимназической форме, с папиросой в руке, положив ногу на ногу и сдвинув фуражку на затылок. Форменный герб в виде двух серебряных листьев с инициалами гимназии был заменен у меня золотым венчиком. Курить и носить такие гербы строго запрещалось: в этом и крылась их прелесть.

Подруга Тони Астраханцевой Лили Гартунг прислала мне однажды большое письмо, где было написано так:

«Вы мой бог и я молюсь на вас».

Бог в серой гимназической курточке с кожаным поясом и медной пряжкой — явление неправдоподобное. Я и не придавал никакого значения этим словам, хотя они были подчеркнуты. Девушка жаловалась на мать, на братьев, на семью. Жалобы казались преувеличенными, но в тупых немецких семьях, где все исполняют долг и младшие братья молча женятся на вдовах старших, снаружи ничего не видать. Гартунги ходили к нам, мы — к ним, я читал у них трагические монологи и стихи из «Чтеца-декламатора».

У Гартунгов, как и у нас, хозяйничала мать. Братья Лили служили, она бездельничала из-за хромоты, составлявшей ее истинную трагедию. Тяжелая походка убивала хорошенькое личи-

ко, и Лили старалась не ходить. Сидеть за пианино, у стола, с книгой стало ее привычкой. Мать, братья сердито преследовали ее безделье.

...Мы сидели на низенькой скамеечке у чьих-то ворот на Крапивной улице, недалеко от дома, где они жили. Наступала ночь, синяя, прозрачная, какие бывают только весной, под Пасху.

— Вы знаете, я ведь скоро умру, — вдруг проговорила Лили.

Мне захотелось уйти, но сделалось стыдно, я остался. Лили сняла тонкое колечко с рубином и протянула его мне:

— Хотите на память?

Я взял, смеясь, и кольцо хорошо пришлось на мизинец.

Мы молчали. Затем Лили, не вставая, сказала:

— Надо идти...

Я посмотрел на нее и — вот странная вещь: на бледном, открытом лбу ее мне почудилась какая-то непонятная тень, как будто просвечивало что-то темное сквозь кожу. Мне вспомнился лермонтовский «Фаталист». Я повторил слова Печорина:

— Вы сегодня умрете!

Лили ответила задумчиво:

— Может быть...

Потом протянула мне руку и небыстро ушла.

Я вспомнил об этой странной тени, светившей сквозь кожу лба, на другой день. Я только что проснулся. У кровати, в ногах у меня, стоял старший брат Лили и с нерусской приверженностью ко всему русскому говорил отчетливо:

— Лев Иванович, Лили приказала вам долго жить.

Я оделся и с ним вместе вышел. Он пошел на службу, я к ним в дом. Мать, толстая, коротконогая, лежала поперек кровати и плакала. Когда я подошел, она привстала, обняла меня за шею, не унимая слез и, падая опять на кровать, уронила меня рядом с собой.

Я вытер ее слезы со своего лица и пошел в гостиную. Уже были завешены зеркала и картины, Лили лежала на столе. В головах у нее стояли синие гиацинты.

Мертвая она была прелестна. Необыкновенно красный рот придавал чертам лица ее удивительную живость. Вернувшись вчера, она прошла прямо в свою комнату, налила в стакан карболовой кислоты и, зажимая рот полотенцем, чтоб не кричать, выпила все. Красные губы ее были такими от ожога.

Тяжелый, масляный запах гиацинтов я возненавидел на всю свою жизнь.

В конце концов я кончил гимназию. Мне дали серебряную медаль за «особые успехи в науках словесных». У меня скопились деньги, оставалось выбрать факультет, университет, институт и учиться.

Медалисты отправлялись в Петербург, в Политехникум, я — в Казань, на юридический. Расчет был на то, чтобы сдавать экзамены, не посещая лекций и живя в Саратове, — тут в дело вмешалась любовь. За первые два семестра экзамены я сдал на «весьма», но университет меня совершенно не интересовал. На второй год меня исключили за невзнос платы.

Об актерстве я больше не думал, хотя незадолго до окончания гимназии в торжественном концерте, посвященном столетию Гоголя, я имел успех.

К тому же у меня накопилась тетрадь стихотворений. Недолго раздумывая, я отнес ее в типографию, не сказав никому ни слова, и вот на окнах книжных магазинов в городе появились зеленые книжки с типографской виньеткой, увенчанной женской головкой.

Мне хотелось оповестить мир, что, кроме этого сборника, у меня есть еще стихи, и я назвал книгу так: «Избранные стихотворения».

«Кто их собрал, из какого материала, с какой целью?» — спрашивал фельетонист «Саратовского Вестника» и в заключение иронически писал:

Нет, вы не Байрон, вы другой,

Еще неведомый избранник!¹¹

— А кого не ругали вначале? — восклицал я. — Вспомните хотя бы Надсона!

В провинции издание любой книги делает автора литератором. Из новых знакомств составилась литературный кружок. Мы называли его «Многоугольником», а друг друга — «углами», подчеркивая индивидуальность каждого угла и право на своеобразие.

Своеобразия в том, что мы читали друг другу и печатали в саратовских газетах, было мало.

Однажды, впрочем, мы шумели в Саратове, выпустив альманах психофутуристов под интригующим названием «Я». Сочиняли его с бурным восторгом, хохотали до слез, предчувствуя успех, но читатели не поняли мистификации.

Альманах быстро разошелся. Тогда мы устроили в зале Коммерческого собрания большой вечер, «посвященный психофу-

туризму», и признались в нашем авторстве. Вступительное слово и заключение делал Семен Павлович Полтавский, единственный среди нас оправдавший журналист. Он вернулся тогда из Италии и кончал в Саратове университет. Историю мистификации рассказывал я.

Об этом моем выступлении в отчете «Саратовской копеечки» написали так: «Но вот на кафедре поднялся худой, нервный, бритый Гумилевский и с подъемом изложил суть дела».

Когда публика разошлась, мы отправились с выручкой в ресторан и поделили деньги.

Я жил тогда с женою на Угодниковской улице, в холодном и неуютном доме, и неделю сидел без дров. Рано утром я отправился на Волгу, к дровяным пристаням. Зашел я на пристань Ивана Ивановича Лебедева¹². Приказчик отмерял мне полсажени березовых дров, ставил мелом кресты на торцах пограничных поленьев, хозяин стоял возле меня и говорил со мной о вчерашнем вечере.

Он был немолод, из-под бобровой шапки с бархатным верхом на воротник шубы спускались по-литераторски отпущенные волосы. Прощаясь, я вспомнил, что в Саратове живет автор пьесы «Народный учитель», или, в скобках, «Божья коровка». Ее часто ставили по всей России, и она имела постоянное свое место в театральном репертуаре. Автор ее и вспоминал со мной вчерашний вечер, не отрывая своих глаз от приказчика, отпускавшего дрова.

В нашей холодной и неуютной квартире, мы собирались по субботам. У нас не было ни родителей, ни детей, и можно было спорить, шуметь до рассвета. Полтавский посоветовал мне написать Горькому и научил, как это сделать.

6

Обескураживающего в письме Горького ничего не было. Я продолжал писать и рассылать свои рассказы по журналам. Иногда их печатали, иногда возвращали.

Все, что я писал в то время, да и много лет после, я писал на пишущей машинке, прямо набело. Ни один из рассказов я не переписывал, поправлял только пропуск букв и ошибки. Конечно, я знал, что Толстой семь раз переписывал «Войну и мир», знал, что все писатели переделывали, поправляли, переписывали свои произведения. Действительно, когда твердо знаешь, что в литературе

хорошо и что плохо, хорошее приходит в результате ста тысяч отброшенных словосочетаний.

Но я не знал, как будет хорошо и как будет плохо. В литературе нет ясного и строгого определения того, что такое художественное произведение, как оно пишется. Обходились без него тысячи писателей до меня. Обходился и я.

Но в часы смущения я искал поддержку и помощь вне себя.

Через год после отзыва Горького я послал рассказ в Полтаву — В.Г. Короленко. Рассказ этот — «Дети города» — я считал хорошим. Торжественно, искусственно и пышно писал я о пошлости жизни, о тоске горожан по природе. Такую тоску часто и остро испытывали я сам и моя жена.

В сущности говоря, когда мы рассказываем о других, мы рассказываем только о себе. Так было и с «Детями города».

Мы познакомились в дни моей артистической славы на читке пьесы для домашнего спектакля. Спектакль устраивали дочери шоколадного фабриканта. Они неосторожно пригласили двух красивых своих подруг и меня для единственной мужской роли.

Несколько воскресений мы пили чай, брали шоколад из кружевных коробок и скучно говорили о пьесе. Спектакль не состоялся, но мы стали встречаться, потому что жили недалеко друг от друга и потому, что я постоянно искал встреч.

От этих первых встреч до ответных признаний прошло несколько лет.

Только глупые женщины выбирают красивых мужей. Чаше глубокий и тайный инстинкт подсказывает более стойкий путь к счастью. Я был некрасив, вихраст, мрачен, неловок, резок, но я писал стихи и «Избранным стихотворениям» предшествовал эпиграф: «Жизнь в Красоте и служении ей».

И мы никогда уже не могли забыть летний, склоняющийся к вечеру день, когда у дверей типографии Феокритова нам поставили в ноги на извозчиный экипаж нетяжелые пачки книг. Это был шикарный извозчик, на резиновых шинах. Он мчал нас по пыльным саратовским улицам. Мы придерживали упакованные пачки, чтобы они не выпали, и не сомневались, что везем славу, богатство и счастье.

Никто не умирает победителем, все умирают побежденными и обманутыми, но узнаем мы об этом слишком поздно для того, чтобы можно было что-нибудь изменить...

Я повез к себе домой мои «Избранные стихотворения», а девушка, которой они посвящались, смотрела мне вслед, и, я знаю, в глазах ее светились гордость и нежность.

В канун свадьбы отец сказал:

— Ты, Клавочка, подумай еще раз, пока не поздно: смотри, вот как он будет большой человек, адвокат или писатель, как тогда? Ты не боишься?

Мы боялись только пошлости и мещанства. Самолюбивое, вздорное, обидчивое, оно давило со всех сторон. Ревнивые матери состязались за первое место у детей, жаловались друг на друга, хлопали дверями и уходили.

То там, то тут, то у одних, то у других устраивались званые вечера. Мы должны были ходить туда, потом звать к себе, сажать за столы, смотреть, кому что не подано, кто чего не взял.

Мы пытались защищаться: переезжали на новые квартиры, меняли обои, покупали вещи, писали стихи, бросались в театр. Нас обиженно ждали на именинах, а мы убегали на Волгу, брали лодку и гребли на Зеленый остров или в Затон к Федорову, где пили пиво с черными сухариками, ели воблу, или же ехали за город, в Монастырскую рощу, — там лежали в траве до сумерек и возвращались в свою пустую квартиру, как в счастье.

Вот это и была та жизнь детей города, которую вели мы несколько лет после нашей свадьбы.

В гимназии меня учили видеть мощь и значение слова в голых обобщениях. На таких обобщениях нет и тени живой действительности. Они годятся только для манифестов и программ. Но тогда мне казалось, что именно торжественные заклинания волнуют нас. Вот в таких голых фразах я и представил нашу жизнь Владимиру Галактионовичу Короленко.

Короленко ответил мне 14 января 1914 года. Я не сразу понял, кто мне писал, — все так было просто и обыкновенно в этом письме: бумага, почерк, подпись. Мне казалось тогда, что писатели должны писать и письма необыкновенно, как Горький: на особенной бумаге, особенным почерком, с четкой подписью и афоризмом, который можно повторять.

Ничего этого в письме Короленко не было.

«Я привык выражать свое мнение без смягчений, — писал он, — и знаю за собой черту — что отсутствие простоты чувствую, быть может, несколько преувеличенно».

«Простота тесно переплеталась у него с конкретностью изображения: ведь ваши герои на протяжении всего рассказа не сказали друг другу и двух слов!» — писал он.

Речь шла об отсутствии конкретного изображения, а я думал, Короленко требует диалогов, принятых в беллетристике.

Содержания рассказа, довольно большого, Короленко не касался. Он предлагал поработать над стилем, памятуя о могущественной силе художественной и человеческой простоты, и послать рассказ в «Русское богатство»¹³.

«Там его прочтут мои товарищи и ответят вам», — писал он.

Совету Короленко я последовал. Но простота лежит у вершин искусства, а не у подножия. Товарищи Владимира Галактионовича оказались менее снисходительными людьми и рассказ мне вернули.

Торжественной приподнятости выражений я учился у автора песен о Соколе и Буревестнике, очерков о «Городе Желтого Дьявола». Влияние горьковского стиля на всех, кто тогда начинал писать, было огромно, неодолимо.

Один небольшой рассказ «В литейной», из быта рабочих, я послал в редакцию журнала «Просвещение»¹⁴. Это был легальный ежемесячный марксистский журнал. Редакция его находилась за границей, возглавлял ее В.И. Ленин. Художественным отделом заведовал Горький. Прошло довольно много времени, пока я получил ответ. Редакция просила извинения за задержку ответа, так как «рукопись находилась у Горького», и сообщала, что рассказ будет напечатан в одном из ближайших номеров журнала.

Ждать пришлось недолго. Рассказ появился в майской книжке за 1914 год. Оглавление на обложке начиналось с моего рассказа. Целый месяц я гордо посматривал на выставленную в витрине магазина книжку «Просвещения», прохаживаясь по Немецкой улице. Рассказ был, разумеется, плоховат. В стиле того времени я писал, например, так: «Не засыпавший всю ночь огромный завод проглотил черными ртами железных дверей свежую смену рабочих и хлопотливо начал жевать свежую силу горластым своим нутром».

Но в те времена ни один редактор, хотя бы и Горький или сам Ленин, не считал вправе изменить хотя бы одно слово в художественном произведении ... Да что слово! Запятую оставляли авторскую, даже вопреки правилам грамматики.

Так охранялась индивидуальность автора, воспитывалось «своеобразие выражения», которое еще Гёте считал «началом и концом всякого искусства».

Этот переезд из Саратова в Петроград я вспоминаю с чувством человека, который ночью, во время пожара, выносит из дому неподъемный сундук, а утром недоумевает, как он мог это сделать! Во имя этого переезда я продал все, что можно было продать. Пишущую машинку я брал с собою.

В Петрограде я знал — и то по переписке — лишь одного человека: редактора сборника «Свежие силы» Константина Давыдовича Давыдова-Закавказского. Он напечатал в этом сборнике несколько моих стихотворений и с большим участием писал о них мне. На Невском, недалеко от Николаевского вокзала, находилась редакция «Свежих сил». Я сдал вещи на хранение и отправился туда.

Из Саратова приезжали в Петроград гости нечасто. Редактор «Свежих сил» посмотрел на меня недоверчиво, когда я заявил, что намереваюсь поселиться в Петрограде.

— Как? Вы хотите здесь остаться?

— Непременно.

— Вы надеетесь прожить литературой?

— Во всяком случае попробую! — ответил я твердо и перешел к делу. — Прежде всего надо снять комнату. Как это сделать?

— Пойдем посмотрим, нет ли в нашем доме!

Дом 104 на Невском состоял из ряда четырехэтажных корпусов во дворе. В каждом этаже — коридор, общая кухня с прислугой и комнаты, на правах квартир. Старший дворник показал нам свободные комнаты, я выбрал дешевую — за 15 рублей в месяц. Затем мы с моим редактором пошли на Апраксин рынок и купили там мебель: кровать с матрацем, кухонный стол, стол для машинки, два стула. Меблировка обошлась в 17 рублей.

Все было доставлено к полудню на место. Я взял с вокзала вещи и вечером уже сидел за машинкой.

Я был молод, был рад сидеть и писать, а написав, бежать с рукописью в редакцию.

Я приехал в разгар белых ночей. Город жил полной жизнью. Второй год войны еще не отражался в быту. Гражданскому миру, казалось, не будет конца.

Однажды на Невском, у Фонтанки, конный наряд полиции преградил мне дорогу. Хоронили дядю царя, Константина Романова, писавшего стихи и поэмы под инициалами «К.Р.». В моих «Росинках»

я видел эту загадочную подпись под какими-то стихами и навеки ее запомнил. Задержанные полицией прохожие вроде меня и просто любопытные толпились на узком тротуаре у домов набережной Фонтанки. Медленно двигалась процессия: кресты, хоругви, духовенство в митрах и рясах, венки, певчие, оркестры и, наконец, узкий, длинный закрытый гроб на лафете и поношенная воинская фуражка на крышке. За гробом шел царь в простой офицерской тужурке защитного цвета, в сапогах, без орденов и лент. Он шел один, далеко от всех, как будто шел через площадь, где никого не было. По узкой набережной он проходил близко, оглядываясь вполоборота на зрителей. Мне казалось, он смотрел на нас с легким презрением к невоспитанности людей, пяливших на него глаза.

Ряды блистающей орденами, лентами, звездами, эполетами свиты следовали на расстоянии, возвеличивая одинокую фигуру на чистом от людей куске мостовой.

За свитой медленно двигались кареты с матерью царя, царицей и дочерьми. Они улыбались толпе сквозь стекла кареты.

Процессия направлялась в Петропавловскую крепость, где хоронили царей и царскую родню.

Потные лошади конных полицейских теснили толпу, отодвигая выступавших вперед. Шествие длилось с каким-то музейным спокойствием, и я нетерпеливо ждал, когда наконец освободится Невский и можно будет идти дальше. Я предавался со страстью неожиданностям моей новой жизни.

Журналов издавалось множество. Начиная от «Журнала для женщин» и кончая «Огоньком», мои рассказы появлялись везде, может быть, и не всегда к чести автора. Если рассказ не проходил в «Огоньке», в вечерней «Биржевке» и «Солнце России», можно было напечатать в «XX веке», в «Пробуждении», во «Всемирной Панораме» и уж во всяком случае — в «Родине» Николая Альвиновича Каспари¹⁵.

Я выходил из дома на Невский, возвращался домой по Невскому. Здесь всегда было празднично: утром и вечером, летом и зимою, весной и осенью, даже в дождь и туман. Торцовая мостовая напоминала паркет в нашем гимназическом зале, прохожие — гостей, толпящихся в ожидании танцев у стен. В полдень гремела пушка Петропавловской крепости, и, как будто по знаку распорядителя, все, отворачивая полы пиджаков и пальто, разом доставали часы и сверяли время.

Я вглядывался в лица, надеясь угадать по давно известным портретам Горького или Андреева, Варламова или Шалапина среди них. И если встречался хотя бы только огромный Рославлев¹⁶ под широкой черной шляпой или небольшой Сологуб¹⁷ со своей родинкой на лице, я начинал чувствовать и себя устроителем праздничной суеты.

Фантастический город с его прямыми и ясными улицами, с его деловыми, неразговорчивыми, вежливыми людьми пришелся как раз мне по характеру. С первого дня и на каждом шагу с хирургической осторожностью, кусок за куском, вырезал он во мне провинциальное легкомыслие.

На Гороховой улице Генрих Блок продавал пишущие машинки. Я купил здесь ленту для моего «Ремингтона». Выйдя из магазина, я развернул попку, смял обертку и размахнулся, собираясь куда-нибудь ее швырнуть, но тут же поспешно опустил в карман вслед за лентой. Не видно было ни уголочка, ни трещинки, ни зазубринки, где бы серый комок бумаги не лег стыдом на чистый асфальт, на паркетные торцы мостовой. К счастью, выразительный жест мой остался никем не замеченным. Не было ни прохожего, ни дворника, ни полицейского, как будто жили в столице одни писатели, гуляющие по Невскому, и министры, никогда не выходящие из экипажей.

Ленты в эти золотистые дни и серебристые ночи приходилось менять очень часто. Рассказов и очерков я написал тогда и напечатал много. Это был какой-то разгул ума и сердца, страсти и молодости. Сдержать его ничто не могло: ни редакторы, ни цензура. Редакторов, газет и журналов было слишком много, цензура оказалась глупой и уступчивой.

Я написал очерк об играх детей. Я видел в них ожесточение войны и солдатчины. Очерк хотела напечатать «Речь»¹⁸. Военному цензору не понравился конец, и он снял весь подвал. Иосиф Владимирович Гессен¹⁹, редактор газеты и крупный деятель конституционно-демократической партии, сказал мне:

— Возьмите-ка оттиск и пойдите сами в цензуру. Когда к ним приходит сам автор, они чувствуют себя неловко и иногда разрешают, вычеркнув что-нибудь для очистки совести!

Типичный петербуржец, учтивый и вежливый, дорожащий временем, как дыханием, Гессен почел бы проступком дать кому-нибудь это заметить. Он встал неторопливо и проводил меня до дверей, как будто ему нечем было занять себя.

Цензором моим оказался солидный адмирал в эполетах и орденах. Он немедленно вышел ко мне в приемную. Я показал ему корректурный оттиск. Вместо большого конца, зачеркнутого красными чернилами, я написал одну фразу:

«Я смотрю на них и думаю, смотрю и думаю: как же они будут играть завтра?»

Адмирал удовлетворенно кивнул головой.

— Хорошо, — сказал он, — пусть пришлют. Будет разрешено.

Наутро фельетон мой под заглавием «Дети» и с евангельским эпиграфом «таковых бо есть Царствие Божие» появился в газете. Вечером я отправился в единственно знакомый мне в Петербурге дом. Хозяин его Василий Петрович Григорьев, инженер, управляющий заводом братьев Жуковых, — преданный член партии Гессена и Милюкова²⁰ — жал мне руку, поил чаем и весь вечер, поглядывая на меня, повторял:

— Да, как же они будут играть завтра?! Как, а?

Я рассказал эпизод с цензором. Он расхохотался:

— Вот верблюд... Да ведь такой конец в миллион раз страшнее!

Обычно, когда я приходил, Василий Петрович уходил к себе, оставляя меня с дочерью. На этот раз он провел с нами весь вечер.

С Людмилой Васильевной Григорьевой меня познакомил Давыдов-Закавказский.

— Вот вам еще одна «свежая сила» из Саратова, — сказал он, представляя меня.

Он напечатал в своем сборнике рядом с моими стихами ее рассказ и писал портрет девушки.

Истый кавказец, высокий, худой, черный, подтянутый тонким ремешком с серебряными наконечниками, Константин Давыдович замкнул в себе какую-то сжатую энергию. Он говорил, работал, ходил, смеялся — изо всех сил, все с той же сжатой внутренней силой. Мне постоянно казалось, глядя на него, что он сейчас схватит с гвоздя черкеску, перекинет за спину винтовку и вскочит на коня. Но вместо черкески на гвозде у двери висел пиджак, над дешевой кушеткой — увеличенная фотография жены вместо винтовок и кинжалов на стене. А сам кавказец сидел перед мольбертом и, поглядывая на Людмилу Васильевну, в тысячный раз подправлял ее портрет.

Портрет был схож. Как все любители, Константин Давыдович работал как-то сверхпрофессионально, без кистей, голыми рука-

ми. Он брал краску большим пальцем и клал мазок к мазку, сильно втирая краску в холст.

В Людмиле Васильевне не было ни спокойной женской красоты, ни религиозной девической прелести. Она очаровывала необыкновенностью, и тогда все становилось в ней привлекательным. Ни раньше, ни после я не встречал женщины такой высокой культуры, ума и мышления.

Людмила Васильевна печатала свои рассказы в «Лукоморье»²¹, но знала только день выхода в свет «Сатирикона»²². Злой язык Тэффи, Радакова и Саши Черного она понимала лучше Давыдова-Закавказского.

Редакция «Сатирикона» помещалась на Невском, за Аничковым мостом. «Сатирикон» никак не годился для того, что я писал и печатал. Все-таки каждый раз, проходя мимо него, я вспоминал: что я видел в жизни смешного? Глупость меня не сместила, пошлость я ненавидел, чужую святыню уважал. Но мне вспомнился случай, слышанный от мужа сестры, как рабочие на реке выиграли пари у богатого дурака. Он пригласил их состязаться, кто дольше пробудет под водой. Судьей избрали барского кучера. Тренированный барин долго сидел в воде. Состязавшиеся с ним мужики дважды выныривали, но кучер делал им знак, и они опять опускались в воду. Так они пересидели седовласого спортсмена и выиграли. Простонародное презрение к барской забаве высказывалось тут во всем, и я написал рассказ без лишних слов, просто и ясно.

Ответ пришлось ждать. Секретарь редакции Ефим Давыдович Зозуля²³, тогда еще молодой, еще не полысевший, но уже важный, толстеющий, облаченный в черный пиджак и серые брюки, несколько раз отвечал мне:

— Рассказ у Аркадия Тимофеевича. Подождите еще!

От матери я унаследовал нетерпеливость и нетерпимость ко всему, что считал нарушением своего права. Не получая несколько недель ответа от Зозули, я отправился в Троицкий переулок на дом к редактору.

Горничная, открывая мне дверь, сказала:

— Аркадий Тимофеевич в ванной...

И провела меня в гостиную.

Я уселся на диван, закутанный в просторный холщовый чехол с кантиком по швам, и стал ждать. Горничная открыла дверь на новый звонок и так же, как мне, равнодушно сказала:

— Аркадий Тимофеевич в ванной!

Вошел Зозуля. Нам обоим был неприятен вид друг друга, но мы чинно поздоровались и уселись рядом. Зозуля стал убеждать меня не тратить времени на ожидание хозяина.

— Даю слово, на этих днях позвоню вам. Сегодня же попрошу Аркадия Тимофеевича непременно прочесть ваш рассказ. У вас есть телефон? Куда вам можно звонить?

Телефона у меня не было, я дал номер Григорьевых, сказал, что мне передадут, и ушел.

Через день Зозуля сообщил, что рассказ принят, но этой встречи в гостиную у Аверченко он не забывал всю жизнь.

Я зашел в редакцию узнать, когда появится рассказ. За столом Зозули, как гость, сидел прекрасно выбритый, прекрасно одетый господин, немножко полный, красивый и ленивый. Это и был Аверченко. Он поздоровался со мной и учтиво подал мне книгу, которую только что рассматривал.

— Это первая книга, — сказал он. — Нравится вам?

На серой обложке с маркой «Сатирикона» в верхнем углу было напечатано: «А.С. Грин. Рассказы».

Я ответил, не скрывая зависти:

— Очень нравится!

— Ну, вот и вас потом так же издадим. Вы принесли нам еще что-нибудь?

Рассказ был уже в типографии. Я поторопился уйти. Я был нехорошо одет, не находил, что сказать, и пуще всего боялся показаться ищущим знакомства.

«Сатирикон» поднял меня в глазах Людмилы Васильевны больше, чем «Речь» — в глазах ее отца. Она в самом деле принимала меня за свежую силу в литературе, показывала мне город, театры, редакции, постоянно звала к себе, кормила обедом и, чтоб я не уходил, садилась за рояль и учила меня петь.

Мне нравились стихи Сологуба. Нравился и сам Сологуб, за то, что он учитель, разночинец, провинциал, как я. Его биография внушала мне веру в себя. Нравился мне «Мелкий бес», нравился не Передоновым, а противопоставленными ему Людмилой и Сашей. Я часто называл Людмилу Васильевну, как Саша, и однажды сказал ей:

— Людмилочка, пойдемте со мной к Сологубу!

— Ну, пойдемте, — отвечала она спокойно, — а зачем?

Кажется, что ответ у меня уже был готов.

— Отнесем ему наш альманах, там в статье Полтавского что-то есть о его стихах... Скажем: по поручению авторов!

Альманах «Война и жизнь», изданный в Саратове нашим «Многоугольником», я привез на отзыв в журналы. Часть я роздал. Несколько экземпляров у меня осталось.

Людмила Васильевна согласилась.

— Хорошо, только вы один будете говорить. Я узнаю, где он живет, а вы приходите завтра пораньше, вместе позавтракаем и поедем... Если не высоко.

Ей было трудно всходить по лестнице, даже на второй этаж к Давыдову-Закавказскому. Ее мучила эмфизема легких. Легкие уплотнились, требовали частого дыхания и покоя. Девушка боялась сквозного ветра, тепло одевалась, а летом в такой одежде с трудом могла ходить. Выходя из дому или возвращаясь домой из театра, мы брали извозчика. Подъезжая к дому или театру, моя спутница тихонько передавала мне свой кошелек, чтобы платил непременно я.

Кажется все, кроме меня, понимали ее обреченность. Дома ее окружало внимание, никто не спорил с ее желаниями. Но светские друзья и знакомые покинули девушку, зимой и летом носившую шерстяное белье.

Великанообразный отец не предупредил врожденной слабости в детях. Она наследовала матери. Искалеченные зноем и бездождем, степные растения в нашем Заволжье, погибая, начинают буйно цвести, едва поднявшись от земли в самую грозную пору засухи. Так природа страстным подъемом творческой способности вознаграждает вырождаемость и обреченность.

Шестилетний брат Людмилы Васильевны, в больших выпуклых очках, часами недвижно сидел в гостиной за роялем перед большими листами нот.

— Что он делает? — спросил я, не понимая.

— Читает ноты, — ответили мне. — Он может так просидеть день и ночь, он наслаждается.

Что говорилось в статье Полтавского о военной поэзии и стихах Сологуба, я не посмотрел, сделал на титульном листе торжественную надпись, и мы отправились куда-то на Разъезжую, к Пяти углам, в «мир творимых легенд».

Визитная карточка на двери объявляла хозяином Федора Кузьмича Тетерникова. Но за дверью не оказалось никакого Тетерникова, никакой квартиры. Здесь жил Сологуб. В большой пустой гостиной, через которую нас провели, у дальней стены стоял на

возвышении черный рояль. Его окружал декоративный палисадник. В палисаднике, опустив желтые головки, зеленели подсолнухи и какие-то цветы в манере Судейкина²⁴. Кажется, по стенам стояли небольшие стулья, но все было неожиданно.

Нас ввели в большой кабинет с темными кожаными креслами, сплошными книжными полками, и здесь мы нашли Сологуба. Он был лыс, большенос, невысок, небрежно одет и, как тогда входило в обычай, по-актерски выбрит. Ничего учительского в нем мы не заметили. Он был в том особенном возрасте, приходящем к нам не в одно время, когда человек начинает понимать, что всю свою жизнь был обманут, и приобретает лицо, поступь и манеры Сократа.

Пока я объяснял цель нашего прихода, мы все стояли. Затем я подал книгу, и мы расселись по креслам.

Мы сидели неудобно, неплотно, как гости; хозяин уже тяжелевшим своим корпусом ушел глубоко в кресло. Ноги его немножко не доставали до полу. Ночные туфли, свалившись, держались только на пальцах, и были видны просвечивающие телом, как у женщин, черные шелковые носки.

Сологуб прочитал надпись, стал листать книгу. У одних книги заполняют всю жизнь, у других — только книжные полки. Здесь они заполняли жизнь. И в жизни, как в стихах и прозе, Сологуб оставался искренним. В разговоре с нами он не произносил заготовленных на такой случай остроумных и афоризмов, предоставляя нам говорить или молчать. Напав на статью Полтавского, он начал ее читать, позабыв о нас. Мы переглянулись и встали. Он поблагодарил за книгу, придерживая пальцем читанную страницу, и мы ушли.

Потом Людмиле Васильевне в редакции «Лукоморья» со слов Сологуба рассказывали анекдот о нашем визите.

— Приходят поклонники из Саратова, преподносят свой сборник с надписью, а в статье ругают Сологуба на чем свет стоит... Вот какая пошла молодежь нынче!

Как видите, я толкал соседей иногда без всякого умысла.

На «Лукоморье» лежала издательская тень «Нового времени»²⁵. Дорогу в «Лукоморье» открыл Сологуб. И Людмиле Васильевне казалось, что она в хорошем обществе.

У литераторов того времени, как теперь я вижу, было на выбор два пути: одни шли от самих себя и приходили к Хлебникову и Белому; другие шли от Толстого и Чехова и приходили к самим

себе. Одно направление называлось символизмом, другое — реализмом.

Символизм исходил из теории саморазвивающихся поэтических генов и утверждал самостоятельное, независимое существование слова. Андрей Белый заявлял в приступе к своему роману: «Смыслы слов я отверг».

Вероятно, и даже наверное, символизм был нашей исторически оправданной неизбежностью и необходимостью. Но среди широких кругов русской общественности, а тем более за пределами ее, он не имел никакого влияния. И когда Андрей Белый, убитый читательским равнодушием, заявил: «Отныне буду писать просто, как сапожник», заявление это не прибавило его книгам ни одного читателя.

И я убедил Людмилу Васильевну пойти в «Родину».

В приемные дни и часы редактор «Родины» неотступно сидел в деревянном чуланчике приемной, куда сходились со всего Петербурга старые и молодые литераторы. Там я впервые увидел Сергея Есенина, еще вполне деревенского, в кудрях, расшитой белой рубашке с пояском, чуть не в лаптях. Его сопровождали какие-то молодые люди в больших галстуках. Они ухаживали за ним, как за капризной певицей. Громче всех говорил и держался среди них Сергей Городецкий²⁶. Его мне нетрудно было узнать по книжным портретам.

Не было вообще писателя, кому издательство Каспари не было бы как банк. Через две недели после вашего визита вы входили в деревянный чуланчик редактора, Николай Альвинович вынимал из стола ваши произведения, считал буквы и строчки, вписывал в печатную книгу договоров ваши заглавия, размер, сумму и негромко говорил:

— Адам!

Являлся огромный финн, носитель экзотического имени, брал оторванный от договора бланк из рук редактора и уходил. Вы в это время подписывали договор и вручали новую рукопись. Через минуту возвращался Адам из бухгалтерии с подписанным чеком. Простившись с редактором, вы шли в кассу.

Я не помню ни одного случая, когда из принесенных мной рассказов Каспари возвратил бы мне хоть один.

Я мало думал о том, как я пишу. На первом месте стояли сюжет и тема. Они мне удавались, а слова приходили сами собой.

Однажды Петр Васильевич Орешин²⁷ ревниво заметил:

— Вот, брат, у нас тут считается так: пока у Миролюбова²⁸ не напечатался, еще не писатель!

Я знал Орешина еще в Саратове. Он стоял за прилавком в каком-то мануфактурном магазине и писал стихи. Семен Павлович Полтавский привел его на одну из суббот, в другой раз он и сам пришел, но остался недоволен всем, что у нас видел и слышал.

Петр Васильевич всегда был резок, верховно самолюбив и недружелюбен. Даже я казался ему аристократом. Но в Петрограде мы встретились друзьями. Втайне я был ему благодарен: он первым из нас, бросив все, уехал в Петроград, а я, может быть, и не решился бы на такой переезд без его примера,

— Напечатаюсь и у Миролюбова! — ответил я шутливо. — Не боги горшки обжигают!

— Поглядим!

Осенью я уезжал в Саратов, чтобы уже переселиться в Петроград навсегда. Людмила Васильевна сказала:

— Приведите мне Орешина.

Я не сразу ответил. Она поняла и прибавила непокорно:

— А что же мне делать?

Самолюбие Орешина было необычайно прожорливо. Насыщалось оно пренебрежительной грубостью к тому, что казалось ему недосыгаемым. Людмила Васильевна развлекалась этим весь вечер, потом заставила гостя петь. Облокотившись на ручку кресла, подперев рукой голову. Петр Васильевич запел длинную, унылую песню с таким припевом: «Ве-се-лый разговор!»

Веселый разговор кончался так:

Взял он саблю, взял он остру
И зарезал сам себя.

Для самолюбивого признания Орешин выбрал поэтически острую и оригинальную форму. Мы оценили его искренность, хвалили песню и исполнение.

Когда мы уходили, Людмила Васильевна сказала ему:

— Теперь вы знаете дорогу. Пожалуйста, приходите!

Все-таки я удивился, когда узнал, что Людмила Васильевна вышла замуж за Орешина.

8

Я был счастлив увезти жену из Саратова.

Ранним утром, не выспавшись, мы вышли на платформу Николаевского вокзала. Сложив на асфальт вещи, я хотел идти за извозчиком, жена с нетерпением остановила меня:

— погоди, я пойду посмотрю...

Она вышла на ступени главного подъезда, посмотрела на Невский и тогда сказала:

— Ну, теперь поедем!

Так началось счастливое время нашей жизни.

Разбрасывая маленькие рассказы по еженедельным и литературным прибавлениям «Современного слова» и «Петроградской газеты», я думал о большой теме, для большого рассказа, в толстый журнал.

Я писал этот рассказ, не стыдясь слез, целый день и немного утром второго дня. Перечитал его и отнес в «Русское богатство». Журнал выходил тогда под названием «Русские записки», но в конторе редакции за высокими конторками стояли те же сотрудницы, на входной двери оставалось прежнее название.

Через две недели я снова поднялся по каменным, выбитым ногами ступеням лестницы и услышал неторопливый ответ:

— Принят.

Это случалось здесь не часто. Стоящие за конторками посмотрели на меня с любопытством. Я растерялся от неожиданности: ведь то, чего мы долго и страстно ждем, всегда приходит неожиданно. Оправившись, я притворился старым литературным волком и потребовал аванс.

— Тогда пройдите к редактору!

Через минуту меня представили редактору. Маленький, изломанный, искалеченный человек, превращенный каким-то параличом в комок человеческого тела, неловко сидел на обыкновенном, но для него непомерно высоком стуле, с палкой в руке. Это был ученик Потебни²⁹, автор «Мук слова», Аркадий Георгиевич Горнфельд³⁰. Он похвалил рассказ и велел выдать мне сто рублей.

«Калеки» появились в мартовской книге журнала за 1916 год. Вскоре Горнфельд переслал мне просьбу из Франции разрешить перевод рассказа для какого-то журнала. Русская критика поздра-

вила меня с переходом из еженедельников в толстые журналы и не ошиблась.

Рассказ «Карьера» напечатал «Современный мир»³¹. Издателем был Н.И. Иорданский³², редактором — его жена. Она вышла ко мне в длинном платье, с часиками за поясом на тонкой золотой цепочке. «Современный мир» был очень далек от современности.

Невский в это время шумел шелком коротких юбок, которые разрушили остатки теремных отношений быстрее, чем Бестужевские курсы³³. То была не мода; то было начало новой эпохи. Только женщины по-настоящему знают, как вяжет душу старомодное платье и как преображает человека костюм. Стоило сбросить с ног путы длинного платья, надеть шинель трамвайного кондуктора, и мир начал меняться с небывалой резкостью и быстротой...

Следующий мой рассказ я понес Миролюбову.

Авторитет Виктора Сергеевича Миролюбова как редактора и издателя стоял в то время непререкаемо высоко. Я еще не ходил в гимназию, когда в доме у нас впервые появился журнал. Его выписал для нас старший брат, за один рубль на весь год. Это был «Журнал для всех». Придумал его новую программу Миролюбов — оперный певец, дотоле выступавший в Большом театре под фамилией Миров. С переходом в руки Миролюбова «Журнал для всех» имел необыкновенный успех и у читателей и у писателей. Чехов, Горький, Леонид Андреев, Вересаев, Чириков³⁴, Бальмонт, Куприн, Мамин-Сибиряк стали его постоянными сотрудниками. Некоторых из них Миролюбов впервые представил широкой читательской аудитории.

В годы реакции, наступившей после первой русской революции, Миролюбов разошелся с издателями журнала. Они тянули его в сторону символизма и мистицизма. Новый журнал Миролюбова назывался теперь просто — «Ежемесячный журнал».

Нерастраченный на романсы и арии великолепный свой бас Виктор Сергеевич сохранил до конца жизни. Заглянув несколько раз в рукопись, которую я ему принес, он сказал гулко и мягко:

— Ну что ж, напечатаем, вероятно!

— Да, хотелось бы, Виктор Сергеевич!

— Ну, что вам у меня печататься! Вы уже в «Русском богатстве» и в «Современном мире» печтаетесь.

— Да, но вот говорят: пока у Миролюбова не напечатал ничего, еще не писатель!

— Ну, кто там говорит...

Он смутился и стал спрашивать меня о Саратове.

Мой «Темный круг» вышел в журнале Миролюбова с цензурными белыми пятнами, которым я был рад. Они увеличивали интерес читателей и ставили меня в ряды запрещенных авторов.

С этим рассказом у меня составлялась уже книга. Я написал издательству «Жизнь и знание» В.Д. Бонч-Бруевича³⁵: не подойдет ли ему книга моих рассказов? Ответила мне Вера Михайловна Величкина, жена Владимира Дмитриевича и главный редактор издательства: «Покажите».

Вера Михайловна встретила меня с необыкновенной приветливостью. Она быстро пересмотрела оттиски из журналов, вырезки из «Речи» и «Дня»³⁶.

— Тут будет два наших томика. Я думаю, мы издадим вас! Я помню по журналам эти ваши рассказы, — говорила Вера Михайловна, увязывая в папку мои оттиски и вырезки. — Нам это подходит, но пусть Владимир Дмитрич посмотрит тоже.

Она подала мне свою маленькую, ласковую руку, я осторожно пожал ее и вышел.

Рабочая комната Веры Михайловны помещалась где-то в глубине. К ней и от нее надо было проходить коридором между высоких столбцов упакованных в пачки книг. На разноцветных толстых корешках пачек значилось: М. Горький. У меня похолодело сердце, жизнь показалась неправдоподобной...

Через неделю мы подписали договор на два тома рассказов — «Темный круг» и «Пять героев». Я старался быть спокойным и солидным. Владимир Дмитриевич вынул из бокового кармана чекковую книжку, выписал гонорар и подал мне чек.

Распределяя рассказы по томам, я впервые резко и грубо столкнулся с небрежностью собственной работы. В лучших рассказах было что-то общее. Соседство их в книге было убийственным.

Сдавая журнальные оттиски издательству, я даже не просмотрел их. Внешние обстоятельства не внушили мне доверия. Сколько ни издавал я книг, в каждом новом случае я не верил в успех. Неверие рождало небрежность.

...В рождественском номере «Речи» за 1916 год мой рассказ «Мещанское счастье» появился между рассказами Ремизова³⁷ и Бунина. Мне захотелось научиться писать хорошо, лучше всех. Соседство Бунина заставило меня понять, что истинно хорошо только то, что хорошо написано.

Я, конечно, и раньше учился на всем том, что тогда печаталось и читалось. Но этого мне недоставало. Я хотел знать не только то, как надо писать, но и то, почему именно так надо. На этот вопрос решительно никто не мог ответить.

Я приехал в Петербург через десять лет после смерти Чехова. Здесь все еще было полно памяти о нем, живой осязательной памяти: я каждый день жал руки, пожимавшие руку Чехова. В сумерки, когда в редакции «Жизни для всех» становилось тихо, о нем вспоминал Поссе³⁸. За толстыми стеклами очков глаза у него становились влажными, голос — глухим и мягким. Но каждое воспоминание он заканчивал так:

— Антон Павлович был удивительно деликатный человек!

А о том, что Чехов, как Пушкин, стал по-новому писать, я никогда и ни от кого не слышал.

В редакции «Петроградской газеты» вместо Акселя Карловича Гермониуса, редактора Чехова, сидел другой Гермониус, мой редактор. Он знал Чехова, но вспомнить о нем мог не более, чем Поссе.

В эту приемную с шелковой мебелью, хрустальной люстрой и ливрейными лакеями я входил с робостью, давал лакею карточку и просил доложить редактору.

Через минуту лакей выходил, растворял двери редакторского кабинета, распахивал портьеры:

— Пожалуйте! Просят-с!

Я входил. «Наследственный» Гермониус. старый седой человек с испорченным глазом, поднимался из-за стола, долго жал мне руку.

— Садитесь, пожалуйста, очень рад!

Я сажусь и спрашиваю:

— Как мои рассказы?

У него оживляется лицо.

— Удивительно яркие вещи! Удивительно талантливые вещи, — повторяет он, а затем прижимает руки к сердцу. — Но в настоящее время совершенно нецензурные. Поверьте мне, ни один цензор их не пропустит. После войны, тогда пожалуйста, а сейчас дайте нам другое, помягче что-нибудь!

У меня уже был опыт хождения по редакциям. Я вынимаю из бокового кармана новый рассказ и протягиваю руку, чтобы взять обратно те, которые лежат перед ним на столе. Он кладет на них тяжелую руку.

— Нет, подождите, все-таки попробую, — говорит он. — Уж очень яркая вещь. Вот видите — пишу: в набор и в цензуру!

Написав что-то на рукописях, он бросает их в стоящую на столе корзиночку, нажимает кнопку сзади себя и показывает указательным пальцем вошедшему лакею на корзинку с рукописями. Тот берет ее и уходит. Я встаю, а он продолжает:

— У меня на всю жизнь останется в памяти этот рассказ. Этот ваш генерал, этот солдат... Удивительно!

Все это было очень приятно слышать и видеть, но, разумеется, ничему не могло научить.

Правда, «Петроградская газета» с ее четырехстраничными «Литературными прибавлениями» принадлежала к «малой», или «бульварной», печати.

Но в солидных, «толстых» журналах дело обстояло совершенно так же.

Владимир Александрович Поссе, редактор журнала «Жизнь»³⁹ во времена Чехова, а теперь редактор журнала «Жизнь для всех», возвращая мне какой-то рассказ, сказал:

— Вот вам возвращаю рассказ, все-таки вы — писатель. А вот рассказ Мордвинкина печатаю, но он не писатель!

Я не помню ни одного совета, ни одного указания — ни плохого, ни хорошего. Все учились писать, как дети учатся говорить. Казалось, что иначе и не может быть.

Ни в одном из рассказов, напечатанных мной в эти годы, запятую никто не сдвинул с того места, на которое я ее поставил. В таком способе защиты «своеобразия выражения» писатели доходили до символизма и футуризма. Но и далекие от крайностей Хлебникова или Крученых стояли на той же неприступной позиции. Редактор «Свежих сил», не напечатавший за всю свою жизнь и десятка рассказов, возмущаясь говорил мне:

— Взять хоть этого Каспари, вы знаете, какую шутку он учинил со мной один раз? Я дал ему повестушку. Получаю журнал, гляжу: у меня было написано «листочек», а он мне поправил «листик». Ноги моей после этого в «Родине» не будет!

— Может быть, наборщики в типографии переврали... — примирительно сказал я.

— Какое мне дело! Вещь испорчена — редактор пусть отвечает! Он мне говорит: ну, это пустяки, стоит ли сердиться! Нет, это не пустяки! Листик и листочек! Извините, листик — это не по-русски!

Я знал уже всех виднейших редакторов. И все они одинаково не учили писателей ни тому — как писать, ни тому — о чем писать. Они брали или не брали произведение, печатали или не

печатали. Во всем остальном писатель предоставлялся сам себе. Да иначе как бы могла литература осуществлять свою провозвестническую роль?

В то время как комета взвился вверх Иван Шмелев⁴⁰ со своим чудесным «Человеком из ресторана». Напечатал его впервые Миролюбов. Я спросил у него:

— Виктор Сергеевич, а когда вы печатали Шмелева, вы знали, что «Человек из ресторана» будет иметь такой успех?

— Нет, и не предполагал, — спокойно ответил авторитетнейший редактор. — Да этого и нельзя предвидеть. Причины успеха часто не в произведении, а в общественном настроении...

Аркадий Георгиевич Горнфельд выбрал для «Русского богатства» один рассказ из двух, а другой отдал мне обратно. Я удивился:

— Аркадий Георгиевич, ведь этот, по-моему, много лучше.

— Может быть, — спокойно ответил он. — Но мне тот больше нравится!

Он вынул из ящика стола записную книжку и показал мне:

— Вот здесь у меня список авторов, которым я возвращал то, что они присылали. Тут есть вещи, которые потом получили большую известность. И здесь вы найдете имена всех русских писателей последнего времени! В том числе и Льва Николаевича Толстого, — улыбаясь, добавил он в ожидании моего недоумения.

— Не может быть! — вырвалось у меня.

— Да, возвратил! Это из его «Детской мудрости». Помните: «Нечаянно» и другие! Короленко был в Ясной Поляне, Лев Николаевич сказал ему: я люблю ваш журнал и хотел бы у вас что-нибудь напечатать! Владимир Галактионович, конечно, был рад это услышать, просил не забыть обещания. Толстой сказал — я напишу Черткову! И написал. Чертков прислал нам эти пустяки, а я их возвратил.

Чутьем, неким шестым чувством руководились писатели; им же руководились редакторы. Но мне казалось, что тут что-то не так, как должно было быть, и потихоньку думал: нельзя ли применить какую-нибудь науку, опереться на что-нибудь вне себя в делах литературы?

В одном рассказе мне хотелось дать сильное изображение лица убитого солдата, лежавшего в поле, на жнивье. Это долго не удавалось. Закрыв глаза, пытался я вообразить себе это лицо. А так как никакая фантазия не может подсказать ничего, что не было

бы раньше дано в виде непосредственного восприятия, то мне и вспомнилось замеченное где-то когда-то лицо. То был крестьянин с черной бородою, он лежал на земле — вероятно, пьяный. Но вспомнилось это лицо мне не сразу: сначала я увидел, или вспомнил, соломинку в бороде, потом бороду, а затем, постепенно, хотя и быстро, все лицо.

Мне стало ясно, что полное изображение возникает в нас, отправляясь от какой-нибудь подробности. Она незначительна для дела, но дает полноту изображения.

Десятки раз я проверял свое открытие: взгляну на стол, на стену, на комнату, в окно на двор, быстро закрываю глаза и воспроизвожу в уме виденное. Каждый раз, следя за процессом воспроизведения, я убеждался, что прежде всего возникает какая-нибудь частность — освещенный край чернильницы, затем сама чернильница, потом уже плоскость стола, раскрытая тетрадь на ней и наконец весь стол. То же было со стеной, с комнатой, со двором, с любым воспроизведением виденного. Попытки воспроизвести сразу всю картину никогда не удавались.

Я действовал так, как действовал бы в кабинете экспериментальной психологии: Произведя эти опыты, я и вспомнил давно установленный ассоциативной психологией закон: ассоциация представлений идет от частного к общему.

Как бы вы ни описывали человека, характер, природу, — все останется мертвым, пока вы не найдете нужное слово, нужную подробность: тогда все оживает, вспыхивает и поражает воображение, как чудо.

Но если есть законы, а в этом я уже не сомневался, то почему о них никто не говорит и каждый должен открывать их заново для себя?

И я написал статью «Искусство литературной живописи». После напечатал ее летом 1917 года в «Жизни для всех», а Ал.Н. Толстой перепечатал ее, почти целиком, в своих «Бюллетенях литературы и жизни».

Очевидно, я был прав.

9

Много завистливых глаз провожало меня, когда я уезжал из Саратова в Петроград: ведь только там, в столице, настоящая жизнь! Один из самых прилежных друзей «Многоугольника» Иван Юрьевич Борисов-Извековский вдохновенно говорил мне:

— Да, Лев Иванович, настоящая жизнь только там! Лучше быть там дворником, чем здесь столоначальником!

Иван Юрьевич был очень близок к истине, если бы добавил: старшим дворником. Младшим жилось не лучше, чем саратовским столоначальникам. Правда, они прибегали здесь к тому, на что чиновники никогда не решались, — к забастовкам.

Отставные генералы, военные и штатские, сами рубили дрова и тяжелыми связками носили их на четвертый этаж нашего дома в течение целой недели.

Но когда в коридорах нашего дома начинали скрипеть половицы от медленных и грузных шагов господина старшего дворника, дом затихал и прислушивался. Зеленые двери с чугунными номерками приоткрывались; испуганные лица вглядывались в неосвещенный конец коридора, где гудел срывающийся от лестницы и одышки глубокий бас:

— Это у вас тут вчера человек ночевал, а?

— Какой человек, что вы господин старший! — испуганно отвечает невидимый в темноте жилец. — Где вы видели?

— Да, видел. Облик еврейского происхождения!

В мрачной тишине коридора слышится шелест новеньких бумажек, обильно выпускаемых царским правительством.

— Эх, нет, что вы, он русский!

— Ну-ну, глядите, отвечать будете вы!

Гулкий бас становится мягче. Половицы скрипят в обратном порядке. Мы облегченно вздыхаем, прислушиваясь к удаляющимся шагам.

Но перед лестницей грузная фигура приостанавливается. Слышно сопение, и повышенный на октаву бас гремит:

— Черт бы вас побрал всех, таскайся тут по всему дому!

Еще долго гудит старший дворник, спускаясь вниз, и еще долго после его ухода молчит и таится в страхе весь дом.

В этом нашем большом многоэтажном доме на Невском всегда сумрачно, холодно и темно. Большинство окон из комнат выходит на маленький квадратный асфальтовый дворик. Он похож на дно огромного каменного колодца: со всех сторон его шестиэтажные красные стены, клетчатые от множества одинаковых окон. Осенью от дождей и сырости стены багровеют, и жутко глядеть в окно на этот дворик.

В каждом доме шесть этажей, и в каждом этаже темный коридор и утомительный ряд дверей. В домовладении несколько сот

комнат, и несколько сот жизней удивительно ярко отражают сую, чиновный, себялюбивый город.

Так же, как весь Петроград, дом наш был переполнен всевозможными таинственными слухами, и так же, как весь Петроград, распевал модную песенку:

По улицам ходила живая крокодила,
Она, она — зеленая была.

Эта нелепость обладала удивительным свойством быстро притуплять сознание и еще быстрее забываться. Достаточно было раз ее выслушать, чтоб на другой день самому запеть:

На каждом перекрестке
Валялася в известке,
Она, она — вся белая была!

Глупый набор слов и распевался с бессмысленным ухарством, а дважды повторяемое «она, она» выкрикивалось с безнадежной тупостью. Лучшей песенки для того времени нельзя было придумать.

«Крокодилу» распевали повсюду: и в нашем доме, и в голодных очередях, около овощных и бакалейных лавок и перед дверями булочных и пекарен, выдававших по два фунта на человека ржаного, черного и очень горького хлеба. В этих очередях я видывал самых настоящих петербуржцев, неотставных генералов и полковников, уравнивших себя в тыловых правах со всеми гражданами. Очереди перед лавками тогда были новостью невиданной, о которой говорили до тошноты много. Отзывалась на них и «крокодила»:

Во рту она держала
Кусочек одеяла,
Она, она — голодная была.

В неплотности двери нашей комнаты я слышу, как в коридоре шепчутся соседи:

- Слыхали, сегодня уже и черного достать нельзя!
- Да что же это будет?
- То же и будет, что есть, настоящий голод, как у немцев!

Шепот становится глуше. Но нетрудно разобрать или догадаться, о чем идет речь:

- Говорят, на Сенной началось!
- О, за дело им, мародерам!

«Крокодила» надежно засорила мозги, и дальше мародеров мысли в нашем доме не идут.

— Говорят, что-то готовится!

— Да, давно пора!

Кем и что именно готовилось, никто не знал, но все ждали и потихоньку запасали муку, масло, крупу, сухари.

А в ожидании блаженных событий пересохшими от восторга ртами, с потускневшими от выразительности глазами распевали:

Ходила тротуарой
И разрешилась парой,
Она, она — беременна была!

Дальше идти было некуда.

Осип Вениаминович Португалов, сотрудник «Современного слова», как и его отец В.О. Португалов⁴¹, критик и публицист, разговорился со мной в редакции газеты. Разговор происходил вскоре после убийства Распутина.

— Две недели назад, — сказал он, — я прекрасно знал, что делать. Если бы вы меня спросили тогда, я ответил бы: убрать Распутина! Но вот его нет, ничего не изменилось, и я уже не знаю, что нам теперь нужно. Да и никто не знает,

Старый опытный журналист ошибался. Люди, которые знали, что нужно было делать, нашлись. Они вооружились красными полотнищами с надписями «Хлеба!», «Долой самодержавие!», «Долой войну!» и через Невский направились к Таврическому дворцу, в Государственную думу.

Я возвращался из редакции «Огонька», вышел на Невский и пошел с демонстрантами. Так мы шли долго, не встречая гороховых. Когда подошли к Литейному, сзади нагнал нас отряд казаков. Толпа раздалась, давая дорогу. Казаки проскакали между людьми, как по неширокому коридору, никого не трогая. Люди снова сомкнулись и продолжали шествие.

Я свернул в ворота нашего дома с ощущением необыкновенных событий. Вечером где-то на Старом Невском горел полицейский участок. На Знаменской площади офицер застрелил полицейского пристава, поднявшего шашку на демонстранта и не успевшего ее опустить.

Судьба самодержавия решалась с необыкновенной быстротой.

Родзянко⁴² телеграфировал тогда царю: «Государь! В столице анархия. Власть бездействует». И, все еще требуя ответственного

министерства, заключал: «Молю господу, чтобы в этот грозный час ответственность не пала на венценосца».

Но торжественные заклинания уже не действовали. Власть перешла в руки Временного правительства. А.Ф. Керенский стал министром юстиции.

Наш дом, как весь город и вся Россия, ликовал. На общей кухне толпились жильцы, собирая новости от всех, кто возвращался с улицы.

Дальний сосед мой, чиновник, совершенно русский, хотя и с немецкой фамилией, рассказывал о каком-то митинге, где выступал Керенский. Митинг возник стихийно, и Керенскому пришлось встать на пустую бочку, чтобы быть видным толпе. Рассказчика слушали с умилением.

Маленькая, худенькая старушка, преподавательница французского языка в Ксенъинском институте благородных девиц⁴³, стояла у водопроводной раковины и обвертывала краны бумажками, чтобы не дотрагиваться голыми пальцами. Керенский на бочке вызвал у нее презрительную гримасу.

— Комедьянт! — по-французски проговорила она. — На бочку залез!

Вечером у меня сидел старый мой приятель по «Многоугольнику», член Второй Государственной думы Андрей Евдокимович Киселев и говорил:

— Такая культурища пойдет, понимаете вы это?

Петроград жил и мыслил программными брошюрами в разноцветных обложках, издававшимися еще в начале века.

Очень известный в то время филолог и литературовед профессор Федор Дмитриевич Батюшков⁴⁴ взялся за организацию Всероссийского союза писателей. Редакциям журналов разослали приглашения. Поссе сказал мне смеясь:

— Сходите, голубчик, посмотрите, что они там хотят!

Я взял пригласительный билет и отправился в двухсветный зал куда-то на Кирочную или Шпалерную.

Похожий на чеховского профессора Серебрякова, Ф.Д. Батюшков принимал гостей. Его почтительно окружали литераторы не очень известные. Известные держались независимо, но все одинаково чувствовали себя победителями.

Благообразный Д.С. Мережковский в сером костюме сидел на стуле, готовясь занять место среди организаторов первого съезда русских писателей. От необыкновенно свежего и светло-

го костюма до масляно причесанной головы и красивой бороды, в нем все было благообразно: посадка на стуле, неяркие серые глаза, сложенные на груди руки. Он разговаривал с Д.В. Философовым⁴⁵, которого я немного знал по редакции какого-то еженедельника.

В ожидании начала под руку с Анной Ахматовой прохаживался по залу Н.С. Гумилев. Он был в какой-то военной форме со шпорами и с шашкой, которая чуть не везлась по полу.

Вероятно, здесь сошелся весь литературный Петроград, но меня занимали не отдельные лица, а общее на всех лицах победоносное выражение. Можно было подумать, что я попал в штаб революции, где генералы собрались распределить между собой новые обязанности.

Батюшков открыл заседание и начал говорить. Мне стало скучно, и я ушел.

О свободе печати, собраний, союзов много и страстно говорилось в наши гимназические и студенческие годы. Теперь все это свелось, в сущности, к ненужным уже без самодержавия затеям, вроде Союза писателей.

Незадолго до февральских дней я дал редактору газеты «День» И.Р. Кугелю⁴⁶ рассказ о поездке в саратовскую деревню на Рождество. Собираясь в марте его напечатать, Кугель сказал мне:

— Допишите в тех местах, где вас останавливала цензура!

Я несколько раз перечел очерк, но, к великому моему изумлению, решительно ничего не мог добавить!

Владимир Александрович Поссе осуществил наконец свою заветную мечту — организовал «Кооператив просветительной самопомощи» — «Жизнь для всех» и передал ему свой журнал со всем его штатом и имуществом.

Но ни в редакции, ни в журнале также ничего, в сущности, не изменилось, разве что меня выбрали членом правления кооператива и назначили редактором журнала.

10

Второй Всероссийский съезд Советов принял декреты о мире, о земле и создал Советское правительство во главе с В.И. Лениным.

Это было вечером 26 октября по тогдашнему календарю.

В тот вечер мы попали на именины к Дмитрию Васильевичу Васильеву.

Я знал Васильева еще в Саратове. Мы встречались у редактора газеты «Саратовская копеечка». Я печатал там маленькие очерки и театральные рецензии, а он — длинный, с продолжением, роман. Саратовцы находили в романе своих знакомых, и роман нравился.

Теперь Васильев романов не писал. Он служил в каком-то представительстве, жил богато в большой красивой квартире на Васильевском острове с толстой женою и хорошенькой дочкой.

Возвращались мы поздно.

Нас — меня, жену и сестру жены — провожал Евгений Иванович Помазанский, пианист. Как-то вечером, во время прогулки с нами по Невскому, он завел нас в большой класс музыкальной школы на Николаевской улице, где преподавал. Комнату с прекрасной акустикой через итальянское окно освещала луна. Евгений Иванович сел за рояль — ему хотелось играть. Мы сели на скамьи и сразу притихли. Он играл много и так, как играют раз или два раза в жизни. В конце вечера он сыграл необыкновенно лирично и тонко «Музыкальную табакерку» и сказал, что Лядов⁴⁷ — его дядя.

После того вечера Евгений Иванович при нас уже никогда не садился за рояль, а если мы просили, он отвечал:

— Я вам играл уже!

По мобилизации Помазанский носил солдатскую шинель, безрукавку под нею, сапоги, но оставался в Петрограде, устраивал концерты в воинских частях и обедал в Смольном.

Когда мы сошли со ступенек парадного на асфальт тротуара и, очутившись со света в темноте, остановились освоиться с осенней ночью, нас настиг извозчик. Он предложил довезти нас, и мы поехали.

На темных улицах было очень тихо, безлюдно. Перед мостом и за мостом горели костры. Возле них светились штыки солдат.

За мостом патруль нас остановил. Евгений Иванович показал пропуск в столовую Смольного, и мы поехали дальше. Костры горели, штыки светились, но больше нас никто не останавливал.

Вскоре Владимир Александрович Поссе спросил меня:

— Вы с большевиками будете работать?

Летом между двух революций я поместил в «Дне» ряд очерков под общим заглавием «Вольная Русь». Случилось так, что «Правда» раз или два в обзоре печати ссылалась на мои фельетоны в подтверждение своих политических оценок.

Д.И. Заславский⁴⁸ — виднейший сотрудник «Дня», веселый и остроумный журналист, — дал мне тогда прозвище «Наш собственный большевик».

Поссе с любопытством ждал, что я скажу. Он уже носил очки с толстыми, сильно увеличивавшими стеклами и, чтобы видеть, с кем говорил, подходил к собеседнику вплотную, как позволял его живот. Рассматривал он меня через свои стекла так, как будто видел в первый раз. Я ответил:

— А почему с ними не работать?

В этом большом, много видевшем и много знающем человеке каким-то образом сочетались марксизм и толстовство, наука и искусство. Но и там и тут он действовал, как еретик. Влиянию Толстого на русскую интеллигенцию нельзя не удивляться. Оно было исключительно, неизмеримо, колоссально. Ведь и в поразившей тогда всех нас формуле Троцкого «мира не подписываем и войны не ведем» таилось непротивленчество.

О толстовцах Поссе рассказывал так:

— Остался у меня ночевать один толстовец, положил я его на свою кровать, спим... Вдруг слышу: «Владимир Александрович! Владимир Александрович!» Спрашиваю: что такое? — «Матрац подо мной какой?» — Какой? Обыкновенный! — «Набит чем? Конским волосом?» — Не знаю, кажется, волосом... — «Ах боже мой, что же вы мне не сказали!» Всккивает с кровати и ложится на голом полу.

Литературную известность Поссе получил, став фактическим редактором журнала «Жизнь» — органа легального марксизма и новой литературы. Журнал завоевал огромную популярность. В 1901 году он был закрыт по решению Совета министров, а Поссе — арестован и выслан из Петербурга. Он уехал за границу и там организовал, издание «Жизни». Социалистическую революцию он не мог не приветствовать, но переговоры его с большевиками о высоком посту в Народном комиссариате иностранных дел оборвались в самом начале.

— Но почему же, Владимир Александрович? — спросил я.

— Да я поставил им условием: немедленно распустить всех военнопленных! — смеясь, отвечал он.

Кандидат прав и доктор медицины, типичный русский интеллигент Поссе не мог согласиться ни с одной из существующих партий и после Февральской революции организовал свою собственную — «Трудовой союз».

В «Трудовом союзе», как и в других своих начинаниях, Поссе все надежды возлагал на кооперацию, самостоятельность и самопомощь. В лице Поссе они имели поистине вдохновенного деятеля. Впервые я зашел в редакцию «Жизни для всех» вскоре после приезда. В одной из редакционных комнат помещался продовольственный кооператив, тоже «Жизнь для всех». Он напомнил деревенскую лавочку с проржавленными весами, спичками на прилавке, солью и селедками. Я ничего не мог там купить.

Позже, и уже с моим участием, организовался из подписчиков журнала «Всероссийский кооператив просветительной самопомощи» — «Жизнь для всех». Ему Поссе и передал свой журнал. Я был избран в состав редакции и принимал близкое участие в делах журнала.

Мы нашли место для разговора на окне, за штабелями плохо расхोдившегося «Словаря иностранных слов».

— Предложение вот какое, — начал Поссе. — Организовать народную газету или журнал Союза рабочих и крестьян. Они просили меня, я отказался, а назвал вас...

— Что за Союз? Первый раз слышу!

— Полное его название такое: Союз рабочих и крестьян по выработке и снабжению сельскохозяйственными машинами и орудиями.

И Поссе стал рассказывать об этом оригинальном предприятии первых дней социалистической революции. Я подумал, что дело и тут не обошлось без его участия.

— Это, видите ли, группа старых большевиков, многие возвратились из ссылки. Собрались и решили прийти на помощь советской власти. Первая цель — перековать мечи на орала, начать производство сельскохозяйственных машин средствами и материалами военно-промышленных комитетов... Ну, там на месте вам будет все яснее... Пойдите сегодня же к председателю и договоритесь!

— Подождите, Владимир Александрович, справлюсь ли я? По совести сказать, опыта у меня нет никакого!

— Справитесь, в этом-то я уверен. Да где же взять опытных людей? Никто не идет, никто не верит, что большевики удержатся. А вас будут там на руках носить. Сделайте, голубчик, им журнал!

От Поссе, с улицы Жуковского, до служебных зданий Аничкова дворца на Фонтанке, где помещался оригинальный «Союз рабочих и крестьян», путь недолог. Был теплый осенний день, он золотился на сухих торцовых мостовых, и все кругом сверкало. Назначение журнала представилось мне очень ясно. Я шел не

спеша, любуясь городом, и пришел с готовой программой и названием журнала — «Вольный плуг».

Председателю Союза Щукину на вид можно было дать лет сорок. Он оказался самым молодым из членов совета Союза. Встретили меня здесь в самом деле приветливо, согласились и с названием и программой журнала, прикомандировали ко мне восторженного молодого человека по фамилии Оков для связи с советом и поручили начать издание журнала как можно скорее.

Так я стал редактором «Вольного плуга».

Причудливо развивалась тогда деловая жизнь. Социалистические установления уживались с капиталистическими порядками. Получалось все это как-то литературно, но хорошо.

Редактору, секретарю редакции, машинистке и рассыльной выдавали одинаково по пятьсот рублей жалованья, как и членам правления. Бумагу я закупал в каких-то представительствах через банки. Типография «Русской воли» — теперь «Рабочее дело» — перешла к рабочим, но никто им заказов не давал. Предложение печатать «Вольный плуг» председатель рабочего управления принял с восторгом, и без его помощи я не сумел бы, конечно, ни купить бумаги, ни завезти ее в типографию! Журнал назначался для деревни в качестве еженедельной народной газеты, но никакого другого способа распространения, кроме продажи через газетчиков, мы не видели. Я думал печатать не более десяти тысяч для начала, но в совете Союза на мой вопрос, сколько печатать, ответили:

— Сто тысяч!

Я испугался:

— Газетчики возьмут на первый раз не более двух-трех тысяч! Подписчиков еще нет... Кто же будет распространять остальное!

— Мы, — резко ответил сидевший рядом со Щукиным его заместитель, старый рабочий, политический ссыльный Н. Микулин.

— Каким образом? — недоверчиво спросил я.

— Распространим, как сумеем, — это уже наша забота!

Он не говорил, а командовал — уверенно и презрительно. Я ушел.

Однако на деле совет забрал всего сто экземпляров первого номера. Газетчики не взяли больше того, что обещали продать. Остальным тиражом типография начала набивать нашу редакцию. В небольшой комнате, где мы первоначально поместились, стало трудно передвигаться. Я позвонил в типографию.

— Это «Вольный плуг»?

— Печатаем, часть в брошюровочной!

- Сколько напечатали?
- Двадцать пять тысяч!
- Прекратите печатать!

Я решился на самоуправство и был прав. Следующие номера печатали не более десяти тысяч.

Журнал составлялся главным образом мной и секретарем редакции — Александром Васильевичем Туфановым⁴⁹. Я познакомился с ним у Поссе.

Человек удивительного добродушия и неисчерпаемого оптимизма, невысокого роста, горбун, он ходил в тяжелых сапогах, с палкой, прихрамывая. Длинные, по традиции поэтов, волосы, прямые и гладкие, свисали ему на лоб. Он постоянно откидывал их за ухо. При каждом движении, даже при одном повышении голоса они падали на глаза.

Он сам называл себя «Председатель Земного шара Зауми», но стоял особо от тогдашних футуристов, символистов, декадентов. Стихи он писал легко, не стесняясь выдумывать свои слова, если не находил подходящих в общем словаре. Выходило и звучно, но непонятно.

— Выступал, Лев Иванович, вчера у студентов, думаю, народ все-таки образованный, не сапожники же, — хладнокровно рассказывал он, — читаю свою поэму. Начинают шуметь, кричать: бред, чепуха! Пошел вон отсюда! Идиот! — Не улыбнувшись, убрал волоса и добавил: — Ну что, думаю, с дураками разговаривать? Взял и ушел!

Но в «Вольном плуге» как секретарь он работал чудесно, составлял еженедельные обзоры событий, и немислимо было предположить, что этот же самый человек писал:

Кичет Русь, как лебедь белая,
Колоколит на кону.
Только щоборты бестелые
Слышит часовой в плену.
Чужень к чарочке притатился
Чайца Ручи по чамрой.
Чумарь с чунями охатился
С чалой трестью под чадрой...

Мы дорожили каждой строчкой, освещавшей деятельность Союза. Но судя по доставляемой нам хронике, широкие планы и намерения Союза сводились к незначительным результатам. На весь

ма скромные результаты деятельности Союза указал и В.И. Ленин делегатам Союза, когда они посетили его и доложили о своих планах и о своей работе. Кажется, самым реальным результатом деятельности Союза был наш «Вольный плуг». Несколько номеров делегаты вручили председателю Совета Народных Комиссаров.

Делегаты потом говорили мне, что Владимир Ильич журналом остался доволен, поинтересовался, кто редактор, и велел секретарю записать мое имя.

Вскоре после приема у В.И. Ленина меня вызвали на заседание совета. Обсуждался вопрос об издании еще одного, теперь уже художественно-литературного журнала. Докладывал Микулин. По-видимому, он имел особенную склонность к литературным занятиям.

— Основная задача журнала, — говорил он, — будить мысль читателей так, чтобы дальше читатель уже сам думал, получал самообразование, становился сознательным товарищем, без чего коммунизм построить нельзя...

Разъяснив цель нового издания, докладчик предложил назвать его «Будящая мысль».

Щукин, внимательно слушавший старика, заметил:

— Надо бы пояснить, что журнал дает не готовые мысли и рассуждения, а только будит их! То есть мысли читателя должны кружиться около журнала. Я бы сказал так: ось будящей мысли!

Сидевший рядом с докладчиком член совета попросил слова.

— Хочу уточнить, — сказал он, — ось-то ось, будящая-то будящая, но ведь надо указать, и какая это ось, какие мысли она будит?

— Да что ты хочешь? — нетерпеливо перебил его докладчик.

— Уточнить: красная ось будящей мысли. Вот как!

Я не выдержал и стал говорить, что заглавие журнала, газеты должно быть, по возможности, очень кратким, удобным для произношения, выразительным, совершенно понятным, даже красивым.

— Ось будящей мысли, да еще красная — это очень громоздко, длинно, непонятно, ничего не объясняет, трудно выговаривается, да и неграмотно как-то, — говорил я.

Микулин встал и резко заявил:

— Пусть это непонятно, пусть это неграмотно, но это будет так потому, что мы так хотим!

Этим обсуждение и закончилось. Кто бы мог подумать, что в этой краткой реплике таилась программа всех наших ошибок на полвека вперед!

Журнал, конечно, не вышел. Объявление о нем мы напечатали в нескольких номерах нашего журнала. Я только уговорил отбросить «красная»: при советской власти все журналы «красные» и нет нужды это добавлять во всех заголовках.

— Не пишут же «Красная Правда», — напомнил я.

С этим согласился и Микулин.

Не вышла не только «Ось будящей мысли». Закрылся на седьмом номере и «Вольный плуг». Союз прекратил свою деятельность и существование вслед за переездом правительства в Москву.

Я вернулся к своей попытке подвести научные основы под психологический эмпиризм в художественном творчестве. Я уже не ограничивался вопросом «литературной жизни», но распространил свой метод и на другие явления литературы.

Статью «Литература как искусство» я показал в Пролеткульте. Товарищи, читавшие мою работу, согласились в том, что она может помочь пролетарским писателям научиться писательской технике.

— Но мы хотели бы, чтобы примеры были из наших произведений! — заявили мне.

— Да где же эти произведения? Еще нет ничего!

— Ну все-таки найти примеры можно... — не очень твердо заявил беседовавший со мной товарищ и вернул мне рукопись.

Некоторое время статья бесприютно лежала у меня, а затем я отдал ее в редакцию журнала «Культура». Издавал его А.Н. Тихонов⁵⁰.

Здесь со статьей познакомился Горький.

11

Впервые я увидел Горького в редакции журнала «Летопись». Он прошел мимо собравшихся в приемной, высокий, худой, все еще смущаемый любопытством окружающих, ни на кого не глядя. С рукописями в руках, деловой, сосредоточенный и очень простой в этой своей деловитости, он мне понравился. Я не стал домогаться разговора с ним. Передал секретарю свой рассказ и ушел, надеясь познакомиться с Горьким, когда приду за ответом. Но еще до истечения обычного двухнедельного срока я получил от Алексея Максимовича письмо по городской почте. Рассказ мой показался ему недостаточно характерным по фактам, в нем описываемым, — «на войне есть вещи гораздо страшнее», — писал он.

Рассказ «Солдаты» напечатал в своем журнале В.А. Поссе. Вряд ли Алексей Максимович был прав: военного цензора, пропустивше-

го рассказ, сняли с работы, как только номер журнала поступил в продажу.

Встретился я с Горьким несколько позднее, летом 1918 года, когда вышла у В.Д. Бонч-Бруевича первая книга моих рассказов «Темный круг». Я сделал на книге торжественную надпись и отправился с нею к Горькому.

Я рассчитывал передать книгу и уйти. Но поднявшись на третий или второй этаж к Горькому и позвонив, невольно спросил — дома ли Алексей Максимович?

Горничная, открывшая мне дверь, приветливо ответила:

— Дома, пожалуйста!

И так широко распахнула дверь, что я уже не мог не войти.

— Как об вас сказать?

Я дал ей свою визитную карточку и прошел в дверь налево, в кабинет или гостиную, а она пошла, очевидно, в столовую: оттуда слышались звон посуды, веселые голоса и смех. Было время обеда, и я стоял не садясь, чтобы тотчас же уйти, извинившись за приход не вовремя. Но извиняться не пришлось. Алексей Максимович вышел ко мне немедленно и заговорил так, как будто я пришел по его приглашению. Не помню, с чего начался разговор, вероятно, с обязательной благодарности за поднесенную книгу, но тотчас же перешел на события дня, которые тогда поглощали все интересы.

— Вот сейчас, перед вами, была одна барышня, — говорил Алексей Максимович, — я, видите ли, пообещал ей похлопотать за ее отца — генерала, которого взяла ЧК. Теперь пришла узнать. Я вышел к ней и говорю: ну, извините, барышня, ничего не мог сделать, вашего папашу расстреляли! Она даже не вскрикнула, а только глядит на меня и говорит: «Как же я маме скажу?» Видите, что делается? Уже не об отце, а только «как маме скажу?»

Мы все знали критическое отношение Горького к некоторым событиям дня по его выступлениям в «Новой жизни»⁵¹ — газете меньшевиков-интернационалистов, где Алексей Максимович печатал ряд статей под общим ироническим названием «Несвоевременные мысли».

И я не удивился, когда он заметил с досадой:

— Что тут могут сделать большевики, когда их всего-то полтора-два человека, я их всех лично знаю, со всеми знаком! Вся наша беда в том, что у нас и угнетатели и угнетенные — одинаково хороши!

Это было сказано сильно, отчетливо, с резким ударением на «о», но не шло дальше все тех же «несвоевременных мыслей», которые мучительно преодолевал не один Горький.

Мне было двенадцать лет, я учился в гимназии. Непоздно вечером я проходил по Казарменной улице, держась протоптанных между грязных луж дорожек, и подходил к чугунным воротам завода Чирихиной. На тротуаре перед воротами разговаривали двое рабочих; они стояли друг против друга, поперек тротуара. Чтобы обойти их, пришлось бы сойти на дорогу, в воду, где светился далекий фонарь. Я побоялся явиться на залитый светом вокзал в грязных калошах и пошел по тротуару. Один из стоявших, не прерывая своего разговора, без единого слова между нами, быстро и сильно ударил меня по лицу.

Я вынул из лужи мою гимназическую фуражку с серебряным гербом на околыше и молча пошел дальше.

Не более как через год или два я ходил по серому пожарищу на Железнодорожной улице. Пожар начался пасхальной ночью, длился до утра и выжег целый квартал деревянных флигелей, тесно составленных на «чужом» месте. У больших русских печей все трубы были целы. Без крыш они казались очень высокими и длинными. В четырехугольниках угля и золы остовы железных кроватей показывали расположение комнат и состав семьи. Выгорело все: пожар начался, едва ударили к пасхальной заутрене.

Между остатками домов праздничные люди проложили серые дорожки и медленно двигались по ним цепью, друг за другом.

Было уже не раннее утро, от куч золы и угля шел дым и пар. Пожарные продолжали лить воду на догорающий пепел.

В трех шагах впереди от меня, под руку с дамой шел офицер в светло-серой шинели. Усталый пожарный, перекидывая струю воды с одного на другое дымящееся пепелище, облил водой офицерскую шинель.

Офицер оставил руку своей дамы, шагнул, не глядя себе под ноги, к пожарному и изо всей силы ударил его по щеке. Тот вытянулся, не выпуская брандспойта, и я слышал, как он сказал:

— Прошу прощения, ваше благородие, нечаянно.

— В другой раз будешь смотреть, негодяй! — ответил спокойно офицер.

Он снял белую перчатку с руки и стал стряхивать ею капли воды. С толстого, плотного сукна они скатывались, точно с масла,

не оставляя никакого следа. Извинившись перед спутницей, офицер взял ее под руку, и они пошли дальше. Обуглившийся кулич, кем-то вынесенный на дорожку вместе с тарелкой, они старательно обошли, чтоб не уронить.

Не знаю, когда я был больше оскорблен живою действительностью — там ли на Казарменной улице у ворот Чирихинского завода или здесь, на пожарище, в яркий солнечный первый день Пасхи!

И тогда на Кронверкском, разговаривая с Горьким, я знал, что передо мной человек, о каких писал Герцену Прудон⁵²: «Писатель, действительно любящий свободу, истинный друг революции, часто не знает, в которую сторону ему направлять свои удары, в скопище ли утеснителей или в недобросовестность утесненных».

Совсем неожиданно для меня Алексей Максимович заговорил о моей статье «Литература как искусство», напечатанной в журнале Поссе «Жизнь для всех».

— Оно интересно у вас получается, — сказал он, — да и верно, но где же нам сейчас думать о всех этих тонкостях, когда у нас девяносто процентов неграмотных...

Разговаривая, Алексей Максимович держал мою книгу в руках, изредка заглядывая в нее. Заметив, что я готов уйти, он положил книгу и, оглянувшись кругом, сказал:

— Надо бы вам дать что-нибудь свое, да вот, видите ли, только «Несвоевременные мысли»! — Он указал на пачку связанных по-типографски книг, стоявшую на полу в углу, и посмотрел на меня: — Я хотел бы вам дать художественное. Ну, в другой раз!

В те годы вся жизнь была у меня впереди, все было легко, просто, доступно, и я не догадался, что именно книга статей была бы лучшей памятью об этой встрече.

Осенью я уехал в Саратов с командировкой Пролеткульта, для работы в журнале «Горнило»⁵³ и остался там на несколько лет. В одном из писем В.Я. Шишков сообщил мне, что в каком-то разговоре, коснувшемся меня, Алексей Максимович сказал:

— Нет, вот тот у него хороший рассказ был, где барышни китайца убили!

Рассказ этот, донельзя мрачный, я помню хорошо, но где я напечатал его — не помню. В письмах ко мне Горький ограничивался редакторскими замечаниями и похвалил лишь однажды мой роман, резко отвергнутый нашей критикой.

12

Кто бы мог покинуть без тайной горечи Петроград с его набережными и каналами, с его Невским, Адмиралтейством и полуденной пушкой на кронверках Петропавловской крепости? Но все, что можно было продать и сменять, было продано и выменено, все, что можно было съесть, было съедено.

Я смотрел на негра в белоснежной рубашке, изображенного на крышке коробки с рисовым крахмалом, и соображал, какое блюдо можно приготовить из рисового крахмала? На лампе выпекли лепешки, но они сильно отдавали мелом.

По карточкам выдавали кусок ржаного хлеба с примесью овсяной муки, величиною не более того, что подается к первому блюду в сытых домах.

Я пытался служить в Совете народного хозяйства. Платили все еще одинаково по пятьсот рублей человеку. Я выбрал себе должность переписчика на пишущей машинке. Но когда, усевшись за огромный «Ремингтон» с табуляторами, я увидел в окно сияющий осенний день, Неву и блистающий шпиль крепости, мне стало жутко. Я отнес назад папку с бумагами для переписки и сказал:

— Разрешите, товарищи, уйти для устройства своих дел.

Воронков, мой начальник, посмотрел на меня очень внимательно. Один из организаторов «Трудового союза», он, как Поссе, не находил себе места ни в одной тогдашней партии. Мы были знакомы давно.

— Да вы не вернетесь? — уныло спросил он. На улицах падали лошади. Дети кормили их желтыми одуванчиками и травой, которую приносили из запущенных скверов. Но лошади не поднимались. Добрый лошадиный глаз подолгу смотрел в небо, а затем становился стеклянным и страшным. В толстых лошадиных губах желтые цветы быстро вяли. Дети возвращались в скверы и плакали.

В зале Городской думы на Невском Глазунов дирижировал своею симфонией. В большой артистической комнате, скорбно глядя на мою жену, хорошенькую, худенькую и наивную, он говорил:

— Вы, мужчины, совсем другое дело. Нам легче. Мы вот покурим, и голода нет. А вот вы, женщины, не курите...

Он был очень толст и высок. От гениального портрета Репина у него сохранились только улыбка и странно, как бывает при удивлении, изогнутые брови.

В перерывах, бросив дирижерскую палочку, Александр Константинович возвращался в артистическую весь мокрый и с помощью лакея начинал переодеваться. На этот случай за ним всегда следовал человек с чемоданом. В чемодане лежало несколько смен крахмального белья, по числу антрактов и перерывов.

Концерт устраивал Помазанский. Он упросил мою жену захватить с ним к Глазунову, привезти его в Думу. Старые артистические обычаи и нормы вежливости оказались прочнее Временного правительства. Александр Константинович осведомился о том, какая погода, и стал одеваться.

Когда появился человек с чемоданом, моя жена решила, что он везет ноты глазуновской симфонии.

Последнее, что я продал, была моя пишущая машинка. Ее купил для своего учреждения Васильев.

Остаться в Петрограде я не мог. Человек свободной профессии, я выпирал из списков домового комитета и постоянно попадал в наряды по трудовой повинности. То меня наряжали в караул у ворот, то отправляли мести улицы, колоть лед, а осенью послали в Обухово, на кладбище хоронить холерных.

Противохолерные мероприятия саратовцам хорошо известны, но тут мне стало как-то не по себе.

— А что вы беспокоитесь? — начал стыдить меня председатель комитета. — Их привозят в фургонах, таскают крючьями, все дезинфицируется. Вам халаты дадут, рукавицы... Усиленный паек — и сверх карточек!

Хоронить и таскать крючьями нам не пришлось. Покойники уже лежали в больших могилах, засыпанные известью. Нам роздали только лопаты. Без всяких рукавиц и халатов мы стали бросать землю. Сошлось нас по трудовой повинности человек тридцать. Могилы мы зарыли быстро, без усталости, и странно было, что для этого надо везти людей из Петрограда.

Говорят, что трудовой хлеб вкусен. Однако розданный тут же на кладбище усиленный хлебный паек не полез мне в рот, несмотря на голод.

Возвращались мы в пригородном поезде, посажившись в вагоны без билетов, как пришлось. Когда проходивший контролер протянул ко мне руку, я мрачно сказал:

— Холерный!

Он понял, но пассажиры, возле которых я сел, повскакивали со скамейки. Я пояснил.

— Не я холерный. Я хоронил холерных!
Но так до Петрограда и занимал один всю скамейку.

В связи с усиливавшимся отливом населения выезд из Петрограда был запрещен.

Моя пролеткультовская командировка, подписанная Владимиром Кирилловым⁵⁴, на минуту смутила коменданта. Он задал мне несколько вопросов:

— Где помещается Пролеткульт? Чья подпись в командировке?

Получив твердые ответы, он почувствовал доверие ко мне и выдал разрешение на выезд с женой.

За два дня до отъезда на Литейном, возле дома, где жил Достоевский, я нечаянно сошелся с В.С. Миролубовым. Он спросил, как мои дела, и я сказал с горечью, что вот уезжаю опять в Саратов и там совсем пропаду как писатель! В его глазах я был наивен, молод, обеспечен будущим, но он понял меня и говорил, не выпуская моей руки из своей, большой и теплой:

— Ну что это вам так за себя беспокоиться? Вы уже много сделали, у вас имя есть, как же так вы можете пропасть?

От встречи со старым русским редактором мне стало веселее. В тот же день и как же случайно простился я с Горнфельдом. Я проходил по Шпалерной, мимо дома, где он жил. Обычно, чтобы видеться с ним, надо было предупредить его. Он не любил, когда видели, как он ходит, усаживается за стол, и я, например, никогда не видел, как он это делает. Мне не хотелось поднимать столько шуму, чтобы заявить о своем отъезде.

Горнфельд жил высоко, его поднимали и опускали на лифте в колясочке, похожей на детскую. В этой колясочке я и увидел его в тот день в сквере перед домом, где он жил.

— А что вам здесь делать? — сказал он в ответ на мое сомнение в необходимости уезжать. — Я бы не задумавшись уехал на вашем месте. Но что я буду делать без моей библиотеки?

Когда я пожимал маленькую ручку, наклонившись над детской коляской, Аркадий Георгиевич сказал:

— Если не трудно будет... Пришлите мне из вашего Саратова посылку с хлебом... Только хлеб.

Путь из Петрограда в Саратов был недолог, но страшен. Прямого сообщения с Саратовом не было. В Москве поезд охраняла воинская часть. Патрульный солдат ввел нас в вагон и открыл дверь купе. Оно оказалось занятым, а окно разбитым. Неожидан-

ные пассажиры пытались покинуть вагон через двери. Провожатый наш потребовал, чтобы они выбирались через окно, как вошли. Он был неумолим. Один оказался с костылями, но и для него не было сделано исключения, несмотря на наши просьбы и сочувствие:

— Пусть как лез, так и вылезет! Сумеет, раз сумел влезть. Вы их не знаете!

И действительно, мы не знали: инвалид выбрался через окно, правда, с помощью товарищей.

Ветер и дождь врывались в разбитое окно всю дорогу. Один из наших спутников, узнавши, что у меня командировка Пролеткульта в Саратов, день и половину ночи убеждал меня проехать с ним прямым путем в Воронеж. Но мы вышли в Козлове пересест в саратовский поезд.

С желтыми столичными чемоданчиками мы были похожи на бродячих актеров. На козловской платформе, перед приходом нашего поезда, к нам подкатился как-то бочком толстый человек в холщовом плаще с капюшоном и коротко спросил:

— Гастролировали?

Я покачал головой. Он отошел с недовольством.

Ночью мы сидели на лестнице. Всю ночь на моих плечах тяжело лежали чьи-то ноги в подкованных сапогах. Утром мы садились в поезд, как все: через окна. Я помог жене, а сам попал через другое окно с другими непроторными пассажирами прямо в уборную. Когда уборная надобилась, нас выталкивали в коридор.

Между Козловом и Саратовом, верстах в пятнадцати от станции Умет, жил мой брат Алексей Иванович. Мы решили заехать к нему. Он заведовал бывшей земской больницей в Северке, жил сыто и, прислав нам в Петроград в самодельном ящичке сухарей, писал: «Приезжай-ка лучше, братец, сюда!»

Сухари мы съели, а неуклюже сколоченный ящичек отдали молодой соседке на гроб новорожденной ее девочке.

В Умете впервые досыта мы ели хлеб и сало, забранное на базаре в Козлове. Мы пили чай до позднего вечера, а потом спали на том же круглом столе.

Утром у станции оказался промышлявший извозом крестьянин. Он завез нас сначала в избу к себе, напоил чаем, потом повез в Северку, к больнице, и стал расспрашивать, где квартира врача. У брата шел прием. Он увидел нас в окно, выбежал как был в белом халате с засученными рукавами и, усевшись в телегу, показал, куда ехать.

В больших семьях дети сближаются друг с другом по возрасту. Мы были младшие, оба — гимназисты, разнились только на один класс, оставались вместе, когда все старшие уже покинули дом. Потом, уже с женами, мы жили в Саратове на одном дворе. Очутившись теперь вместе в деревенской телеге на рыхлой соломе, стали смешными и близкими, как у дедушки Федора Федоровича в Терсе.

Парадный ход был уже закрыт на зиму. Мы вошли через кухню, огромную и светлую, как весь дом. У окна на скамейке стояло эмалированное синее ведро с молоком. Молоко пили здесь, как воду, и, как воду, отталкивал от себя кружку с молоком маленький мой племянник, удивительно похожий на отца. Мы жили у брата, пока молоко и хлеб не перестали волновать нас. Отправляясь на голод в Саратов, мы положили в чемодан три фунта пшена.

— Не берите больше, все равно отберут! — предупреждали нас.

Вес нашего маленького мешочка с пшеном я узнал из розовой квитанции на реквизированный у нас в Тамале хлебопродукт.

Брат проводил нас до Ртищева. Он ехал туда за спиртом для больницы. После того мы уже с ним никогда не встречались.

Вскоре после нас он был призван в Красную армию под Воронеж. Он умер от тифа в каком-то сельце Петропавловском Калачевского уезда, одинокий, безрадостный. «Схоронили, — писал фельдшер, — как следует, по христианскому обряду, с поминовением и возложением венков от медицинского персонала».

Положили, узнала после жена, в тесовый гроб полуодетого, гроб поставили в мутную воду рядом с другим покойником, и могилу оставили открытой еще на два дня — ждали третьего гроба: дороги были рабочие руки, хоронили по двое, по трое, иногда больше.

«Перед смертью заплакал, — добавлял фельдшер. — Никогда не плакал, а тут вдруг слезы, слезы и слезы. И добиться никто не мог, о чем он плакал? Денег же при нем оказалось тысяча двадцать три рубля, которые израсходовали на погребение».

13

Мою командировку в редакции саратовского журнала «Горнило» встретили сухо. Журнал выходил раз в месяц, в сотрудниках не нуждался. Гостями из столиц Саратов был переполнен. Но, сдав командировку, я ничего не требовал и очутился среди милых и дружелюбных людей.

В редакцию на Немецкой улице я все же заходил поговорить, с кем-нибудь встретиться.

Рядом помещалось холодное, грязное кафе. Раз я зашел туда с М.А. Зенкевичем⁵⁵, потому что озяб и у меня болела голова.

Дома, начиная бредить от невыносимой головной боли, я просил, держась пальцами за виски:

— Разрежьте здесь!

Мне казалось, что так сойдет боль. В больнице, с обритой головой, ложась после ванны в холодную, жесткую постель, я почувствовал себя счастливым и потерял сознание.

Семен Павлович Полтавский, теперь уже врач, привез меня в железнодорожный тифозный изолятор. Заведовал им и лечил меня чудесный толстяк Алексей Николаевич Добротин.

Через сколько-то дней, когда я пришел в сознание и он наклонился ко мне со своей трубкой, я спросил:

— Что со мной было?

Он ответил:

— Сыпной тиф!

Моя койка стояла у окна, выходящего в сени: изолятор помещался в обыкновенном деревянном доме. В это окно смотрели на меня жена и мать. Утром, после трехдневной февральской метели, меня привезли домой. Я стал ждать, когда смогу ходить по снегу в валенках, в нахлобученной шапке, с поднятым воротником, когда отрастут волосы, вернется почерк.

Весною я смотрел в общедоступном театре пьесу С.И. Антимонова⁵⁶ «Цари», в которой он сам играл Грозного.

В Петрограде Сергей Иванович Антимонов служил много лет в «Кривом Зеркале»⁵⁷. На пьесе его и на игре лежала та же кривая усмешка, которую иной раз и не разглядишь. В роли Грозного он садился на ступеньку трона и точил нож о подошву сапога; вопреки всякой последовательности событий, в пьесе царь Федор встречался с Самозванцем.

Я прошел за кулисы и спросил Сергея Ивановича: где же эти цари встречались?

Он ответил:

— На границе своих интересов!

Логики символизма, как уравнений со многими неизвестными, я не понимал.

У Антимонова сидел Алексей Дмитриевич Скалдин⁵⁸, тоже гость из столицы, автор романа «Странствия и приключения Никодима старшего».

Жизнь этого Никодима проходила в подвале, наполненном деревянными куклами. Он путешествовал по подвалу, где его встречали куклы. Все это автор описывал как реальность.

Скалдин в Саратове считался необыкновенным умницей, вероятно, потому, что снисходительно улыбался — о чем бы его ни спросили. Я пытался узнать у него, что означают куклы, подвал, Никодим? Он улыбнулся и пожал плечами. Серебряное прадедово пенсне на носу у него при этом скривилось так, что я почувствовал себя дураком:

— Что это — аллегория? — упорно продолжал я.

— Почему аллегория? — лениво отвечал он, еще раз пожимая плечами.

— Но какой-нибудь смысл в романе есть же?

— А разве нужен смысл?

Крутясь, как бумеранги, все вопросы возвращались ко мне обратно, не причиняя Скалдину ни малейшего затруднения. Он держался, как римский авгур⁵⁹, и, как авгура, его окружало идолопоклонничество.

Одному из своих последователей Скалдин открыл тайну: в «Странствиях и приключениях Никодима старшего» он просто рассказывал один свой глупый сон. Сон приснился инспектору страхового общества и сделал его писателем.

Вероятно, и даже наверное, символизм — исторически оправданная неизбежность и необходимость. Но в те годы он уже становился чем-то старомодным, как мой, когда-то модный, сюртук.

В антракте со мной поздоровался незнакомый человек, молодой, красивый, похожий на актера.

— А вы помните, — сказал он, — еще когда вы жили здесь на Константиновской улице, к вам пришли три гимназистика со стихами? Помните вы их?

Он улыбался, и я узнал в нем одного из этих гимназистов. Им было лет по четырнадцати, они явились втроем, чтобы быть смелее, и все-таки держались робко. Я взял из рук рыженького, худенького, самого маленького из них листок со стихами и сказал что-то одобрителное. Товарищи посмотрели на автора с торжеством и объявили:

— Мы его привели к вам. Он сам не смел.

Все это я вспомнил, даже припомнил подпись под стихами: Марк Хаин.

— Да, Марк Хаин, — подтвердил молодой человек. — А я Смирнов Николай Александрович, теперь актер, служу в этом театре. Третий с нами был — Леопольд Авербах⁶⁰, он в Москве. Марк работает в «Известиях», и он уже несколько дней вас разыскивает... Вы можете зайти к нему?

Я сказал, что зайду, и, действительно, вскоре, проходя мимо здания Совета, где помещалась редакция «Известий», зашел к Хаину. Это был тонкий и стройный, как будто прозрачный, просвечивающий на солнце юноша, необыкновенно легкий и бесстрашный. Он упросил меня взять работу в редакции и, как-то очень легко и быстро переходя из одной комнаты в другую с моим заявлением в руках, утвердил меня в какой-то должности, а потом показал мне комнату, стол и стул, где мне сидеть. Вероятно, с ним было бы легко и приятно работать, но через несколько дней он был мобилизован на фронт за Волгу. Казачьи отряды подходили к Пугачевску.

Я встретил его на Немецкой улице. Он шел с большим букетом цветов, завернутым в розовую бумагу, и сказал, что вечером отправляется на фронт, а с цветами идет проститься к невесте.

Через два дня я узнал о его гибели. Не желая сдаться наступившим его казакам, он прострелил себе голову из тяжелого нагана.

Я нашел его невесту в узкой комнате, рядом с залом, как во всех флигелях. Маленькое окно затемняла большая тюлевая занавесь, на столе в вазе стояли те самые цветы. Они были еще живы, и мы оба не отрывали от них глаз, пока бедная невеста говорила мне о необыкновенной чистоте и верности своего жениха.

Ночью я писал о цветах, о юности, любви и героизме. Рассказ в «Известиях» напечатали, но без Хаина о литературном отделе в газете некому было думать, а мне в редакции — нечего было делать.

Из Петрограда я привез с собой одну рукопись — статью «Литература как искусство». Василий Захарович Яксанов, заведующий Саратовским отделением Центропечати, задумал ее издать. Раньше у него была своя небольшая типография, печатавшая старообрядческий журналчик и торговые книги. Яксанов печатал там сборник «Война и Жизнь», пуская в набор очередной лист не раньше, чем кончали печатать и разбирали предыдущий.

Лукавый старообрядец, обремененный детьми, пораженный чахоткой, он любил литературу, книгу и отнимал у детей молоко,

выменивая у меня на него роскошного Гоголя с рисунками Боклевского⁶¹. Он восхитился моей статьей, довел дело до гранок, но издать книжечку ему не позволили.

Старые нормы литературы, быта и отношений отмерли, новые еще не утвердились. Действительность, как дождь, вынуждала стоять под первой попавшейся крышей, не высовываясь.

В деревянном торговом помещении на Верхнем базаре, занятом издательством губернского Союза потребительских обществ, нашел я Сергея Тимофеевича Патрашкина⁶². В дни моей юности каждому его фельетону в «Саратовском вестнике» люди радовались, как празднику. Мы называли его «вторым Дорошевичем»⁶³. Года за три до меня он переселился в Петербург, напечатал романы в «Северных записках» и в «Дне», теперь вернулся в Саратов и заведовал изданием кооперативного календаря как Сергей Тимофеевич Григорьев.

Для календаря он заказал мне очерк о знаменитом саратовском Глебуцевом овраге. В планах старого Саратова овраг этот назывался «Глебов овраг». По его кручам, между которых день и ночь журчит, разбавленный нечистотами, незамерзающий зимою ручей, расселились ремесленники, мелкие торговцы, рабочие. Они стали называть овраг Глебуцевым, отражая в наименовании мрачный характер местности и жилищ. Я написал об этом.

Сергей Тимофеевич сказал:

— У вас и глаза и уши писательские!

— А мне с ними, как рыбе в сети, метнуться-то и некуда! — невесело договорил я.

— Ну, ну, ну! — проворчал он, берясь за бороду, которую бог знает почему носил всю жизнь. — Я лет на пятнадцать старше вас да и то собираюсь еще лет двадцать поработать, когда все утихомирится!

Сергей Тимофеевич проработал больше, чем предполагал, написал груды чудесных детских книг и умер в Москве уже в 1953 году.

Я даром веры и предвиденья не обладал.

14

Бог весть кто надоумил Павла Ивановича Васильева, слесаря железнодорожных мастерских, теперь редактора журнала «Приволжский красный путь» пригласить меня секретарем в редакцию. Я сидел в своей комнате с закрытыми ставнями, прячась от зноя, когда он, проходя мимо, решил войти и поговорить.

— Тут, знаете ли, такая вещь, — объяснился он со смущением. — Я хочу литературный отдел завести. Вообще-то журнал ведомственный, главное мы приказы печатаем. Но хотелось бы литературный отдел. Вы бы нам помогли. Тут, знаете ли, еще и такая вещь... Я тоже пишу. Стихи, правда.

Его большие, тяжелые руки, выражая смущение, лежали на кепке. Кепку он держал на коленях. Все это мне понравилось, и я согласился.

Наголо обстриженная в больнице голова моя давно уже приобрела свой прежний вид. Я опустил волосы на лоб, вместо того чтобы зачесывать их назад, как прежде, и стал опять, как в детстве, ходить через весь город, только уж не в гимназию, а в управление Рязано-Уральской железной дороги, находившееся на Соборной площади.

Здание управления выстроено на месте Старого гостиного двора. Архитектурный кусок этого гостиного двора сохранили по настоянию Архивной комиссии. Он примыкал к зданию управления. Охраняли его крупные надписи на стене: «Не останавливаться», «Не мочиться». Однако прохожие и останавливались, и даже садились.

Редакция журнала на третьем этаже здания приходилась над архитектурным памятником. Народу в комнате было значительно больше, чем требовало печатание приказов.

В светлом углу у окна за высокой конторкой работал корректор Теодорович. Когда-то он был членом Архивной комиссии. Вскоре после нашего знакомства он принес списки учеников Саратовского духовного училища и показал, как дети пономаря Ярославова, поступив в училище, стали называться один Гумилевским, а другой — Никольским.

— Это не ваши предки? — спросил он.

Я отвечал утвердительно, и он целый день улыбался как человек, которому посчастливилось сделать открытие.

Напротив меня сидела близорукая машинистка. Она не отрывала от меня восторженных глаз. Стекла ее пенсне, которых она никогда не снимала, преувеличивали восторженность. Я чувствовал себя неловко. Мне казалось, что восторг вызывает мое писательское имя. В действительности это делал мой сюртук. Другого у меня ничего не было, и я поневоле оригинальничал. Сюртуки с длинными, чуть ли не до пят полами, девушка видела только на актерах в респектабельных пьесах из иностранной жизни, и в ее глазах я одевался шикарно.

По одну сторону от меня помещался Васильев, по другую — местный саратовский драматург из немцев Поволжья Александр Кондратьевич Роледер. Довольно скоро мы вступили с ним в сделку: он по крайней дешевке приобретал у меня рукописи моих новых рассказов, втайне рассчитывая их когда-нибудь издать; а я по крайней дешевке отдавал их ему, твердо надеясь на то, что это ему никогда не удастся.

Литературный отдел в журнале мы открыли стихами Васильева, а потом печатали и Орешина, и Зенкевича.

В Саратове я сделал гораздо больше столичных знакомств, чем в самом Петрограде. В одно июльское утро пришел в редакцию познакомиться Борис Андреевич Пильняк⁶⁴. Узкое большеносое лицо его горело от солнца, рыжеватые волосы были мокры, расшитый ворот рубашки расстегнут. Он жил почти на самой Волге, постоянно купался и ходил в город мимо управления.

Он принес мне свою первую книгу, только что вышедшую, и объяснил, что он у меня учился. Мы все учимся друг у друга. Вероятно, не мне одному Пильняк делал такие признания. Он был дружелюбен, широк, открыт для других и по-казацки благоговел перед товариществом.

— История нас по полкам расставит! — повторял он, и товарищ он был хороший для всех и всегда.

Я писал плохо, но художественный голос у меня был поставлен правильно, и этому у меня можно было учиться. Я любил слова прямого значения, как бы они ни были стерты. Я не говорил, что герой не блистал красотой или что он не отличался многословием, а писал просто: он был некрасив, немногословен.

Пильняк это чувствовал. Художник и только художник, он становился косноязычным, когда приходилось что-нибудь рассказывать, описывать, сообщать читателю. Но все, что он хотя бы вскользь изображал, приобретало у него монументальность, будь то девка, выходящая в лунный свет из овина по своей нужде, или хруст падающей струи, слышимый в осенней тишине.

В первой книге его таился весь «Голый год», а и весь «Голый год» — только начисто переписанная записная книжка художника. Здесь все косноязычно и все — бронза:

— Домудровалси, князь! — говорит старик помещику.

И какая необыкновенная, непереносимая жажда и жадность! Мать Пильняка, возвратившись из Коломны, где он тогда жил, передала мне привет от него. Я спросил: как он живет? Она ответила:

— Да он хорошо живет! Утром встает, пьет чай, потом читает газетные вырезки о себе, потом идет работать...

О Пильняке в самом деле писали больше, чем о каком-либо другом советском писателе. Но он не знал сытости и присылал мне мелко и плотно уписанные почтовые листки с отрывком из какой-нибудь статьи или новой повести.

«Может быть, сумеешь протащить в своем журнале?» — писал он.

Журнал наш уже существовал. С литературным отделом он отошел в ведение Дорожного политического отдела. Начальник Дорполита высокий, худой, решительный латыш Юров, присланный из центра, возвратил Васильева в мастерские к исполнению прямых обязанностей, а меня назначили редактором.

Вскоре, однако, Дорполит решил издавать вместо журнала газету. Юров поручил ее Л. Котомке⁶⁵, А. Дорогойченко⁶⁶ и Н. Селезневу, мужу М.В. Куйбышевой. Мне же предложили организовать научно-технический журнал...

Возможности моей судьбы и жизни не поглощали в те годы всех моих сил и энергии.

Я преподавал литературу на пехотно-пулеметных курсах, писал санитарные и производственные пьесы, руководил занятиями по художественной прозе в Литературных мастерских.

Несколько пьес и книгу рассказов выпустило Саратовское государственное издательство. Пьеса моя «Владыка мира» выдержала несколько сот представлений в передвижном театре Рязано-Уральской железной дороги.

Комитет помощи голодающим решил издать однодневную газету «Голос Поволжья». Организацию дела поручили редактору газеты «Советская деревня» Н.П. Перепелкину. Занятый своей газетой, человек необыкновенно медлительный от естественного характера и напускной осторожности, он препоручил дело мне.

Приглашенные Перепелкиным к участию в газете не принесли ничего. Не дождавшись обещанных статей, я стал их писать сам.

Начал я с хроники голода и помощи голодающим. Затем написал очерк и рассказ. Воззвание от имени Комитета и передовую должен был дать Перепелкин.

Я заходил к нему и домой и в редакцию — он готовился засесть за то и другое, но в субботу — газета должна была выйти в воскресенье — заявил, что успеет написать только передовую, а воззвание просит написать меня. Я написал.

Ночью я верстал газету, ждал Перепелкина, а затем к утру сел писать и передовую. Газета вышла в срок.

Вечерами я занимался с молодыми литераторами. В Литературных мастерских я распространял свои мысли о литературе как искусстве. М.А. Зенкевич толковал с ними о стихах. Мы разнились с ним во взглядах на искусство, но оставались хорошими товарищами даже и после публичных дискуссий.

В те годы А.В. Луначарский сдал все искусство как на откуп футуристам. В.И. Ленин писал тогда по поводу издания поэмы Маяковского «150 000 000»: «Вздор, глупо, махровая глупость и претенциозность»*. Но о записках В.И. Ленина мало кто знал.

Анатолий Васильевич привез в Саратов Василия Каменского⁶⁷. Пока он сам, прекрасный оратор, выступал с речами в переполненном театре, Каменский в МУЗО, располагавшем хорошим помещением на Немецкой улице, читал нам свои поэмы и длинные нотации о футуризме.

Кудрявый блондин, победоносно оглядывавший аудиторию, не понимал, что «можно быть новым, не будучи странным», как учил Вольтер, и вопил с эстрады:

Искусство мира — карусель —
Блистайность над глиором
И словозвонная бесцель
И надо быть жонглером.

Каменский был поэтически недалек, а практически сметлив и ловок. Он ставил пьесу, где танцевали шпалы и рельсы, и думал, что футуризм и Луначарский останутся навсегда.

15

На наших занятиях в Литературных мастерских бывала молодая, добрая женщина, спокойно и гордо носившая свою красоту. Не помню, чтобы она читала что-нибудь. Однако часто по окончании занятий, всегда под руку с подругой, выходила она вместе со мной и спрашивала о чем-нибудь. Однажды, прощаясь, она сказала со смехом:

— Каждый раз дома я рассказываю мужу про вас, и он уже стал злиться...

— А кто ваш муж? — спросил я.

* «Коммунист», 1957, № 18, с. 76.

Она назвала фамилию двух братьев, довольно известных по профсоюзной работе, и добавила:

— Аарон. Вы, наверное, слышали... Знаете, он вчера сказал нам с сестрой: ну, погодите, посадят вашего профессора, вот увидите!

Мы оба рассмеялись и разошлись.

Затем однажды в широком, как улица, коридоре управления ко мне подошел красноармеец и спросил: я ли Гумилевский? Получив ответ, он протянул мне какой-то документ. Я доверчиво взял его и вдруг увидел, что это ордер на мой арест.

— Хорошо, — сказал я, — но надо доложиться начальству!

И мы пошли к Юрову. Как миллионы советских людей в подобных обстоятельствах, я не сомневался, что как только меня приведут в ЧК, так тотчас же ошибка выяснится и меня с извинениями отпустят. О разговоре с моей красивой слушательницей я не вспомнил.

Юров пожал плечами, сказал: «Хорошо, идите!» — как будто он мог разрешить или не разрешить мой уход...

Как только мы вышли, встретилась моя племянница. Мы поздоровались, я сказал ей быстро, прежде чем приблизился мой провожатый:

— Сходи к нам, скажи, что меня арестовали...

Затем без встреч и разговоров мы прошли через весь город до Вольской улицы, где помещалась Чрезвычайная комиссия. Комнаты, назначенные для содержания арестованных, коридоры, крыльцо и весь двор были набиты людьми. Очевидно, проводилась кампания по борьбе с контрреволюцией и шли массовые аресты.

До вечера сидел недвижно на ступеньках крыльца. К ночи меня позвали в комнату коменданта. Он предложил мне подписать какой-то печатный бланк, где говорилось, что мне предъявлено обвинение по какой-то статье.

Конкретного обвинения никакого, однако, не было, и подписывать пустую бумажку я отказался.

Усталый комендант не стал спорить. Я ушел и опять уселся на крыльце. От шума, табачного дыма, голода я тупо дремал.

Вдруг сзади меня в толпе послышался голос конвойного, затем началось какое-то торопливое движение, Я оглянулся и увидел, как десяток людей, обгоняя друг друга, побежали к большой железной бочке с нечистотами, подняли ее и куда-то понесли.

Люди готовы были делать все, что угодно, только бы выбраться из дыма тоски и тупости.

Ночью всех выстроили во дворе, пересчитали, окружили солдатами с винтовками и так повели в тюрьму.

Был комендантский час, над пустыми улицами сияла луна, и странно отдавались в мертвой тишине наши шаги по сухим уже мостовым. Мы прошли мимо нашей гимназии и по счету были впущены за каменные стены Саратовской тюрьмы. После обыска меня заперли в одиночную камеру. Я обрадовался одиночеству. Однако утром меня перевели в другую камеру. Надзиратель грубо торопил меня, я резко напомнил, что попал сюда без вины. Он ответил упорно и сухо:

— За малые дела в одиночку не посадят!

В камере, куда меня перевели, нас оказалось четверо.

У одного была длинная голова с заостренным на затылке черепом, точно выдавленное из зеленой глины лицо, темные, как пятаки на покойнике, глаза, длинные руки и злые пальцы на них. Он лежал на топчане день и ночь. Когда меня втолкнули в камеру, он не оглянулся, как другие, но вечером спросил коротко:

— Вас-то за что?

— Не могу понять! — ответил я.

Медленно, без улыбки, он сказал:

— Баловать не надо!

...Через сколько-то дней меня отвели к следователю. Я понимал, что он что-то у меня выпытывает, задавая вопросы явно глупые: знаю ли я, где помещается МУЗО, не выступал ли я там на каких-нибудь вечерах, что я читал?

Но что именно его интересовало, я не мог догадываться и отвечал:

— Знаю... Выступал... Читал!

— А что за рассказ вы читали последний раз?

Я показал на одну из отобранных у меня при обыске книг. Они лежали у следователя на столе.

— Вот в этой книге есть...

— Но тут же есть разрешение цензуры!..

Он бросил книгу и стал раздраженно писать. Потом дал мне на подпись какое-то обязательство и вручил конвойному ордер на освобождение. Я спросил его:

— За что же я все-таки тут сидел?

Он отвечал сухо и зло:

— По доносу нехорошего человека.

Даже и в этот момент я не вспомнил о муже моей красивой слушательницы из Литературных мастерских.

— Я же предупреждала вас! — со спокойным достоинством сказала она, когда мы встретились.

Я стал собираться в Москву.

16

В провинции воздух свеж, солнце ярко, небо прозрачно, но душевный опыт принижен, поступки ничтожны, мышление бездарно.

Алексей Дмитриевич Скалдин взялся заведовать театральным отделом губернского отдела народного образования. Он уговорил меня пойти к нему в отдел секретарем. Днем я бывал ненадолго в отделе, вечером шел в театр или в цирк.

Кинематографов и театров в Саратове всегда было много. Абрам Матвеевич Ромм из столичных актеров и актрис, собравшихся тогда в Саратове, организовал еще «Театр эксцентрических представлений», или ТЭП.

Ромм мужественно брил губы, холил клинообразную бороду, носил феску и придумывал новые формы театрального зрелища. Но ТЭП не пошел дальше обыкновенного театра миниатюр.

На службе я выдавал работникам театров удостоверения личности, а своим знакомым — контрамарки. Чтобы не утруждать себя их выписыванием, а Скалдина — подписыванием, я заказал в типографии бланки удостоверений и книжки контрамарок. Порядковые номера тех и других я брал с потолка по памяти, Скалдин подписывал бланки между делом, и я удовлетворял посетителя прежде, чем он успевал изложить свою просьбу.

Театры, кинематографы, концерты и цирк потеряли для меня свой праздничный характер: они превратились у меня в будничную потребность. Она опустошала ум, не насыщала сердце и будила новую жажду развлечений.

Я уже не мог пробыть вечер дома. Потом и утро и день без встреч и зрелищ стали казаться потерянными.

Вечером опять театры и чаще всего — ТЭП. Эксцентрические представления длятся недолго. Я еще успеваю попасть в цирк, к третьему отделению...

В Саратове летом с восхода до заката небо висит над городом, как опрокинутый котел с расплавленным оловом. Вечером люди выходят к воротам и сидят на скамейках до ночного холодка. От

пьяных распевающих голосов и гармошек с колокольчиками меня охватывают непереваримая тоска и отчаяние. Я возвращаюсь домой очень поздно, не спеша поднимаюсь по уличной лесенке на крыльцо и думаю: что же дальше?

В середине лета театры начинают пустовать. Директор театра имени Карла Маркса Сергей Оскарович Вольф⁶⁸ ехал в Москву договариваться о гастролях, устраивал артистические понедельники, доставая с пыльных полок «Цыганку Азу» или «Красную мантию».

Это был талантливый администратор. Я учился с ним в городском начальном училище. Мы кончили там курс в один год и оба с первыми наградами, затем видели постоянно друг друга в том же «Общедоступном театре». Я только мечтал стать актером, Вольф им стал, но играл редко и без всякого блеска.

В один из понедельников он поставил мою пародию на знаменитого в те времена «Иванова Павла»⁶⁹. Она называлась: «Иванов Павел — гражданин».

Вольф знал театр и актеров, он умел привозить в Саратов любую знаменитость. В тот год у него гастролировали Пашенная⁷⁰, Максимов и Певцов⁷¹.

Певцов играл Павла в пьесе Мережковского. Лысый, заикающийся Певцов был совсем не похож на артиста, но я ушел из театра с прочным и странным ощущением: я видел Павла. Это ощущение осталось на всю жизнь. Когда бы и где бы ни приходилось мне потом читать или слышать о загадочном русском императоре, неизменно и с прежней ясностью возникало во мне ощущение: я видел Павла!

Много лет я пытался проникнуть в тайну Певцова. Ничего заметно особенного в игре его я не находил: произносились те же слова, совершались те же события, и он принимал в них то же участие. То, что я замечал, оказывалось незначительной подробностью: великолепное сукно на темно-зеленом мундире, подлинные ордена, лысый череп под париком...

Очевидно, и на сцене, как во всяком искусстве, действовали только подробности.

За год или больше до того в саратовском же театре имени Чернышевского в той же роли я смотрел Ивана Артемьевича Слонова. Блестящий, типичный актер первого положения, красивой внешности и металлического голоса, он был хорош в любой взятой им роли, будь то Гамлет или тетка Чарлея.

И заглавную роль в пьесе Мережковского он сыграл превосходно.

Но из театра я пошел в цирк, а дорогой думал только о том, какой Иван Артемьевич прекрасный актер и как жаль, что его смотрят лишь в одном Саратове.

17

Провозглашенная В.И. Лениным «всерьез и надолго» новая экономическая политика вернула страну к старым заботам.

Скалдин таинственно шепнул, что будем получать тантьему. Я в страховых обществах не служил, никогда ничего не страховал и потому спросил, что это такое? Скалдин отвечал улыбкой. Но в тот же день наш бухгалтер Кудрин поздравил меня и объяснил, что тантьема — это отчисление от прибыли в пользу руководства.

Скалдин и наяву видел свои фантастические сны.

Декадентское окружение и собственный образ жизни действовали. Я написал пять туманно-глупых рассказов, собрал в книжку под символическим заглавием «Может быть» и пошел в Управление полиграфическими предприятиями.

С.Ф. Котиков, человек постоянного беспокойства, веселый и любезный, выслушал меня и коротко спросил:

— Так что же от нас требуется? Бумага, кредит? Пожалуйста!

Таким же образом выпустил я в свет миниатюрный роман «Эмигранты» с маркой «Издательство «Курганы»». Оно выступало у меня с идеями русской литературной децентрализации. Конечно, никаких «Курганов» не существовало, я мистифицировал читателей, чтоб все было похоже на оправдашнее.

Подходил новый театральный сезон. Администраторы театров решили возвратиться к продаже программ, но требовали, чтобы печатало их Управление зрелищными предприятиями. Скалдин отказался этим заниматься.

Я спросил администраторов: согласны ли они брать у меня журнал с программами и вовремя давать мне текст программ.

Это им понравилось. Я переговорил с Котиковым и стал выпускать еженедельное «Обозрение театральной и художественной жизни г. Саратова». Тогда все это делалось просто, явочным порядком, хотя и цензуровалось.

Разумеется, весь номер составлял я один. Развозил журналы на велосипеде по театрам брат моей жены. Объявления в журнал собирали мы оба. Деньги быстро менялись в цене. Иногда плату

за объявления мы брали товаром. За полстраничное объявление мануфактурного магазина «Сагитта» я сшил зимнее пальто.

Предприятие мое имело успех. Его погубил неумиравший во мне интеллигент. Не помню, по какому поводу, саратовские «Известия» резко и грубо напали на наше управление и его руководителя. Меня это вовсе не касалось, но я считал нужным отвечать в «Обозрении». Сделал я это в виде открытого письма.

Мне показалось неудобным выступать в печати, не пославши текста письма тем, кому оно было адресовано. Размножить его на машинке я поленился и попросил типографию дать мне десять корректурных оттисков письма. Я подписал их, запечатал в конверты и отправил накануне выхода журнала.

В гимназии мы воспитывались на прямоте и душевной стойкости древних. В покоряющей власти благородства над людьми я не сомневался.

Одно из писем пошло в адрес Н.О. Вальдмана. Эстрадный актер, не то факир, не то исполнитель куплетов, Вальдман занимал какие-то должности в профессиональном союзе работников искусств.

Утром, когда номер журнала с письмом повсюду продавался, Вальдман отправился в губернскую Чрезвычайную комиссию и заявил, что он открыл распространителя нелегальной литературы.

Днем я возвращался из управления домой. На Немецкой улице ко мне подошел маленький черненький человечек. Несколько ранее он вызывал меня к себе в губернскую Чрезвычайную комиссию по поводу очередного номера «Обозрения». Я пришел с версткой. Коротким пальцем мой цензор ткнул в первую строчку моего рассказа и спросил:

— Что вы этим хотите сказать?

Рассказ начинался чисто фельетонной фразой: «Все на свете рано или поздно кончается». Далее говорилось о том, что все вещи были проданы и безработному герою рассказа пришлось искать себе какую-нибудь службу, чтобы не умереть с голода.

Я ответил:

— Ничего, кроме того, что сказано. Вы что же, только одну фразу прочли?

Он молчал, раздумывая.

— Так что же? Вычеркнуть, что ли? — допытывался я.

— Нет, зачем же? Печатайте!

На этом мы разошлись. Теперь он пожал мне руку как хороший знакомый и сказал:

— Наш начальник просит вас зайти к нему!

— Когда?

— Да сейчас. Он ждет вас!

— Хорошо, я зайду!

— Пойдемте вместе!

Он пошел рядом.

— Хорошо, что я вас встретил, — говорил он, — не застал бы, пришлось искать бы...

Так с провожатым моим и шли мы вплоть до стола его начальника. Он сидел спиной к окну перед небольшим столом. На столе лежали и свежий номер моего «Обозрения», и адресованный Вальдману корректурный оттиск.

— Для чего вам понадобилось рассылать оттиски?

Я объяснил. Начальник посмотрел на меня и стал заполнять в лежавшей на столе книжке бланк ордера на арест.

Конвойный солдат молча сводил меня домой за вещами. Я взял подушку, одеяло, обменялся с женой взглядами. Для людей, знающих друг друга, они значительнее слов.

Меня держали под арестом, пока длилось следствие, — дней восемь, — в большой светлой комнате, вдвоем с викарным саратовским архиереем, необыкновенно тучным человеком, равнодушным и молчаливым. Его обслуживал молодой послушник, постоянно приходили монашки. Они приносили завтраки, обеды, ужины и, когда он крестил их, целовали его пухлую руку. Архиерей по большей части лежал на длинной скамье, часто засыпал и тогда храпел так, что дрожали и звенели стекла.

Через день я перешел спать в полутемный без окон чулан рядом. Похожий на рев архиерейский храп здесь сотрясал перегородку, и я подолгу не мог заснуть.

Время от времени появлялись новые люди. К вечеру их отправляли в тюрьму. На день задержался с нами слушатель из Театральных мастерских. Я встречал его в наших Литературных мастерских. Мы пользовались одним помещением для занятий.

Невысокий плечистый юноша казался неуклюжим для роммовского ученика: у Ромма учили студентов больше всего танцам, спорту и акробатике.

Я спросил его, как он здесь очутился.

Он ответил по-актерски, разведя руками:

— Анекдот какой-то!

И стал рассказывать шепотом.

Вчера по дороге из дому в мастерские его застал дождь. Он забежал в первые ворота и там встретил товарища. В глубине ворот торчала еще какая-то фигура, но они не обратили на нее никакого внимания и стали разговаривать о своих делах. Товарищ спросил моего знакомого: что он намерен делать летом?

Тот ответил: хорошенько еще не знаю, кажется поеду в деревню и буду там заниматься спортивной работой.

Дождь перестал, товарищи побежали по мокрым тротуарам в мастерские и явились как раз к началу занятий.

Через два часа будущих мастеров театра Ромм вызвал в зал и приказал стать в один ряд. Когда все построились, он обратился к человеку в военных сапогах и штатском пальто, стоявшему в дверях:

— Вот, пожалуйста, все налицо!

Полуштатский-полувоенный человек прошел мимо встревоженных слушателей, поглядел на их лица, остановился против моего знакомого и твердо сказал:

— Вот он!

Ромм назвал фамилию, гость вынул ордерную книжку, вписал названную фамилию и привел сюда моего собеседника.

— Но вас уже допрашивали? — спросил я.

— Допрашивали!

— В чем же вас обвинили?

— В том, что я эсер и под воротами говорил, что поеду в деревню заниматься партийной работой.

Я расхохотался.

— Но вы объяснили же...

— Все говорил!

Вечером будущего мастера театрального искусства переправили в тюрьму.

Меня обвинили в нарушении правил о печати, которых никто не знал. Дело отправили в губернский суд, а меня освободили, отобрав подписку о невыезде.

Я шел по темным мокрым улицам, с постелью, и мне было стыдно. Дома я бросил вещи, переоделся, через час уже был в театре и чувствовал, что все начинается снова. Молоденькая девушка, с которой я часто встречался, сидела на нашем обычном

месте. Она была мне рада, но ко мне постоянно подходили знакомые, чтобы только молча пожать руку.

На другой день в типографии я проходил мимо наборщиков. Кто-то сказал вслед:

— Как ни в чем не бывало!

Печатники остановили меня:

— А мы тут красный галстук делаем! Посмотрите-ка!

Перед арестом я заказал клише со своей фотографией, и они печатали на «американке» мой портрет. Я застал их в тот момент, когда они подгоняли вторую печать.

Метранпажа, с которым я делал свои книги и журнал, вызывали и допрашивали, обвиняя в незаконной выдаче мне оттисков. Я чувствовал себя виноватым и просил у него прощения.

— Да это пустяки, — сказал он, — а вот журнал-то ваш перехватили. Только мы отказали, — гордо прибавил он. — Будут в четвертой типографии печатать.

Пока я отсутствовал, мои литературные друзья и слушатели из мастерских во главе с П.Г. Скосыревым⁷² решили издавать вместо моего «Обозрения» того же типа журнал под названием «Художественный Саратов».

Судьба нового журнала меня не интересовала.

— Вы, наверное, в Москву теперь? — с грустью и завистью спросил метранпаж.

— У меня взяли подписку о невыезде! — сердито отвечал я.

Я страшился Москвы, где ничего не знал, думал с холодом в сердце о необходимости в четвертый раз начинать заново жить.

В Саратове зимой больше солнца, чем летом. Дни искрятся и сверкают, ночи блистают лунным сиянием, все звенит, все светится... А за высокими сугробами, под толстыми от снега крышами, в деревянных домиках люди изнемогают в тоске и скуке.

Я писал рассказы, читал свои лекции в клубе пехотно-пулеметных курсов, получал паек и обмундирование, с которым не знал, что делать, и чувствовал, как постепенно тупею.

Сначала уехал Антимонов, потом Ромм, Зенкевич, и вот уже, пройдя Немецкую из конца в конец, я не встречаю ни одного знакомого, а если встречаю, меня спрашивают:

— Вы еще не уехали?

— У меня подписка о невыезде, — сурово отвечаю я. — Жду суда!

— Так вы до второго пришествия будете ждать! — сказал мне

старый знакомый адвокат. — Пойдите в суд и попросите назначить дело, так как вам надо уехать. Эти дела судья решает без заседателей.

Я не торопился последовать совету. Но как-то, проходя по Театральной площади мимо здания, где тогда помещался суд, я зашел, вдруг неожиданно быстро нашел канцелярию моего судьи и наткнулся на его секретаря. Пришлось изложить просьбу.

— Подождите, — сказал он. — Я спрошу у судьи.

Он разыскал мое дело и пошел с ним к судье, а вернувшись, объявил:

— Подождите, он сейчас вынесет решение.

Я отошел к большому зеркальному окну и стал смотреть на площадь. Под окном грелась батарея водяного отопления; где-то стучала машинка; секретарь выходил и торопливо возвращался. Все было так светло и мирно, а у меня стучало в сердце, и я думал о том, что судьба всегда и все делает наоборот...

— Пройдите к судье! — вдруг услышал я.

Я вздрогнул и пошел за секретарем. Он ввел меня в кабинет. Судья поднялся и стал читать решение. Оно заканчивалось формулой всегда счастливой: считать по суду оправданным.

Я поблагодарил, поклонился и вышел.

Красное солнце пробилось сквозь морозные облака, похожие на дым, и точно повисло над площадью. Я тихо шел и неторопливо думал о необходимости ехать теперь в Москву.

Последнее время мы с женой расшивали номера «Обозрения» и из листов журнала клеили пакеты. В первые годы новой экономической политики люди сходили с ума от торгового вождения, и пакеты у нас всюду охотно брали. Но журнальные номера кончались.

Наум Исаевич Гржебин, брат издателя⁷³, заведовавший отделом изобразительных искусств в нашем управлении, сказал мне с упреком:

— Отчего же вы не уедете?

— Ах, боже мой! Да у меня даже на билет денег нет!

— Возьмите у меня займы. Это пустяки.

Работники «ИЗО» обожали своего заведующего. Он был добр, щедр и в молодых художниках любил искусство необыкновенно будущего. Я поблагодарил его и проворчал:

— А что я там буду делать?

— Я вам дам письмо к моему сыну. Он что-то там издает и вам поможет.

Я стыдился продолжать разговор, сказал, что возьму и займы и письмо. Наум Исаевич улыбнулся, прощаясь, точно я стоял уже на перроне вокзала.

Дома меня не трогали. Предполагалось, что я сам знаю, что делать, что не делать. Никто не сомневался, кроме меня, ни в моем уме, ни в моей решимости.

Я зашел в театр к Вольфу. Он закричал на меня:

— Что ты здесь околачиваешься? Почему не уедешь?

Я опустился, как старик, на маленький зеленый диванчик в его администраторском кабинетике, забитом мебелью и бронзой.

— Сергей Оскарович, дорогой мой, да ведь мне и остановиться-то там негде. Куда я с вокзала денусь, а?

— Иди, спектакль начинают. В антракте зайди, я напишу тебе письмо к моему брату. У него остановишься.

— Я его не знаю.

— Ничего, он тебя знает, поживешь у него. Иди, а то не впустят. У меня строго.

Он встал, проводил меня до двери, подталкивая в спину, и еще раз напомнил:

— В антракте зайдешь!

Нерешительность хуже любого решения. В антракте я зашел к Вольфу и взял приготовленное для меня письмо к его брату.

18

Дорогу из Саратова до Москвы я провел на верхней полке вагона, не сходя вниз, с закутанной в пальто головой, чтобы не думать, а спать до конца поездки. Стояли мутные, рано смеркающиеся февральские дни без солнца и снега. Поезд шел ровно и мерно. Я со страхом следил за названиями станций и неотвратно приближался к Москве.

У меня было два адреса. Торгуясь с извозчиком у Павелецкого вокзала, я не знал, куда ехать.

— Если на Преображенскую площадь, сколько возьмешь? — спрашивал я, доверяясь судьбе.

— Далеконько, — отвечал занесенный снегом извозчик и запросил какую-то большую сумму.

— Ну а на Новую Басманную сколько возьмешь?

— Что поближе будет, можно скинуть!

— Тогда на Басманную, — распорядился я, берясь за полость саней и передавая чемодан извозчику. Он поставил чемодан у себя в ногах, я положил постель себе на колени, застегнул полость, и мы поехали.

Шел тихий, теплый снег. На тротуарах лежали сугробы с выемками перед воротами домов. С высоких столбов уличных фонарей сиял электрический свет, и казалось, что кругом и у всех весело и уютно, а мне одному холодно и одиноко.

У такой выемки в сугробе против ворот огромного дома извозчик осадил лошадь.

— Вот десятый номер! — сказал он, показывая кнутом на ворота.

Это был адрес брата моего приятеля — Анатолия Оскаровича Вольфа, слушателя Военно-воздушной академии, бывшего летчика. Мне стало невыносимо стыдно.

— Поедем на Преображенскую площадь, — вдруг решил я, не поднимаясь в санях.

На Преображенской площади жил дальний родственник мой, Сережа Лазарев, невзрачный, золотушный и скучный мой сверстник.

— Далеко, не поеду! — заупрямился извозчик. — Вишь, снег какой!

— Мне туда бы лучше! — начал я упрашивать.

— Куда рядились, туда и привез! — оборвал меня мой суровый возница.

Я помедлил еще минуту, потом расплатился, взял свой чемодан с машинкой, мешок с постелью и пошел разыскивать вторую квартиру.

Вольф на два звонка вышел ко мне сам. Раскрытая дверь заслонила свет с площадки, я назвал себя. Он сказал:

— Я вас по голосу узнал!

Мне сделалось немного покойнее. Но затем я услышал, что у Вольфа, кроме жены, есть свояченица, которая живет с ними, все в одной комнате. Я растерялся, но, прочитав письмо, с которым я явился, хозяин твердо сказал:

— Оставайтесь у меня. Когда кто-нибудь к нам приезжает, Юля уходит ночевать к соседям. Мы здесь живем дружно.

Он стал расспрашивать о Саратове, о театрах, брате, и мне уже делалось тепло на широком диване, но пришла его жена, затем ее сестра, молодая, хорошенькая девушка. Я поднялся, не докурив папиросы:

— Нет, знаете, я все-таки поеду на Преображенскую площадь...

Вольф остановил меня необыкновенно решительно:

— Особенных неудобств нам нет, никакого одолжения вам я не делаю: вы нужный человек, я как партиец обязан вам помочь и вопрос рассматриваю только так... Неудобство только в том, что Юля работает в домоуправлении и по утрам ее приходится будить. Но Анна Николаевна, привязывает ей к ноге веревочку, протягивает за дверь и утром дергает, когда надо вставать. Так что она никого не беспокоит...

Я снова и твердо поднялся. Но Вольф не уступал.

— Вопрос исчерпан! Сейчас будем пить чай, а завтра я поговорю в домоуправлении, нет ли у нас здесь чего-нибудь...

Я остался.

То были годы, когда утопический социализм стоял на пороге действительности, старым идеям свободы, равенства и братства был открыт широкий путь. Коммунист во всей его мыслимой чистоте и непосредственности, Анатолий Оскарович Вольф говорил мне, как на митинге:

— Не психуйте! Такие люди, как вы, нам нужны, комната у вас будет.

Он сидел за своим письменным столом под темным абажуром, не выпуская трубку из рук, погруженный в толстые учебники, а я потихоньку устраивался на ночь. Юля шла к соседям и там со смехом привязывала к ноге веревочку, чтобы сестра могла ее будить, никого не беспокоя.

Этот огромный дом на Новой Басманной строило общество квартировладельцев и закончило его уже в начале войны. Там было более ста больших квартир, с мраморными ваннами, расписными потолками и зеркальными окнами. В первые годы революции рабочие в брошенные владельцами квартиры вселялись неохотно, занимали, как Вольф, нижние этажи: лифты бездействовали, водопровод, канализация не работали, и верхние этажи пустовали. Но затем дом перешел в ведение Народного комиссариата путей сообщения, и теперь заселяли его по тамошним ордерам.

Вольф рассказал жившему здесь начальнику «Транспечати» обо мне, и через день я уже получил там какую-то должность, а через несколько дней мне выдали и ордер.

Свободных комнат, однако, не было. Меня вселили на «совместное проживание» с Дмитрием Алексеевичем Соколовым в девятую квартиру, по той же лестнице, где жил Вольф.

Мы поднялись с Вольфом на пятый этаж по чистым мраморным ступеням и вошли в — бывшую инженера Шапиро — роскошную квартиру.

Дмитрий Алексеевич Соколов, гравер с табачной фабрики «Ява», еще не старый, хозяйственный, положительный человек, занимал круглую комнату, бывшую гостиную. Меж зеркальных окон, под простенками, отделанными золотом, лежали дрова и стояли ящики из-под папирос: один под примусом, другой для посуды. У камина с огромным над ним зеркалом в карельской березе лежали опрокинутая жестяная печка и трубы к ней. К двери с гранеными стеклами прислонилась тележка для перевозки пайков.

Когда мы вошли, хозяин встал из-за стола, снял очки и молча посмотрел на нас. Мы объяснили, в чем дело. Вольф показал ордер. Дмитрий Алексеевич пожал плечами, не вынимая рук из карманов.

— Располагайтесь! — сухо сказал он. — Это вот, — он указал на диван, плетеный садовый стул и стол, — коммунальное, можете пользоваться. А остальное — мебель моя собственная.

Мне приходилась половина с камином и зеркалом.

— Эта печка, трубы — тоже мое. Я все уберу. Вы когда переберетесь?

— Сейчас же! — отвечал я.

— Сейчас и я все приберу.

Когда я вернулся с вещами, тележка для пайков, дрова, печь с трубами были вынесены на балкон. Дмитрий Алексеевич сидел за большим круглым столом, стоявшим посередине комнаты, и читал «Мертвые души», заложенные синей лентой.

Я сложил свои вещи у камина и стал примериваться, как спать. Пружины в диване держал только прочный верх. Я потрогал спинку, положил ее на диван, покрыл простынею, опять примерился и объявил, что ложусь спать.

Сосед мой оторвался от книги, сказал:

— Спокойной ночи! Завтра я уйду на работу рано, а замочек оставляю свой, с двумя ключами, так, чтобы ни вам ни мне не стеснительно. Прошу только запирать аккуратно!

Я сказал «хорошо», закрыл голову одеялом, но еще слышал, как он готовил свою постель, отвернул коврик у кровати, завернутый на день, приготовил туфли, воду, ночные принадлежности, помолился, погасил свет, вздохнул и лет.

Дверь на балкон осталась открытой. Из старого сада, примыкавшего к дому с нашей стороны, дул влажный ветер, и где-то близко всю ночь выли свистки маневровых паровозов...

Утром сосед мой долго мылся, растирал щеткой голое тело, не стесняясь моего присутствия, облился холодной водою, оделся, разжег примус, сварил два яйца, вскипятил кофе, запер свои шкафики, откашлялся, причесался еще раз, погулял на балконе пять минут и ушел.

И потом уже каждое утро, закрываясь одеялом с головой, чтоб не злиться, слушал я шарканье щетки, плеск воды, гуденье примуса, треск разбиваемых яиц, одного, другого, потом пятиминутную прогулку на балкон и облегчительный скрип двери.

После этого вставал я, иногда пил чай, чаще сразу садился за машинку или бежал в город.

Инженер Шапиро, владелец квартиры и строительной конторы на Мясницкой улице, жил здесь вдвоем с женой.

Рядом с кабинетом у Шапиро была биллиардная с камином в углу и дубовой панелью по стенам. Обе комнаты в дни приемов можно было соединить, раскрывая высокую до потолка и широкую во всю стену створчатую дверь.

Эту комнату занимал с женой и маленькой дочкой Геннадий Дмитриевич Астахов, наш староста. В квартире его не любили, но слушались, хотя и подозревали в хищении электричества.

Подозрение навлек он сам, сказавши кому-то, что лечится электричеством.

— Для этого нужен аппарат, — смеясь, сказал я, — дома нельзя этого сделать.

— Вы его не знаете, — сухо ответили мне. — Геннадий все может! Действовал в квартире он прямолинейно и строго. На другой день, как я вселился к Соколову, он зашел взглянуть на мое хозяйство, сейчас же заметил, что я работаю за столом, сидя на низком диване, немедленно удалился и возвратился с шапировским креслом в руках.

— Вот, пожалуйста, вам кресло! — сказал он. — У нас, видите ли, не умеют некоторые обращаться с такой мебелью. Поэтому я отобрал у них эту вещь.

На этом кресле, орехового дерева, с одним сломанным локотком, я сижу и сейчас, тридцать пять лет спустя. Оно перешло в мою собственность при продаже коммунальных вещей.

Наша круглая гостиная соединялась высокими и широкими во всю стену створчатыми дверями с соседней комнатой. Здесь у Шапиро находилась столовая, с дубовым потолком и такой же панелью, с диванами по углам. Тут жил необыкновенно благообразный старик иконописец с тремя дочерьми и сыном.

Далее шла спальная комната, опять с балконом и двумя дверями: одна — через коридорчик с платяными шкафами в ванную, другая — в общий коридор.

Месяца два спустя после моего приезда живший в этой огромной комнате инвалид Илья Герасимович Мурылев предложил мне перегородить комнату и взять себе меньшую часть с балконом.

— Мне она вся-то велика, дорого платить, — объяснил он. — А тебе больше-то и не надо.

Мы написали в домоуправление, я побегал на биржу строителей в садике у Красных ворот и через день уже перетаскивал в свою комнату коммунальный диван, стол, кресло, чемодан и машинку.

Я оклеил перегородку газетами в два листа, сверху обоями, но через перегородку в одну доску все было слышно. Сырой лес высыхал, поставленные стоймя доски расхотелись, обои то и дело с треском лопались.

Илья Герасимович потерял в Карпатах пальцы на ногах, ходил неустойчиво, пьяный ложился на кровать и орал многовековую «Вечер поздно из лесочку...» или ругался, посылая к матери то жену, то сына, то обоих вместе.

Мария Абрамовна, его жена, стыдила шепотом:

— Илья, Льву Ивановичу ведь все слышно, перестань!

— Да разве я его? — отвечал он полным голосом.

Я выходил на балкон. Цвела старая липа. На пол балкона, уложенный цветными плитками, как ковром, в распахнутую дверь из комнаты падал свет лампы. Его усиливал блеск паркета и потолка. Я был еще молод и чувствовал себя завоевателем.

Двадцатые годы нашего века были золотым временем для пионеров советской художественной литературы, одним из которых суждено было стать и мне.

Мы все приходили из старого мира: одни как хозяева, прямым и твердым шагом; другие — как гости, не зная, где сесть; иной, как блудный сын, посыпав голову пеплом. Но когда усаживались за круглый стол, никто не толкал друг друга локтями.

Из Саратова помогли мне выбраться письма Пильняка.

Когда я приехал, он сказал:

— Ну, брат, тебе придется начинать все сначала!

Он жил еще в Коломне, встречались мы в издательстве писателей «Круг»⁷⁴, затеянным им и А.К. Воронским⁷⁵. На новом издании «Голого года» он написал: «Льву — на память — Борис» и из росчерка подписи сделал чертика с рожками. Пильняк находился в счастливейшем времени своей жизни и труда.

В издательстве мне дали его записку: «Было время, когда я у тебя учился, помню старую дружбу и хотел бы помочь...» — писал он и предлагал переиздать в «Круге» первые книги моих рассказов. Я положил книги на стол секретарю для передачи Пильняку. Воронский, проходя мимо, заметил книги и сказал:

— Издавать не будем.

Мне, действительно, приходилось начинать все сначала. Литературным образцом был «Голый год». Я так писать не умел.

В Доме Герцена на Тверском бульваре по четвергам собиралось «Литературное звено». Возглавлял его В.Л. Львов-Рогачевский⁷⁶. Однажды при мне читал Артем Веселый⁷⁷. Отзывались с восторгом, а руководитель кружка, взяв у автора рукопись и потрясая ею перед нами, говорил:

— К сожалению, вы только слышали, что читалось, а я и вижу это. Вот здесь, — продолжал он, указывая пальцем на что-то в рукописи, — есть фраза: далеко светились огоньки... Автор разместил по одной букве на строчке. Когда читаешь эти строки, видишь эти огоньки...

Я ждал иронии, убийственных острот, но Василий Львович совершенно серьезно обратил лицом к нам страницу рукописи, о которой рассказывал. В зале было не очень светло, авторских огоньков никто не увидел, но, кажется, один я не чувствовал, что присутствую при гениальном открытии новой литературной формы.

В.Л. Львов-Рогачевский считался крупным критиком, спорить с ним, даже оставшись наедине с собой, я не решался. Но к новым формам сердце у меня не лежало, и, подходя к своему дому, я тоскливо думал о том, что литература ушла от меня на полвека вперед, мне ее не догнать. Журналов издавалось много, но я покупать их не мог, только проглядывал наспех у газетного киоска. В

«Красной ниве»⁷⁸ раз я успел прочесть начало чьего-то рассказа, и у меня упало сердце. Начинаясь он так:

«Лизатулин раздувал самовар».

Точка и дальше, с новой строчки:

«Сапогом».

Опять точка и дальше новый абзац. Я отошел от киоска со стыдом непонимания и отсталости. В Саратове, как мой сосед ноги — в Карпатах, я потерял литературную устойчивость и теперь боялся и редакторов и журналов.

...Вечером шел дождь. Я сидел на скамье под крышей большой трамвайной остановки у Красных ворот. Здесь скрещивались трамвайные пути Садовых, Мясницкой и Новой Басманной. Пока пассажиры пережидали дождь, между ними толклись беспризорники. Одни хихикали и просили, другие нагло требовали. Когда на них не обращали внимания, они играли и шептались друг с другом, как все дети. Многие сторонились, некоторые разговаривали с ними, но когда подходил нужный маршрут, вставали и уходили. Меня поразили обыденность явления, равнодушие взрослых и неизжитая детскость, кутавшаяся в лохматые отцовские гимнастерки и галифе.

Дождь прошел, пассажиры уже не заходили под крышу, ребята пропали. Я пропустил нужный мне вагон и пошел домой. Я не спеша шел до дому и, когда поднимался по лестнице, весь очерк был у меня в голове. Я переписал его, перечитал, положил в самодельный конверт, надписал адрес «Известий», наклеил две марки и еще раз спустился вниз за ворота, где висел почтовый ящик.

Я и в Петрограде часто так же бросал в почтовые ящики свои рассказы и очерки, а потом через день-два заглядывал в газету. В неожиданности увидеть статью напечатанной таилась прелесть карточного выигрыша. Я не любил редакционных барышень, несколько раз переспрашивающих: как о вас сказать?

Тратиться на газеты я не мог, через день, подойдя к киоску, я только на всякий случай заглянул в «Известия». Отвернув уголок так, чтобы видеть нижнюю часть страницы, где печатаются очерки и фельетоны, я увидел там свое заглавие и купил газету.

Огоньки, рассыпанные на семь строк, и Лизатулин с его сапогом перестали меня пугать. Я пошел в «Красную Ниву», взяв сразу три рассказа, чтобы хоть один подошел.

Иван Михайлович Касаткин объявил, что берет все три.

— Конечно, я не могу пускать из номера в номер одного авто-ра, но я вам их оплачу все сразу.

Я разбогател, но с богатством своим не справился: купил по дороге на Тверской пальто, рассчитывая на остаток прожить долго. Но в тот же день явился Сережа Лазарев, скучный мой родственник, и забрал этот остаток. Он уверял, что если не купит сегодня же колец, то у него расстроится свадьба и ему останется только покончить с жизнью.

— Главное: я послезавтра верну тебе эти деньги! — сказал он, трогательно вытирая рукавом глаза.

Чужие слезы трудно вынести.

В те годы приятельские группы среди писателей только начинались, по журналам они еще не распределялись, в редакциях распоряжались взрослые люди. Я мог печататься, где хотел, будь то «Красная нива», «Прожектор», «Крестьянка» или «Работница».

Мария Владимировна Куйбышева, редактор «Крестьянки», действовала и в жизни и в журнале так, как будто пропагандистская литература прошлого века и действительность нынешнего лишь дополняли друг друга. Мне и самому так казалось и потому находить сюжеты и писать для «Крестьянки» было легко и приятно.

Я знал Марию Владимировну еще по Саратову. Ее муж служил со мной в Дорполите, она чем-то заведовала в губернском отделе по работе среди женщин вместе с С.Е. Любимовой, и однажды я что-то написал по их заказу. Когда мы договаривались об этом, подруги были похожи на взрослых гимназисток, убеждающих провинциальную знаменитость выступить на благотворительном вечере.

Теперь Мария Владимировна напоминала лучших русских редакторов. Она очаровывала приветливостью и простотой, не указывала ни тем, ни сюжетов, но потому-то все ее авторы и стремились дать в журнал то самое, что ему было нужно.

Как человек, вырвавшись из сырого и темного подвала, ненасытно дышит воздухом, светом и солнцем, так и я, сбежав из Саратова, неотступно сидел за своим круглым садовым столом, в ореховом кресле, оглушая квартиру стуком машинки. Маленькие мои рассказы печатали охотно, написать что-нибудь объемом хотя бы в один печатный лист не хватало терпения.

Мария Владимировна отправила меня с одним рассказом в «Работницу». Редактора я не застал, скучавшая за секретарским столом молодая женщина предложила мне сидеть и ждать.

Мы познакомились.

Это была другая сестра Куйбышева, Елена Владимировна, носившая фамилию мужа.

— Ваш муж не из Саратова? — спросил я.

— Из Саратова! — ответила она.

— Ну так мы с вами родственники! — смеясь, объявил я. — Максим Степанович Позднев — мой дядя, а других Поздневых там нет, мы все родственники!

С моим суровым лицом и строгим голосом шутки не получаются. Елена Владимировна испуганно сказала:

— Что вы! Что вы! Какие там родственники!

Встревоженность ее была такой искренней, что потом, бывая в редакции, я непременно напоминал о своем родстве и при этом объяснял, что простая учтивость требует представить меня ее брату.

Идеи братства и равенства, как бы наивно в те годы они ни осуществлялись, еще никто не называл уравниловкой. Но живое течение жизни уже разносило людей по разным берегам, отрывая отцов от детей, братьев от сестер и жен от мужей.

Елена Владимировна говорила о брате вполголоса, а когда замечала в нем что-нибудь просто человеческое, уже удивленно рассказывала:

— Раз подъезжаем с ним к дому, он стал расплачиваться и уронил полтинник. Извозчик уехал, а он начал искать этот полтинник. Ищет и ищет, я говорю: что он тебе дался, этот несчастный полтинник? Подумаешь, какая потеря! А он отвечает: не в полтиннике дело, я загадал на него!

Когда я заметил, что сестра разговор о брате начинает вести уже шепотом, я перестал шутить о родстве.

Но писатели еще не слоились, жили плотно и смиренно ждали, когда история расставит их по книжным полкам. Пильняк замещал Горького, водил по редакциям новичков, всех знакомил друг с другом, и кому негде было жить, как Всеволоду Иванову⁷⁹, устраивал жилье в помещении издательства «Круг» или вез к себе в Коломну.

Я читал свои рассказы и в «Литературном звене» у Львова-Рогачевского в Доме Герцена, и за круглым столом под зеленым

абажуром у Вешнева⁸⁰ в Большом Афанасьевском переулке, и в «Новых берегах» у Якова Марковича Окунева⁸¹ в Гнездиновском, и у Евдоксии Федоровны Никитиной⁸² на ее «субботниках»⁸³.

Что-то среднее между Пролеткультом и «Кузницей»⁸⁴, «Литературное звено» существовало как бы при Всероссийском Союзе писателей⁸⁵, и о его собраниях печатались отчеты в газетах. По газетным вырезкам «Известий» я вижу, что 29 марта 1923 года я читал в «Звене» роман «Эмигранты», а 29 апреля 1924 года — «Пустую повесть», и оба чтения названы интересными, удачными, свидетельствующими о «неоспоримом даровании автора».

Собрания в «Звене» велись официально, с протоколами и регламентом, холодно и сухо. Мне было скучно даже на собственном чтении.

С Владимиром Георгиевичем Вешневым я познакомился в издательстве «Земля и Фабрика»⁸⁶. Я принес туда сборник своих рассказов, едва явившись в Москву. Сборник этот — «Слепая ночь» — вышел быстро, в том же 1923 году. Вешнев забирал в издательстве книги для отзыва и пригласил меня на свои «субботы». Статья его по поводу «Слепой ночи» обошла через пресс-бюро ЦК ВКП (б) все редакции и появилась во многих газетах и журналах, я назывался там «настоящим советским писателем, утвердившим советский быт в сердце своем», занимающим «особое отличительное место среди современных беллетристов».

У Вешнева протоколы не писались и регламентов не существовало, вечер заканчивался ужином.

За большим круглым столом усаживались рядом старейший русский писатель Петр Иванович Замойский⁸⁷ и тончайший стилизатор из прилежнейших учеников Вячеслава Иванова⁸⁸ и Валерия Брюсова Сергей Абрамович Ауслендер⁸⁹.

Часто и с редким у писателя искусством читал здесь свои рассказы Пантелеймон Сергеевич Романов⁹⁰. Я не умею смеяться без слез. Пока длилось чтение, я не отрывал платка от глаз. Очарованный писателем, я принес домой книгу его рассказов и стал читать сам. Получалось не смешно и даже не интересно. Автор читал необыкновенно серьезно, без малейшей улыбки в голосе, а я заранее приготовил платок, увидев знакомый рассказ.

От Владимира Павловича Ютанова и Петра Ивановича Вагина до Овадия Савича⁹¹ и Леонида Леонова — под зеленым абажуром за круглым столом я встречал у Вешнева множество писателей.

Ауслендер однажды мне сказал:

— Вы можете быть прекрасным детским писателем. У вас нет ничего для детской книжки?

Мы сидели у Вешнева, облокотившись на спинку широкого дивана и глядя друг другу в глаза.

— Да откуда же может быть у меня что-нибудь для детей? — удивился я.— О детях я писал, но совсем не для детей!

— Да не надо им ничего специально детского, — уверял меня Ауслендер. Он много работал с детьми и написал ряд детских книг и пьес. — Соберите мне несколько рассказов, просто понятных и без эротики, конечно. Я устрою это в Госиздате. Они ищут авторов.

— Попробую! — ответил я.

В следующую субботу я дал Сергею Абрамовичу три рассказа под общим заглавием «Своими руками». Ауслендер передал рукопись Государственному издательству, и вот я стал детским писателем.

20

В коммунальной квартире на Новой Басманной мы с женой жили серьезно и строго: подчинялись расписанию уборок, которые объявлял староста на месяц вперед; держались условленных звонков, показанных на входной двери; оплачивали долю общих расходов прежде какой угодно собственной нужды. Меня выбрали старостой вместо Астахова. Я устроил в коридоре книжную полку для общего пользования и стал делать стенную газету.

Казалось, форма личного бытоустройства при социализме уже найдена, и ее нужно было только немножко подсовершенствовать.

Тут много значило великолепие шапировских балконов, комнат, коридоров, умывальников, кухонных плит, кладовок, уборных, люстр, дверных и оконных ручек. Но совершенно так же, в коммунальных квартирах с условными звонками и уборками в очереди, жили все, с кем мы знакомились.

Мы чувствовали свое счастье, хотя через стенку все было слышно, а внесенный из коридора платяной шкаф с раздвижными дверками, служивший нам буфетом, гремел неимоверно всякий раз, когда мы доставали из него тарелки или чашки.

Мы не выбирали знакомств. К ним приводил случай, но все мы были молоды, веселы, остроумны, и даже Всеволод Иванов

иногда острил, как бог. С туго завитыми волосами, он тогда одевался наподобие альпиниста в серый пиджак и широкие штаны, заобутые в толстые чулки.

Однажды он рассказывал, вернувшись с Кавказа, о том, что видел там старика, которому было сто сорок лет. Я спросил с любопытством:

— А как он выглядит?

Всеволод Вячеславович ответил:

— Да как вам сказать? На вид ему не больше ста двадцати!

Остроумие ценилось. Остроты Маяковского передавались, как анекдоты. Сергей Федорович Буданцев⁹² развивал даже свою теорию остроумия:

— Главное тут — быстро ответить! — доказывал он. — По существу, ответ может быть и не бог весть как остроумен! Все дело в том, чтоб быстро найтись и ответить. Через день и дурак найдет что сказать!

Одно время я своим знакомым задавал провокационный вопрос, точно для анкеты: как вы относитесь к женщинам? Глупцы все одинаково пускались в длинные, умные рассуждения; умники отвечали, каждый по-своему, тонко и остро.

— Как вы смотрите на женщин, Сергей Федорович? — неожиданно спросил я Буданцева.

— С возделением... — ответил он не задумываясь.

Как-то зашел разговор о новых модах на платья, на пиджаки с прямыми плечами и об умении хорошо одеваться. Моя жена сказала:

— Сергей Федорович, а мы хорошо одеваемся?

— Мы не одеваемся, — бережливо, как всегда, обращаясь к женщине, отвечал он: — Мы только наготу прикрываем!

Жизнерадостное остроумие Буданцева привлекало: оно оберегало личность. Анекдотическое остроумие Маяковского отталкивало.

Он встречает Василия Васильевича Казина⁹³, скромного, приветливого человека, немножко, может быть, неловкого в походке, в манерах, и говорит ему:

— Вася, да ведь ты на брюках ходишь!

Говорит что-то о стихах Жарова⁹⁴ и Уткина⁹⁵ на широком читательском собрании и острит:

— Итак, Жаров и Уткин... Впрочем, будем говорить сокращенно: Жуткин!

Собранию украинских читателей Маяковский указывает, что на Украине, собственно, нет своих поэтов. С места кто-то крикнул:

— А Тычина⁹⁶?

Будто не слыша, Маяковский разводит руками:

— Причина? А какая тому причина, я уже не могу сказать.

Маяковского боялись, не любили.

За два или три дня до самоубийства, уже с предсмертным письмом в кармане, которое он носил с собой чуть не месяц, Маяковский сидел в большом зале Дома Герцена. Он что-то ел и пил за отдельным столиком. Стол приходился посредине других, сплошь занятых, но к Маяковскому никто не подсаживался.

И так до конца он был один.

Я сидел у окна в углу, и странное одиночество человека, столь известного, меня удивляло. Его обходили и, если здоровались, то лишь издали, простым поклоном, без рукопожатий и вопросов.

Я тогда часто бывал в Доме Герцена и одно время состоял членом клубной комиссии. Собственно, клубом Дом Герцена, находившийся в ведении Всероссийского Союза писателей, никогда не был, просветительной работы мы не вели, и если по вечерам дежурили, то разве для порядка в ресторане. Ресторан помещался в подвальном этаже, членам Союза делалась скидка с цен прейскуранта. Сходились мы там легко и просто, часто по делам.

Как-то раз в ноябре 1925 года я сговорился с В.Г. Лидиным⁹⁷ сойтись там, чтобы передать ему рукопись для его сборника автобиографий писателей. Мы заняли угловой стол в меньшем зале.

В противоположном углу лениво пил водку с приятелями Есенин. Кудрявого паренька в расшитой рубашке с пояском давно уже не было. Русское и деревенское в Есенине приобрело теперь пьяный характер. Он опирался локтями на стол, роняя посуду, хватал голову растопыренными пальцами и порывался не то петь, не то плакать, хотя и мало был пьян.

Безудержный русский алкоголизм свел в могилу моего отца, когда я только что начинал жить. Настрадавшаяся мать моя внушила нам, детям, отвращение к вину и ненависть к пьяному захватству. Мне никогда не удавалось отделить человека, который пишет, от того, что он пишет, и Есениным я никогда и никак не интересовался.

Но незадолго до того, во время заседания нашей клубной комиссии, когда ресторан еще был закрыт, ворвавшийся туда Есе-

нин стал требовать вина. Служащие еще накрывали столы свежими скатертями. Они попросили нетрезвого посетителя не мешать им работать и погасили свет, чтобы он ушел.

Оскорбленный поэт отмстил гнусной выходкой на чистую скатерть. Официанты пожаловались нам. Я предложил запретить Есенину вход в ресторан. Владимир Павлович Ютанов сказал:

— А как вы это сделаете? Кто же ему помешает войти? Мы только себя сконфузим...

Я понимал дельность возражения. Чувствуя свое бессилие, я сказал резко:

— Когда постановите: скатерть положить в комнате Герцена и хранить для литературного музея...

Вход в ресторан Есенину мы запретили, но постановления не осуществили, а весь этот разговор, видимо, до Есенина дошел. Как-то, ничего не требуя себе, он сел за соседний с моим стол и стал говорить обо мне, ни к кому не обращаясь, как это делают поссорившиеся бабы на кухне.

Я с искренним любопытством смотрел на него и упорно молчал. То был уже не просто опустившийся, пораженный алкоголизмом человек: это был человек безумный, человек с неработающим зрением и слухом. Даже когда он прямо обращался ко мне, он смотрел мимо меня. Я это видел по его вялым глазам и жестам.

Он не выдержал моего молчания, поднялся и ушел.

После того вечера теперь было приятно видеть Есенина в какой-то горечи, хотя бы и хмельной, но не в пьяном и грубом озорстве.

Владимир Германович Лидин взял мою рукопись, взглянул на неудачную любительскую фотографию, положил все это в карман, и мы заговорили о чем-то другом.

Скоро все столы оказались занятыми. Был тот неранний час ресторанного вечера, когда первое возбуждение, смех, шутки, приветствия сходят, а лица светлеют, на сердце становится тепло, и больше хочется слушать, чем говорить.

И вот тогда за столом Есенина кто-то повторил несколько раз, с каждым разом громче и убедительнее:

— Ну прочти... Ну прочти же, ну все же просят, прочти. Читай!

Неожиданно в комнате, большой и шумной, стало мертвенно тихо. Отвернувшись от стола, опустив голову, глядя в пол, Есенин вдруг, как будто отвечая другу жалобой на его просьбу, начал:

Друг мой, друг мой,
Я очень и очень болен!
Сам не знаю, откуда взялась эта боль.
То ли ветер свистит
Над пустым и безлюдным полем,
То ль, как рошу в сентябрь,
Осыпает мозги алкоголь...

Большой зал также затих. Официанты с салфетками на локтях столпились в дверях. За их спинами росла потупленная стена гостей. Язык поэзии точен, как и язык математики. Но он доступен для всех и страшен тем, что может высказать и то, что не подлежит языку и слову.

Есенин читал негромко и невыразительно, но белые столы с графинами и недопитыми стаканами, свет люстр и тишина, как в гробу, несли его слова и голос до самых темных извилин мозга. Официанты с салфетками смотрели влюбленными глазами на своего поэта и, бог весть, чего не простили бы они ему за одни эти строчки:

В декабре в той стране
Снег до дьявола чист,
И метели заводят
Веселые прялки...

Но слово обладает острой способностью обратно воздействовать, и Есенин испытывал на себе эту обратную связь с произносимым словом:

И какую-то женщину,
Сорока с лишним лет,
Называл скверной девочкой
И своею милой...—

Прочел он и вдруг умолк глухо, со словами:

— Нет, больше не могу!

Лидин сказал растроганно:

— Исторический момент!

Через месяц Есенин окончил жизнь.

Буданцев бывал у нас на Басманной редко один, чаще с Константином Аристарховичем Большаковым⁹⁸. Его все, кроме

меня, звали Костей. Он был неглуп, талантлив, иногда нечаянно делался простым и искренним, но с детства его пленил чей-то аристократизм: он начал его прививать себе, тянул слова, заикался и становился смешным.

В Доме Герцена, на его торжественном открытии, мы сидели рядом за длинным столом. Я налил ему и себе красного вина и предложил, чокаясь, выпить за что-то. Он пожал плечами и показал длинным пальцем на свою тарелку:

— Простите, Лев Иванович! Не могу, у меня рыба!

Он был сыном аптекаря, но часто намекал на таинственность своего происхождения и в конце концов сам стал верить в то, что он сын какого-то великого князя.

Большаков жил нудно, небрежно, раз даже женился, чтобы привести жизнь в порядок, купил огромную кровать из красного дерева екатерининских времен. Источенная древностью кровать разрушилась в брачную ночь, жена перешла к другому мужу, и Костя стал жить по-прежнему.

Не думаю, чтоб кто-нибудь из нас или мы все вместе, в то время твердо знали, как в литературе бывает хорошо и как плохо. Каждый писал так, как писал. Я помню недоумение, в которое привел меня Буданцев, прочитав мне свою хвалебную рецензию на «Цемент» Гладкова. В первом издании это было чуть ли не пародийное сочинение на искателей новых форм и стилей. Герой романа, говоря о необходимости восстановления завода, восклицал в заключение своей речи:

— Ну так как же? Дербалызем завод?!

Сергея Федоровича смутили мои возражения.

— Это же для «Нового мира»,— примирительно сказал он.

Но я думаю, что если б рецензия не выражала его собственно-го мнения, он не стал бы ее читать.

Таким образом, я довольно быстро освоился и с новыми порядками в литературе, в частности с системой литературного заказа. Мысль о том, что таким путем провозвестническая роль литературы переходит в руки издательского руководства, не смущала меня — не могли же мы по-разному понимать идеи равенства и свободы, права и справедливости, слова и действительности.

21

По договору с издательством «Молодая гвардия» я писал тогда свой первый небольшой роман. Он оказался и первым советс-

ким романом для детей. Полностью он назывался так: «Харита, ее жизнь и приключения, а также подробный рассказ о том, как был найден город Карла' Маркса».

Перед текстом я сделал посвящение: «Эту книгу я посвящаю МОЕЙ МАТЕРИ, положившей труд всей своей жизни в заботу о счастье тех маленьких людей, которых мы высокомерно называем детьми».

Я долго и тщательно обдумывал это посвящение. Мне хотелось заявить матери о том, что горький труд ее жизни не пропал даром, а детское счастье остается в жизни единственным и истинным счастьем.

Не знаю, как приняла моя мать это посвящение. У нас не в обычае было словами и жестами касаться слишком глубоких и интимных чувств. Тем более что книгу я послал почтой и не мог видеть гордого старания удержать в неподвижности сжатые губы, не выронить слез.

Тогдашний директор издательства «Молодая гвардия» М.И. Полянский придавал особенное значение «Харите» как первому советскому приключенческому роману. Но вместо того чтобы поспешить с выпуском книги, в издательстве начали думать, как бы необыкновеннее ее издать. После множества совещаний и разговоров дали А.А. Суворову резать на дереве гравюры для обложки и иллюстраций, а набор и печатание поручили школе фабрично-заводского ученичества имени Борщевского, где учились художественным приемам оформления.

Пока все это не спеша делалось, я написал по договору с «Молодой гвардией» «Черный яр», сначала печатавшийся в журнале «Пионер» за 1926 год. В конце года редакция разослала анкету читателям журнала. На вопрос: что тебе более всего понравилось в журнале?— везде оказался один и тот же ответ: «Черный яр».

«Пионерская правда» заказала мне новый роман. Я взял темой странный быт беспризорников, обитавших в подвалах и башнях Китайгородской стены, и пошел в Зарядье.

В одном из дворов, примыкавшем к Китайгородской стене, девочка с синими глазами, лет тринадцати, игравшая в большой мяч, спросила меня, кого я ищу.

— Где-то тут жили беспризорники, — отвечал я. — Я пришел посмотреть, как они тут жили.

— А зачем вам? — допрашивала она.

— Хочу о них написать! — покорно ответил я.

Я всю жизнь сам себя чувствую ребенком и не меняюсь, обращаясь к детям, разве что говорю с ними несколько почтительнее, чем со взрослыми.

— Они здесь не жили, — сказала девочка, бросая игру. — Я вам покажу, где они жили, только отнесу мяч!

— Пожалуйста, я вам буду очень благодарен! — отвечал я.

Девочка возвратилась без мяча, в другом платье, с туго заплетенной косой. Мы вышли на узенький тротуарчик Псковского переулка, у Проломных ворот взобрались на стену и немного прошли по каменной кладке, похожей на грязную и пыльную дорогу. Кое-где росли деревца — тополи и яблони. На яблонях повыше розовели яблочки. Просторно цвели одуванчики, и было жарко, как в поле.

В шестигранные окошки бойниц виднелась Москва-река, а с внутренней стороны к стене лепились погребки и сарайчики городских дворов Мокринского переулка. Мы вернулись к Проломным воротам и пошли по набережной вдоль остатков стены. Девочка увлеклась своей обязанностью, показывала розовым пальчиком то квадратную башню Китайского проезда под зеленой шатровой крышей, то аппретурную фабрику под боком у башни, струившую дым и пар, то голубые главки маленькой церковки перед башней. Она все это называла мне, не опуская руки, просвечивавшей на солнце, но я не слышал, занятый моей повестью, сюжет которой быстро складывался в голове. Наконец моя спутница подвела меня к угловой, круглой, без крыши башне, с большим деревом наверху, и сказала с торжеством:

— Вот где они жили!

Почти у самой земли в стене башни зиял неширокий пролаз. Девочка присела на корточки, пытаясь поглядеть вовнутрь: там было темно, сыро и пахло погребом. Она бросила камешек, прислушалась и сказала:

— Никого нет! Всех забрали!

В уме у меня все было кончено, и я как будто заново увидел мою спутницу и услышал, что она говорит.

— А как вас звать? — спросил я.

Девочка поднялась, сказала:

— Алевтиной.

— Ах, значит, Аля! Ну хорошо, вот я и назову так героиню моего рассказа. Я вам очень благодарен за то, что вы проводили меня.

Мы находились недалеко от Дворца Труда⁹⁹, и я предложил моей спутнице пройти туда. Там помещалось все множество центральных комитетов профессиональных союзов. Каждый издавал свой журнал или газету. Тут же располагались столовые и буфеты. Александр Степанович Грин, с которым мы пили там пиво, говорил, что, раз попавши во Дворец Труда, писателю нет никакой нужды его покидать. Он и проводил там целые дни.

Я хотел угостить мою спутницу мороженым. Она отказалась. Я спросил, куда посылать ей газету и книгу. Она недоверчиво продиктовала свой адрес и ушла.

Я долго смотрел ей вслед. В ней было что-то тонко женственное, такое, когда хочется поцеловать руку, и если это не сделаешь, потом жалеешь всю жизнь.

«Плен», названный газетой романом, печатался в «Пионерской правде» летом 1926 года, из номера в номер. Ребята засыпали редакцию письмами. Среди них, адресованное прямо автору, было письмо, которое начиналось так:

«Это вам пишет та девочка, которая показывала вам башню, где жили беспризорники...»

Мне стало, весело. Как часто считаем мы себя давно и прочно забытыми в чьих-то умах, в то время как в действительности мы остаемся там навсегда.

«Харита» вышла из печати в том же 1926 году.

Незадолго до того В.И. Нарбут¹⁰⁰ сказал мне, что в одном из писем, посвященных обзору советской литературы, А.М. Горький хвалит мой рассказ «Бабыя выдумка». Тогда я послал Горькому «Хариту».

Алексей Максимович отвечал мне так:

«Мы — старые знакомцы, Лев Иванович, поэтому — я надеюсь — Вас не обидит, если я подчеркну некоторые «описки» в повести Вашей. В языке потребна простота, краткость и точность, в этих трех свойствах сила и красота его, его обаяние».

«У вас нередки прегрешения против точности, — указывал он дальше. — На стр. 27 — «зыбка с тоской», на 111 — «крошечное движение», а на 112 — «феерическая быстрота». Термин «крошечное» не приложим к измерению скорости, это — мера тела. «Феерическое» — варваризм и решительно ничего не говорит в наше время, когда достигнуты умопомрачительные перемещения в пространстве. Затем: Вы пишете: 181 стр. — «начинают чувство-

ваться живыми волосы». Ся суть — себя; получается, что не хозяин волос, а они сами себя чувствуют живыми. Старуха Еникеева, дворянка, едва ли может сказать: «я не отстану за свои деньги». Очень сомнительна, по правдивости ее, сцена, где Харита говорит о серьгах с тетей Варей. Девочка не могла не знать, что такое серьги и зачем их носят. Тут Вы лишаете ее того инстинкта, который даже птичьим птенцам, первогодкам, уже знаком.

Харита написана небрежней брата ее. Она особенно неудачна у тети Вари, груба неоправданно и слишком мало удивлена новой для нее обстановкой. Брат сделан Вами лучше, естественнее, живей. Все буржуи, согласно новому канону, сильно и не очень удачно шаржированы. Это — не только Ваш грешок, разумеется. Хорош рыбак, хорош прохожий, инспектор — не плох. В повести заметна торопливость работы».

«Ее будут много читать, она интересна, — писал он в заключение, — ко второму изданию Вы ее просмотрите и допишите кое-где, напр. — встречу Алексея с отцом, встречу с ним Хариты. Немножко сентиментальности не повредит «Харите». Вот и все, что могу сказать Вам. Желаю успеха!»

Горький был прав. «Хариту» много читали и читают, но о новых изданиях я не заботился, а уже писал по предложению той же «Молодой гвардии» новый роман.

Я читал «Собачий переулок» перед сдачей, в рукописи, Буданцеву, Большакову и Залке¹⁰¹. Они смеялись, ели поросенка, необыкновенно приготовленного моей женой, и предрекали успех роману.

В письме о «Харите» Алексей Максимович указывал свой адрес. Я послал ему «Собачий переулок». И уже 12 декабря 1926 года Алексей Максимович отвечал мне.

«Я думаю, Лев Иванович, — писал он, — что служебное, педагогическое значение Вашей книги должно быть очень велико. И, судя по всему, что мне известно о жизни современной молодежи, книга вполне своевременна, бьет по больному месту, бьет, как и следует, правдиво, безжалостно.

Мне кажется, что фигуры женщин удались Вам: Анна, Вера, Варя особенно хорошо чувствуются. Анне, может быть, следовало бы придать черты комические, а то местами она чуть-чуть шаржирована.

Так же шаржированным видишь Хорохорина, но это, конечно, потому, что я таких не встречал. В книге вообще много незнако-

мого мне. И — страшного. Хорош Сеня. Я знаю, что такие живут, они мне пишут. Буров, как будто, недостаточно разработан.

С внешней стороны в книге есть недостатки. Вы ее напрасно загрузили скучной первой главой и всем, к чему эта глава Вас, в дальнейшем, стеснила. Без этого книга была бы больше романом, и более четкой, компактной. А так Вы придали ей характер хроники и обременили многословием. Для второго издания всю эту «хронику» следовало бы вычеркнуть. Писать надобно гуще. Вы посмотрите, как прекрасно стал писать Всеволод Иванов, раньше такой несдержанный в словах.

Книга Ваша — хороший шаг вперед, к искусству. Ее достоинства будут ярче, если Вы выбросите «хронику».

Всего доброго и крепко жму руку. А. Пешков».

«Собачий переулок» получил большую известность благодаря шуму, поднятому «Комсомольской правдой», «Сменой» и другими газетами. Особенно же способствовали этому споры, дискуссии и всякого рода «суды» над героями романа. В общем, книга была объявлена «клеветой на советскую молодежь». Дело в том, что я следовал ленинскому указанию, извлеченному из его разговора с Кларой Цеткин, по вопросу об отношениях полов. В.И. Ленин сказал так: «Нужно признать зло безбоязненно для того, чтобы повести решительную борьбу с ним».

Обидевшаяся на книгу юная советская общественность желала бороться со злом не менее, чем я, решительно, но не признавая его существования. И потому получалось постоянно так: на трибуне очередной оратор из руководящих комсомольцев обвинял автора книги в клевете, в выдумках, в незнании жизни, а из переполненного и возбужденного зала мне слали записки:

«Вы спросите, что у нас в общежитии Технологического произошло вчера!»

«А как же дело Тамары Веревкиной?»

«А в нашей «Смене» тоже клевета?.. Напомните, что там писалось о Политехническом...»

В результате продолжавшихся чуть ли не три года дискуссий и вечеров каждая вновь появлявшаяся моя книга вызывала обвинения в незнании жизни, в клевете. Тут даже не стеснялись стереотипностью выражений. В «Собачьем переулке» я оклеветал комсомольцев, в «Ткачах» — рабочую молодежь, в «Диком доме» — обывателей, в «Головорезах» — пионеров.

Не обходилось без анекдотических положений.

Я тогда состоял прилежным абонентом «Бюро газетных вырезов» и аккуратно получал большие серые пакеты с вырезками.

Раз из пакета вынимаю солидные страницы десятого номера журнала «Вестник знания»¹⁰² за 1927 год и нахожу статью какого-то Р. Куллэ, статью, напечатанную тем же самым елизаветинским шрифтом, который когда-то внушал мне, гимназисту, такое уважение к этому журналу.

Начиналась статья разговором о «фатальности» книг, посвященных «наиболее провальной проблеме жизни общества — проблеме половых отношений». Приводились в пример и «Мадам Бовари» Флобера, и «Моника Лербье» Маргерита¹⁰³, и «Улисс» Джойса, и «Санин» Арцыбашева¹⁰⁴, вызывавшие будто бы «бури негодования, судебные процессы, преследования авторов». Затем пошла речь уже о «фатальности» «Собачьего переулка». Попутно критик представил меня читателям как «анекдотиста казарменного типа, имеющего в своем литературном прошлом сборник порнографических анекдотов под претенциозным названием «Шестокрыл», которым якобы я и «открыл литературную карьеру».

Когда-то Чехов жаловался, что о писателях у нас пишут, как о каторжниках. Но ведь и каторжникам не приписывали никогда преступлений, которых они не совершали и к которым не имели решительно никакого отношения. Не казнили их и за чужие грехи!

В том же пакете нахожу рецензию некоего Штеймана из «Красной газеты»¹⁰⁵ о моей повести, только что вышедшей в Госиздате, но сданной издательству раньше выхода в свет «Собачьего переулка».

Критик, оказывается, не только прочитал книгу, но и проник в тайные замыслы автора. Он объявлял, что «после провала «Собачьего переулка» автор решил поставить уже не на половую проблему, а на все сто процентов лояльности» и потому, по мнению просвещенного критика, является «типичным литературным подхалимом». О Государственном же издательстве, выпустившем мою книгу, критик написал, что оно «поощряет откровенную литературную проституцию».

Дата под текстом «Ткачей» не оставляла ни малейшего сомнения в том, что «Ткачи» написаны не только до «провала» «Собачьего переулка», но и до выхода его в свет.

Наглые домыслы, прямое вранье, подленькое острословие пачками выпадали из больших конвертов «Бюро газетных вырезов»

на мой бедный письменный стол. Все это распространялось, застревало в умах и предопределяло мое будущее.

Никто, и прежде всего я сам, не ожидал и не мог ожидать, что мое имя окажется навсегда прочно связанным с «Собачьим переулком», романом, в котором я ничего не видел, кроме очередного литературного заказа. Мысль о том, что при таких заказах провозвестническая роль литературы переходит в чужие руки, пришла мне в голову уже тогда, когда дело было сделано.

В карикатурах на мой роман и его автора несколько раз подчеркивалось, что на «Собачий переулок» тратится колоссальное количество бумаги, что одно издание выходит за другим. В действительности вышло всего два издания по 5000 экземпляров.

При поддержке В.М. Молотова Малашкин издавался много раз. Не знаю, на кого опирался Романов, но и его сборник с рассказом «Без черемухи» выходил безостановочно. Попытка переиздать «Собачий переулок» в издательстве «Молодая гвардия» была решительно пресечена Главлитом.

Начальником Главного управления по делам литературы, или Главлита, был тогда Павел Иванович Лебедев-Полянский¹⁰⁶, старый партиец и журналист, писавший под псевдонимом Валерьян Полянский.

В.А. Поссе рассказывал мне об одной встрече с Лебедевым-Полянским незадолго до Февральской революции в военной цензуре. Выходили они оттуда, покончив с делами, вместе, и, понятно, оба негодовали. На лестнице, кивая назад, Павел Иванович гневно сказал:

— Когда мы придем к власти, прежде всего уничтожим это учреждение раз и навсегда!

Революция с ним сыграла злую шутку, поставив Лебедева-Полянского на много лет во главе советской цензуры.

В те годы писатели еще имели свободный доступ в Главлит для личных объяснений с цензорами, и я отправился к Павлу Ивановичу по поводу запрещения моего романа. Он прервал меня после первых же слов:

— Там все известно: и письмо Горького, и ваше заявление отделу печати. Мы знаем, что вашу книгу продают букинисты по баснословным ценам, слышали, что есть переписанные экземпляры... Но мы книгу все-таки не разрешим. Довольно и одного издания!

— Но почему же Малашкин, Романов...

— Там другое дело! И зачем вам переиздавать неудачную книгу, — продолжал он мягче, переходя от приказаний к убеждению, — когда у вас есть прекрасные вещи... Помню хорошо ваш один рассказ, вот там, где мужик приходит в контору просить жеребца... Где он там еще грозит кулаком портрету Маркса: «Эх, старик, наделал делов!» Чудный рассказ! Вот вам, пожалуйста.

Он встал.

— А «Переулоч» ваш разрешен не будет!

Рассказ, о котором вспомнил начальник Главлита, назывался «Змеиный погост». Придя домой, я перечитал его, а заодно почитал и другие рассказы, входившие в состав первых моих московских сборников «Слепая ночь» и «Стальные дни». Получалась как будто неплохая книга, и я решил воспользоваться идеей, подсказанной мне начальником Главлита.

Собрав рассказы и озаглавив сборник по одному из них, я предложил его издательству «Никитинские субботники». Назывался он «Чертова музыка». Евдоксия Федоровна Никитина, неутомимый организатор и «субботников» и издательства, охотно взяла книгу. Вскоре после этого я рассказал, смеясь, о разговоре в Главлите Буданцеву.

— Слушайте, у вас же хорошие отношения с Никитиной, — сказал он. — Так поговорите с ней насчет «Собачьего переулочка», ведь Романова-то разрешают ей переиздавать!

Я недоверчиво смотрел на неисправимого оптимиста, он продолжал меня убеждать:

— Да что вам стоит с ней поговорить? Полянский у нее бывает запросто, как свой человек, — это вы знаете?

— Понятия не имею!

— Ну так вот попробуйте, поговорите!

Я зашел в очередную субботу к Никитиной и отозвал Евдоксию Федоровну в небольшой кабинет из гостиной, где уже собрался народ.

— Вы, говорят, хорошо знакомы с Лебедевым-Полянским, Евдоксия Федоровна? — спрашиваю я.

— Павел Иванович — большой друг наших «субботников»!

— Евдоксия Федоровна, — взмолился я. — Поговорите с ним, не разрешит ли он вам переиздать «Собачий переулочок»?

Она кокетливо улыбнулась и сказала:

— Можно попробовать!

А через неделю в той же небольшой тихой комнате рядом с гостиной, точно продолжая разговор, Евдоксия Федоровна с улыбкой заговорщицы объявляла мне:

— Будет разрешено, но только в собрании сочинений и с тем, чтобы «Собачий переулочек» пошел не раньше третьего тома... Ну первый том уже у нас есть, давайте два других и в третьем пустим и роман...

Первый раз в жизни столкнулся я так непосредственно с могущественной силой дружеских отношений с высокостоящими людьми. До той поры я и в дружбу Малашкина с Молотовым плохо верил. Предложение об издании собрания сочинений я охотно принял, но еще долго чувствовал себя растерянным, беспомощным и угнетенным.

23

Московский представитель харьковского издательства «Пролетарий» А.Н. Ацаркин спросил меня: нет ли книги для юношеского сектора? Я предложил сборник рассказов, печатавшихся ранее в журналах, книгах и даже попавших в хрестоматии. Ацаркин заключил договор и направил рукопись в Детскую комиссию Научно-педагогической секции Государственного Ученого Совета.

Был такой момент в истории советского детского чтения, когда к детям «допускались» только книги, прошедшие через соответствующие секции Ученого Совета и получившие там одобрение.

Мою книгу Детская комиссия решила теперь не допускать, хотя все рассказы, составлявшие сборник, через детские журналы и отдельные издания давно уже дошли до детей.

Председательствовал в Государственном Ученом Совете Отто Юльевич Шмидт. Я составил библиографию рассказов, вошедших в сборник, привел выдержки из отзыва рецензента и послал все это Шмидту. Он передал письмо в Педагогический сектор З.И. Лилиной¹⁰⁷. Оно показалось ей неправдоподобным, и я должен был, по её приглашению, явиться к ней свидетельствовать факты.

Г.Е. Зиновьев¹⁰⁸, муж Лилиной, уже исключенный тогда из партии, находился в Москве. Он жил в Калашном переулке, в огромной квартире, полупустой, нежилой и холодной. Обставлен был только кабинет с огромными шкафами, забитыми книгами в темных кожаных переплетах.

Хозяйка провела меня, словно на другой конец квартала, в свою комнату, усадила возле несгораемого шкафа и сама села напротив — все так же торопливо, неловко, не как дома. На шкафу лежали гипсовые слепки руки и лица В.И. Ленина, точно в музее, и все время я чувствовал их присутствие у себя над головой.

С глаз моей собеседницы, ласковой и приветливой, недоумение не сходило, пока я говорил, показывал документы и невесело острил. Несколько раз она переспрашивала меня и наконец со вздохом встала:

— Мы, конечно, исправим нашу ошибку, — сказала она. — Спасибо, что пришли.

Решение было пересмотрено, книга — допущена. Центральное бюро юных пионеров при ЦК ВЛКСМ, не раз уже ссорившееся с Ученым Советом, предпослало книге предисловие. Книга рекомендовалась не только как «интересная для отдельного читателя», но и как материал, с которым «можно плодотворно работать в пионерских организациях».

Осенью, в том же 1928 году, возвращался я из Саратова. Извозчик вез меня знакомой дорогой с Павелецкого вокзала на Новую Басманную. Легкий туман раннего утра рассеивался, сквозило солнце. На заборах бросались в глаза большие желтые афиши Государственного Педагогического театра¹⁰⁹ с огромным заголовком: «Черный яр».

Извозчик у Таганки тихо поднимался в гору и, не останавливая его, я прочитал, что театр показывает премьеру пьесы Афиногенова¹¹⁰ «Черный яр».

Дома, среди писем, пакетов с вырезками, газет и журналов я нашел телеграмму. Ленинградский детский театр требовал текст для инсценировки «Черного яра» в Ленинграде.

Я давно хорошо и дружелюбно знал Николая Александровича Афиногенова. Под псевдонимом Н. Степной в 1917 году в Петрограде он выпустил в свет нечто вроде дневника «Записки ополченца». Он правдиво и искренне рассказывал о своем пребывании во Франции, в рядах русских войск. Успех первой книги вскружил ему голову. Он стал писателем и в Москве выпустил уже роман «Семья», по поводу которого он говорил мне так:

— Ты думаешь, как я пишу свои романы? Только с жизни, с природы! Что бы я ни слышал, с кем бы ни разговаривал — все записываю. Затеется, например, хоть ссора с женой, я, конечно, отвечаю, она — свое, я — свое, сам беру карандаш, бумагу, и пока

она там ругается, спорит, я все записываю, записываю... А потом — в роман!

При этом, как переплетчик, шьющий книгу, он взмахнул передо мной выпрямленной ладонью, как будто вдвинул прорезьями на корешки очередную тетрадку.

Я знал, что у него есть сын, который пробует писать, и, отыскав телефон Александра Афиногенова, сказал ему приветливо:

— Вот у меня телеграмма из Ленинграда, которая, собственно, адресована по смыслу вам: просят текст вашей инсценировки моего романа. Видите — обращаются все равно ко мне, хотя вы и не поставили моего имени под заглавием, как принято!

Молодой драматург — кажется, это был первый или второй его опыт — отвечал, что в недоразумении повинна администрация, а сам он впервые увидел афиши уже напечатанными.

Я все так же доверчиво заметил:

— Но вас-то это касается больше, чем администрации! Ведь если не указывается мое имя, управление весь гонорар будет перечислять на ваш счет. Удобно ли вам получать и ту часть, которая следует мне?

— Да нет, мы все исправим, ведь это вышло случайно! — отвечал Афиногенов, как будто смущенный.

— Пожалуйста, — сказал я. — А телеграмму я вам посылаю сегодня же.

Но случайного в замалчивании моего имени ничего не было, и, как-то встретив Афиногенова-отца, я сказал ему:

— Слушай, что же твой сын, с какой репутацией он начинает свою карьеру? Почему ты не поговоришь с ним! Как же можно так делать?

Николай Александрович стыдливо, на пол-лица, отвернулся от меня и махнул рукой:

— Говорил я ему!

Жест этот был понятен.

Попытки вразумить отдельных литераторов, рецензентов, редакторов и администраторов не имели успеха: в конце концов они интересовались тем, чтобы напечататься, выскочить на просторную дорогу готовой клеветы и вранья. До остального им было мало дела. Все помнят, как убедительно и настойчиво доказывал С.И. Гусев, заведующий Отделом печати ЦК ВКП(б), что «в настоящей обстановке польза от произведений Малашкина, Романова, Гумилевского, несмотря на их несомненную односторонность,

значительно превышает вред. Эти произведения значительно больше помогают в настоящий момент нашему социалистическому строительству, чем вредят ему».

Статью С.И. Гусева «Пределы критики» со ссылкой на аналогичную историю с гоголевским «Ревизором» газета «Известия» напечатала 13 мая 1927 года. В более распространенном виде — под заглавием «Какова же наша молодежь?» с теми же выводами и примерами — С.И. Гусев напечатал ее в июньской книжке журнала «Молодая гвардия» за 1927 год.

Мало того, та же статья Гусева послужила предисловием к сборнику критических статей, посвященному все той же спутанной троице книг Романова, Малашкина, Гумилевского. Сборник и редактировался С.И. Гусевым. Издавало его Государственное издательство. Назывался он по предисловию: «Какова же наша молодежь?»

Но собранных Авербахом вокруг журнала «На литературном посту» молодых людей нельзя было ничему научить, ни в чем убедить.

Воображая себя стоящим «на литературном посту», Авербах так отвечал Гусеву в своем журнале:

«Нельзя согласиться с тов. Гусевым тогда, когда он, справедливо нападая на излишне ретивых товарищей, отвергающих критическую литературу вообще, проводит аналогию между критикой «Ревизора» и критиками произведения Гумилевского. Против «Ревизора» Гоголя протестовало дворянство — класс нисходящий, а против «Собачьего переулка» протестует студенчество пролетариата — класса восходящего. Поэтому формальная аналогия между «Ревизором» Гоголя и «Собачьим переулком» Гумилевского никак не способствует пониманию того содержания, которое имело место в нападении на Гоголя, и имеет место теперь, в протесте против произведения Гумилевского».

Однако, по сути дела, то был не протест против моего произведения, а именно нападение на автора, в чем, собственно, и призналась вскоре «Комсомольская правда», напечатавшая 17 февраля 1928 года статью Д. Ханина «Против травли».

Ханин — молодой, энергичный человек — заведовал тогда Отделом печати в ЦК ВЛКСМ. «Имя Гумилевского, — писал он, — сейчас известно многим. Это — автор «Собачьего переулка», произведения, вызвавшего большое количество толков и нареканий... «Комсомольская правда» первая и громче всех критиковала это

произведение — одностороннее, тенденциозное и, следовательно, неправильно изображавшее современную молодежь!.. Но «Комсомольская правда», критикуя произведение, не травила автора его. И теперь на страницах ее мы считаем нужным выступить против недопустимой травли Гумилевского, ибо она («Комс. правда») первая направила стрелы критики против его «Собачьего переул-ка»... А что Гумилевского травят, что нашлись такого рода критики и рецензенты, которые справедливое негодование широчайших кругов молодежи пытаются превратить в злобный и трусливый лай по адресу писателя, — это для нас не подлежит сомнению».

Далее в статье приводились примеры: статья Куллэ из «Вестника знания», рецензия на «Ткачей» в «Красной газете», эпизод с книгой «Семь дней в поисках лучшего».

Изложив в общих чертах инцидент в Государственном Ученом Совете, «Комсомольская правда» задавала естественный вопрос:

«Что оставалось делать Гумилевскому?.. Только одно: расторгнуть все договоры, заключенные им с издательствами, ибо у него нет никакой уверенности в том, что его книги будут должным образом оценены ученой комиссией, и нет у него сил, чтобы своим лбом прошибить стену косности и недоверия... В этом должна ему помочь советская общественность. Она раскритиковала то его произведение, которое тенденциозно искажало современность. И она же должна помочь ему работать тогда, когда его творчество идет по одному пути с советской общественностью... Гумилевскому надо помочь, ибо то, что с ним случилось, может случиться с каждым писателем, если мы не устраним и не преодолеем ненормальные отношения критика и рецензента к писателю, которые еще цепко держатся и мешают писателю работать рука об руку с нами».

У Ханина статья называлась «В защиту Гумилевского». Редакция дала свое заглавие: «Против травли». Но именно потому, что речь пошла уже не о защите одного писателя, а о травле вообще как системе отношений, «Комсомольская правда» не могла ничего изменить.

В проводимой Авербахом политике расслоения писателей на партийных и беспартийных, на пролетарских и буржуазных, на попутчиков и контрреволюционеров, на враждебные друг другу группировки, травля как метод явилась самым сильным и почти единственным оружием.

Один из трех гимназистиков, когда-то приходивших ко мне в Саратове со своими стихами, был Леопольд Авербах.

Я немного знал его отца. Авербах-старший владел небольшой типографией. Собираясь издать свои «Избранные стихотворения», я ходил по саратовским типографиям, прицениваясь и отыскивая наиболее дешевую и внушающую доверие. Сам я тогда в типографском деле ничего не понимал. Когда мне предложили в первый раз просмотреть корректуру, я исправил ошибки, как учитель в ученической тетрадке.

И типография Авербаха, и сам хозяин произвели на меня плохое впечатление. Это был толстый, оплывший человек, неряшливо одетый. Он полистовал мою тетрадку со стихами и на углу каждой страницы оставил отпечатки своих толстых коротких пальцев.

— Да пятьсот экземпляров с нашей бумагой — шестьдесят пять рублей, — резко, точно командуя, сказал он, наскоро подсчитав что-то в уме.

Я ответил, что подумаю, и пошел в типографию Феокритова, самую старую в Саратове. Она помещалась в центре города и потому казалась мне и самой лучшей, самой дорогой. Там у меня взяли тетрадку и попросили зайти на другой день, после точного подсчета стоимости работы и бумаги. Типография оказалась лучшей, но недорогой. Феокритов напечатал мою книжку за сорок рублей.

Возвратившись из Петрограда в Саратов, я служил в Дорожном политическом отделе Рязано-Уральской железной дороги. Там я с удивлением узнал, что Авербах купил самую большую саратовскую типографию «Печатня С.П. Яковлева», которая издавна обслуживала Управление Рязано-Уральской дороги. Там печатался и наш «Приволжский Красный путь», который я редактировал. Типография, разумеется, была национализирована, владельца ее в Саратове уже давно никто не видел, но среди рабочих «Печатни С.П. Яковлева» еще рассказывалась какая-то история о переходе «Печатни» к новому владельцу накануне революции.

Когда я явился в Москву, Исай Лежнев¹¹¹ в своем сменовеховском журнале «Новая Россия» напечатал в хронике сообщение о моем возвращении из провинции и предполагаемой публикации моих рассказов. Тотчас же я получил приглашение от Авербаха. Он возглавлял тогда редакционную коллегия журнала

ЦК РКП (б) и ЦК РКСМ «Молодая гвардия». Авербах предложил мне давать очерки о жизни молодежи.

Я совсем не был молод, личных связей с молодежью не имел, но почему-то чаще всего просили меня писать о молодежи. Когда начала выходить «Комсомольская правда»¹¹², Василий Васильевич Казин также заказал мне очерки о молодежи, и несколько их появилось в первых же номерах газеты. Напечатал и Авербах мой очерк. Но Казин скоро отстал от газеты, а из хорошенького, черненького гимназистика вырос поспешно лысеющий молодой «генерал», уверенный и глупый: все вопросы у него были решены, планы намечены, наступление скомандовано, и он, весело глядя мне в лицо, мгновенно назначил темы, объем и сроки.

Таким путем развеселить меня трудно. Я, как всегда, спокойно сказал:

— Хорошо, попробую!

Через неделю отослал заказанный очерк, но больше не пошел.

С литературным генеральством в лице Авербаха я столкнулся впервые. Тогда оно показалось мне явлением случайным, традиционным в семье Авербаха, но не характерным для времени и общества.

Однако поспешно лысеющие молодые люди в штатских френчах, утверждавшихся в виде форменной одежды вождей, быстро размножались. Довольно скоро они захватили редакции и издательства. Сами они ничего не писали или писали плохо, прикрываясь цитатами, смысла которых часто и не понимали, но считали своим призванием воспитывать и перевоспитывать взрослых людей.

Быстрое размножение литературных вождей требовало новых и новых организаций для их деятельности. На местах — в Саратове; Аткарске, Сердобске, Вольске, по всему Советскому Союзу — возникали отдельные «Ассоциации пролетарских писателей» и близких к ним групп. Для входивших в моду сокращенных наименований их уже не хватало азбуки, и часто инструкции РАППа, т.е. Российской ассоциации пролетарских писателей, адресуемые, скажем, в МАПП — московскую ассоциацию — попадали то в Минск, то в Могилев, возбуждая недоумение на местах.

В темноватых этажах издательства «Молодая гвардия» на Новой площади меня удивляла одна непонятная странность в поведении молодых литературных вождей. Издательство охотно печатало мои книги в течение многих лет, я был со всеми работниками

и редакциями в дружеских отношениях, но когда я входил в ту или иную комнату, сидевшие там мгновенно умолкали, как заговорщики. О чем они шептались, что так таинственно обсуждали, я так никогда и не мог ни узнать, ни догадаться. В самом деле, литературные организации и издательства тогда ничем не владели и даже ничего не распределяли: ни пайков, ни квартир, ни путевок, ни орденов. Даже и самым сильным, самым острым своим оружием — печатью — полностью они не владели.

В условиях новой экономической политики мы устраивали свою жизнь сами по себе, без всякого содействия своих литературных групп, наравне со всеми советскими людьми.

В это время Пильняк уже переселился в Москву. Он жил в своем доме на Ямском поле, в деревянном флигеле, им самим выстроенном. В Москве за Садовой тогда начиналась провинция, но Пильняк жил богато, красиво и весело. К нему заезжали иностранцы, толклись соотечественники: он представлял советскую литературу и оставался хорошим товарищем. У него постоянно кто-нибудь жил: то Павленко¹¹³, то Платонов, то еще какой-нибудь начинающий провинциал, ищущий сочувствия и жилплощади.

Я бывал у него нечасто из-за собственной неловкости и его причуд. Раз он пригласил своих гостей в особенную комнату, где были диваны и по всему полу ковер, но потребовал, чтобы мы разулись.

— А ну тебя к черту, — сказал я. — Я домой пойду!

— Да что у тебя — носки худые?

— Не худые, а, знаешь, я семинарист, хоть и в гимназии учился. Не люблю таких фокусов.

Я не стал разуваться, он не хотел меня отпустить. Мне пришлось войти в сапогах, и выходило глупо, в то время как Анна Ахматова изящно и просто сбросила свои туфли и уселась на диване, подобрав под юбку ноги и продолжая разговор.

Мне нравилось, когда Пильняк на жеманный шепот какой-нибудь гостьи: «Где у вас уборная?» — брал ее под руку и так вел по длинному коридору до двери уборной.

Но война с жеманством и чопорностью иногда принимала у Пильняка, как и в его книгах, характер простой грубости. Как-то он ввел в обычай, сидя на диване, подставлять ножку проходящим мимо. Многие, споткнувшись, только смеялись. Но моя жена не выносила никакой грубости и резко сказала:

— Ну знаете, хоть вы и Пильняк, а... — разумеется, она хотела прибавить «а дурак!», но сдержалась и сказала: — а все-таки надо знать, с кем и как шутить!

Пауза вышла длинной, несказанное слово прозвучало для всех оттого еще громче, и извинения хозяина уже не могли помочь.

К себе звать Пильняка я стеснялся, он это понимал и сам напрашивался:

— Почему ты меня к себе никогда не зовешь?

— Да ведь ты не придешь!

— Приду!

И приходил, сидел целый вечер, пил водку. Как-то, пробыв вечер до позднего часа, взял «Собачий переулок» и вдруг позвонил:

— Через твой роман свою остановку проехал, зачитался. Вот как интересно!

После из Японии он привез мне японский перевод романа, из Америки прислал ко мне туристку с чеком за вышедший в США «Собачий переулок», письмом и галстуком.

Галстук — ярко-красный, с желтыми полосками — был несравненно хорош, но надевать его я долго не решался. Я пришел как-то в этом галстук в Дом Герцена, и Абрам Маркович Эфрос¹¹⁴ сказал:

— Галстук впереди вас идет!

Всеволод Иванов купил квартиру на Тверском бульваре. Глеб Алексеев¹¹⁵, Лев Никулин¹¹⁶ построились в особнячках возле Пильняка. Буданцев перебрался в две комнаты на Петровке. Матвей Михайлович Залка, на правах застройщика, перedelывал под жилье пустующий каменный сарай.

В годы военного коммунизма Залка был комендантом в нашем доме на Новой Басманной. Когда организовались домоуправления, его перевели на работу в скульптурную мастерскую, но жил он по-прежнему этажом ниже, по нашей же лестнице, в такой же совершенно круглой комнате, в какую вселили сначала меня.

Однажды он подошел ко мне на площадке нашей общей лестницы и объяснил, что он венгерский журналист, был военнопленным, теперь коммунист, остался в России, был занят Гражданской войной, домом и теперь хочет возвратиться к литературной работе.

По-русски он говорил нехорошо, но понятно; держался европейски вежливо и любезно. Кончил он тем, что просил разрешения показать свой первый рассказ в русском переводе.

Так началось наше знакомство.

Затем он как-то принес этот рассказ. Речь шла о пионере, который в Мавзолее В.И. Ленина, растерявшись, перекрестился, а потом долго мучился и стыдился. Перевод был сделан из рук вон плохо. Залка жаловался на невозможность достать хорошего переводчика. Я сказал ему:

— А сами вы можете дать буквальный перевод?

— Вероятно, могу, — отвечал он.

— Попробуйте, а я все заново перепишу!

Так я оказался переводчиком с венгерского. Рассказ назывался «За царя». Героя его, венгерского военнопленного, обвинили в причастности к расстрелу русского царя и замучили до смерти венгерские офицеры, когда он возвратился на родину. Переписал рассказ я без труда, хотя пришлось тревожить и автора.

В переводе Залки говорилось, что венгерский офицер вынул из кармана портсигар и собачку, закурил, а собачку положил на стол. Пришлось спуститься к Залке.

— Что это за собачка, Матвей Михайлович?

— Собачь-ка? Да это чем зажигают сигар!

— Ах, зажигалка!

Залка говорил, что это — лучший из всех переводов его сочинений.

Вскоре Залка пришел ко мне с молодым, высоким, стройным соотечественником, только что приехавшим в Россию. Это был Бела Иллеш¹¹⁷. Он прежде всего начал энергично учиться русскому языку. Однажды я нечаянно присутствовал на таком уроке. Иллеш стоял у входа в дом и, трогая стекло в двери, спрашивал у лифтерши, как это называется?

— Звяно, батюшка, звяно! — с величайшей готовностью отвечала она на чистейшем русском языке.

Я был первым русским писателем, которого увидел Иллеш, и до последнего дня своего пребывания в России он с подчеркнутым уважением приветствовал меня при встречах. У Залки часто останавливались на некоторое время венгерские эмигранты, и одному из них Матвей Михайлович, переезжая в отстроенную им квартиру, намеревался передать свою комнату.

Залка был человек решительный и смелый. С формой отношений при необходимости он не считался. О своем комендантстве в доме он рассказывал анекдотические вещи. Однажды к нему явилась девушка, убежавшая от родителей. Она плакала и требовала комнату, так как ей некуда было идти, негде ночевать.

— Где вы работала? — спросил Залка.

— Нигде! Поэтому я и ушла из дому. Они никуда меня не пускают.

— Все поняла! — перебил ее комендант. — Подождите.

Свободных комнат в доме не оказалось. Залка вселил девушку на совместное проживание к холостяку и взял ее на службу в домовую контору. Когда освободилась одна комната, он предложил новой служащей занять ее. Она отказалась, стыдливо нагибаясь к своим бумагам.

— А чем дело? — спросил Залка.

— Мы поженились! — отвечала она.

— А вы не хотели тогда, — напомнил ей Залка смеясь. — Я знала, что так должно быть!

Но эпоху военного коммунизма, как счастливую пору детства, нельзя вернуть. Анатолий Оскарович Вольф не допустил передачи комнаты без соблюдения законных форм жилищного управления. Он организовал дежурство дворников, и самочинное вселение нового жильца не удалось.

Если Вольф в чем-нибудь убеждался, он следовал своему убеждению без малейших уступок. Он не посчитался с неудобствами, оставляя меня у себя. Он не посчитался и с Залкой, отстаивая право очереди.

Это был поистине неподкупный коммунист. Незадолго до выезда Залки в одной из квартир нашего дома происходило тайное собрание оппозиционеров во главе с Зиновьевым. Вольф как-то узнал об этом уже тогда, когда собрание началось. Он вызвал представителей районного комитета, явился с ними на сборище и разогнал его.

Зиновьев, надвинув шляпу и закрываясь воротником пальто, пытался проскользнуть неузнанным. Вольф опознал его и с гневом сказал:

— Вы! Вы же дали подписку партии, что прекратите фракционную деятельность!

Вольф выражался газетно, но чувствовал и гневался искренне.

Литературная прямолинейность вела Залку в РАПП, но со мной он держался открыто и дружелюбно.

— Лев Иванович, дорогой, не сердитесь, — вы сами виноваты! — говорил он, ласково улыбаясь. — У вас в «Переулке» получилось семьдесят пять процентов отрицательного и двадцать пять положительного. А надо наоборот: двадцать пять отрицательного и семьдесят пять положительного!

Матвей Михайлович был прямой, честный человек. Но критика на такую математически ясную, открытую позицию не становилась, и Авербах продолжал вести свою разрушительную деятельность. В сущности, следовал он той же самой программе, которую излагал нам старик Микулин в «Союзе рабочих и крестьян», отстаивая «Красную ось будящей мысли».

Его вызывали в ЦК по безмерному количеству писательских жалоб и протестов. Он не сдавался. Тогда придумали еще ФОСП — Федерацию объединений советских писателей¹¹⁸.

В ФОСП вошли все литературные организации — от «Кузницы» и «Перевала» до Всероссийского Союза писателей и РАПП.

Объединению придали собственное издательство под маркой «Федерация»¹¹⁹. Оно должно было издавать книги писателей, входящих в одну из объединившихся групп, независимо от того, к какой группе они принадлежали.

Но генеральным секретарем ФОСПа назначили Авербаха, и он почувствовал себя как рыба в воде в поисках догматических классовых врагов. В этом отношении он был верным учеником Сталина.

25

Летом мы жили в Кашире.

Как-то раз, по пути из Москвы в Саратов, поезд остановился в Кашире летним вечером, и я увидел необыкновенность древнего города, блеск Оки под черным сводом мостовых ферм, круглые клумбы перед вокзалом. Они дышали в окна вагонов тонким запахом миллиона цветов.

— О, господи, вот бы где пожить летом! — подумалось мне.

Тайное желание мое исполнилось со сказочной быстротой.

Едва мы устроились на первое лето, к нам приехали Буданцевы и, очарованные городом, немедленно последовали нашему примеру.

Я познакомился с Сергеем Федоровичем и его женою Верою Васильевной Ильиной вскоре после моего приезда в Москву, году в 1924, на вечерах у Якова Марковича Окунева, организовавшего литературный кружок «Новые берега». Памятью об этом кружке остался альманах с таким же названием, вышедший в 1925 году, и наше знакомство.

Сергей Федорович начал бывать у нас и один, и с Верой Васильевной. Часто приходил он с кем-нибудь из своих приятелей и вскоре познакомил меня со множеством людей, а когда потом

слышал от кого-нибудь из них доброе слово обо мне, о нашем доме, о балконе, где я развел целый сад, то, смеясь, хвастался:

— Ага, видите сами... Это я его открыл!

Буданцев действительно меня открыл. Без него я, верно, так и просидел бы всю жизнь на Новой Басманной без людей, без знакомств, потому что в противоположность ему был необщителен, застенчив, неловок и несмел.

Мы жили в Кашире три лета. Это были годы полного расцвета новой экономической политики, и мало кто мог предположить, что политику, провозглашенную на X съезде В.И. Лениным «все-рьез и надолго», Сталин сократит до семи лет...

Кашира, окруженная деревнями, два раза в неделю переполнялась произведениями натурального хозяйства, и мы жили, ни в чем не нуждаясь. У меня была своя лодка, мы проводили на Оке лучшие часы дня и в полную меру радовались своей молодости, ленились и «резвились», как выражался Сергей Федорович.

В базарные дни городскую площадь загромождали деревенские возы. Меж ними толклись горожане. Оставшаяся от царских времен, типичная для тогдашней водочной монополии «казенная винная лавка» была переполнена с утра до вечера. Случилось зайти мне туда в праздничный день. Подвыпивший уже человек, взглянув на меня, отшатнулся и завопил:

— Уцелел?!

Я тогда бросил курить, потолстел, ходил с тросточкой и в самом деле, вероятно, был похож на уцелевшего помещика.

...Но резвились мы недолго. В этот год я остался в Кашире на зиму. Проводилась коллективизация сельских хозяйств. То, что происходило в деревне, отражалось, как в забавном зеркале, на каширском базаре. Сначала появились обобществленные лошади. Хвосты и гривы у них были коротко подстрижены. Вид лошадей удивил меня. Я остановился у воза с сеном и спросил возницу, кивая на его лошадь:

— А это для чего же?

— Да видишь ли, вот волос кому-то там понадобился. Германии, что ли... — отвечал он.

— А как же летом? Мухи ведь заедят!

— Ну до лета-то, чай, не доживут! — невесело усмехнулся мужик. — Кормов-то где взять?

— А зачем же сено продаешь?

— Мое собственное, потому и продаю! — сказал он совсем

сурово, отворачиваясь от меня. — Лошади общественные, стало, и корм должен быть общественный...

Я не мог удержаться, чтобы не упрекнуть:

— Да чем пахать будешь, голова садовая?

— Тракторы дадут! — отвечал он, опять усмехаясь, и я пошел дальше в поисках яиц и мяса, которые уже становились на базаре редкостью.

Затем однажды на длинных базарных столах из нестроганных досок, за которыми еще недавно тесно в ряд стояли краснощекие бабы с маслом, молоком, яйцами, творогом и сметаной, вдруг появились самовары. У каждого стояла женщина с низко опущенным на лоб теплым платком.

До этого дня я никогда не видывал в продаже ни одного самовара. Теперь я насчитал их семь штук. Я подошел к первой попавшейся продавщице и, рассматривая самовар, спросил скромно:

— Что это все вдруг самовары вынесли?

Женщина ответила, не показывая лица:

— Не нужны, стало быть, вот и продают.

— Что же, чай пить больше не будете?

— Чай из кубов давать будут в общественном питании. А самовары, говорят, велят сдавать. Так уж лучше я продам, хоть за что придется.

Весною, вот так же вдруг, появились на длинных столах сразу во множестве подушки и перины. Но их так же, как и самовары, никто не покупал.

На новую зиму в Кашире я уже не оставался.

В октябре 1930 года Всероссийский Союз советских писателей объявил всех нас, членов Союза, мобилизованными для работы на бумажных фабриках. Меня потребовали из Каширы телеграммой. Я испуганно возвратился в Москву и приехал вовремя. В тот же вечер председатель правления треста бумажной промышленности и бывший советник Сунь Ятсена¹²⁰ М.М. Бородин¹²¹ объяснил нам, чем и как могут писатели помочь бумажной промышленности, невыполняющей планов производства.

Это был крупный, неспешно произносящий слова, красивый человек с густыми усами, в полувоенной куртке защитного цвета. На груди у него тихо сиял орден Красного Знамени, плотно врезавшийся в ткань. Незадолго до того Англия мрачно потребовала отозвания советника Сунь Ятсена. Трудно было не думать о таинственном могуществе этого человека, угрожавшего спокойствию

Британской империи одним своим присутствием в пределах Великой китайской стены.

Теперь он говорил о тяжелом положении с бумагой, о необходимости повысить производительность труда, о падении трудовой дисциплины, об ударничестве и социалистическом соревновании. Мы внимательно слушали эти новые, тогда только что входившие в словарь языка слова и думали: чем же, собственно, мы, мобилизуемые теперь писатели, можем помочь делу?

— В главном и основном — методами печатной, литературно-художественной агитации и пропаганды! — отвечал нам красивый бас Бородина.

Мы сидели за огромным столом в его кабинете, а он, как добрый учитель, прохаживался взад и вперед за нашими спинами.

— Да, в основном агитация и пропаганда.

«Только и всего? — подумалось со вздохом облегчения, вероятно, не мне одному. — Ну с этим-то мы справимся!»

В конце заседания Буданцев подал мне записку:

— Составляется бригада на фабрику в Балахне, возле Нижнего: Глеб Алексеев, Юрий Слезкин, Костя Большаков, вы и я. Хотите с нами?

Я согласился.

Союз писателей поручил Абраму Марковичу Эфросу, члену правления, представить нас дирекции фабрики, и мы поехали, не сомневаясь в серьезности миссии и доверии общественности. О Балахне, кажется, мы все одинаково ничего не знали. Единственное, что пришло мне на память, — это попавшаяся мне на глаза корреспонденция «Правды» из Балахны. Сообщалось в ней об актах вредительства на фабрике; в щепорезку вредитель бросил лом, и машина была выведена из строя на несколько дней. Меня самого так часто обвиняли в поступках, которых я не только на деле, но и в мыслях никогда не совершал, что я в сознательное вредительство мало верил. Все же вспомнившаяся заметка представила мне Балахну в довольно мрачном свете.

Мы были взволнованы, когда расцеловались с женами, уселись в вагоне на мягких диванах, покрытых свежими чехлами с большими синими полосами. Меня посадили в одно купе с Эфросом, и я мог молчать всю дорогу. Абрам Маркович умел и любил говорить не умолкая, лишь бы кто-нибудь слушал.

Нас еще возбуждали медлительный голос советника Сун Ят-сена, новизна собственных наших ощущений, и Эфрос казался

нам воплощенностью легкомыслия. А между тем он просто был старше нас на десять лет и тогда уже знал все то, что мы узнали позднее через свой горестный опыт.

Дирекция фабрики поместила нас в отдельном домике, предназначенном для гостей, прикрепила к обильной столовой, устроенной для иностранных специалистов. Избавленные от бытовых неурядиц, мы действовали бурно, решительно и вдохновенно, со всею серьезностью государственных деятелей или хотя, по крайней мере, бодрых лейтенантов на переднем краю обороны.

Районную «Большую Балахну» и местный «Волжский бумажник» мы заполняли всеми видами публицистики, поэзии и беллетристики. На вечерах мы отважно читали свои рассказы, участвовали в «слете» рабочих корреспондентов, помогали стенным газетам, сочиняли лозунги в стихах и прозе, сами рисовали плакаты, — словом, делали все, что могли придумать.

На фабрике мы поделили цеха между собой. Мне достался бумажный зал, где огромные машины выбрасывали бумажную ленту в шесть метров ширины, со скоростью 250 метров за минуту. Тут же лента перематывалась, разрезалась на формат газеты и отправлялась в катушках в Москву, для «Правды».

В зале всегда было жарко, рабочие дежурили в отдельных звеньях машины полуодетые. На стеклянном потолке образовывался конденсат, иногда капли воды падали на обрабатываемую в машине бумажную ленту, и тогда происходил разрыв бесконечной ленты: из машины, прежде чем успевали ее остановить, бумага белыми каскадами вырывалась в зал, затопляла проходы и полы. Остановив машину, рабочие охапками волокли бумажные горы к открытому в полу окну бракомолки, откуда бумага снова шла в дело.

Как-то поздно вечером, зайдя, по обыкновению, в зал, я увидел недалеко от бракомолки разбросанные на полу инструменты упаковщика: молоток, клещи, пилу. Самого упаковщика не было, он, видимо, должен был вернуться, так как возле заделанных катушек оставались две недоделанных.

Я подумал о том, что если бы сейчас случился обычный разрыв бумажной ленты в машине, рабочий, волоча перед собой гору бумаги, непременно сбросил бы с бумагой в бракомолку инструменты, и через день в «Правде» появилась бы корреспонденция о новом случае вредительства.

Я видел однажды у охранительного дощатого заграждения приклоненный к доске железный лом. Рабочего не было. Самого не-

большого сотрясения достаточно было бы, чтобы лом упал на транспортер и вместе с балансами — еловыми брусками — пошел бы в щепорезку, как это, очевидно, и случилось.

Начетнический догматизм смежает глаза, забивает слух и делает глупцами даже умных и просвещенных людей.

В Балахне я сделал еще одно открытие.

Мы отправились срочно печатать листовки в Балахнинскую типографию. В одной листовке мы призывали котлочистов закончить предупредительный ремонт за три дня вместо семи; в другой — поносили лодырей и прогульщиков. Листовки составляли всей бригадой, но Слезкин придумал какую-то сложную верстку. Мы толковали о ней всю дорогу, приятно покачиваясь в директорской машине после обильного обеда.

Ехали по центральной улице фабричного поселка, мимо палатки с линючей вывеской «Хлеб». Палатка была закрыта, но перед нею стояли в длинной очереди люди, большей частью старики и женщины с сумками и кошелками. Через стекла машины я смотрел на них, они смотрели на меня, и мне подумалось, что вот, вероятно, так же обмениваются взглядами подводные существа с исследователями океанских глубин через толстые стекла батисферы.

А накануне, выходя из столовой, где я из-за сытости уже не обедал, а только завтракал и ужинал, я задержался у палисадника на тротуаре под светлыми фонарями, где играли дети. Один из них, самый маленький, подбежал ко мне с прутом и стал бить меня по поле моего длинного кожаного пальто. Он приходился мне по колена ростом и колотил меня серьезно и строго.

Несколько секунд я ожидал каких-нибудь объяснений и, не дождавшись, спросил тихо и ласково:

— Подожди, мальчик, ты за что меня бьешь?

Он отвернулся и проворчал обиженно:

— А зачем ты туда ходишь?

— Куда?

— Туда!

Он указал на освещенные окна дома иностранцев, откуда мы только что вышли. Несколько минут я изумленно молчал, стараясь придумать понятный для него ответ. Но решив, что он все равно ничего не поймет из моих длинных объяснений, махнул рукою и пошел с товарищами домой.

Сытость также смежает глаза, забивает уши, и в кабину директорской машины не проникают человеческие голоса.

Из типографии с отпечатанными листовками мы возвратились поздно и проехали прямо в котельную, где бесменно работали котлочисты, чумазы и усталые. Мы весело раздали им листовки, озаглавленные «ШтурмуЙ котел!».

Затем мы прошли по цехам, раздавая саркастическую листовку под заголовком «Пожалуйте бриться!», где высмеивали прогульщиков, скитавшихся по окрестным деревням в поисках муки, крупы, и лодырей, гонявшихся за большими заработками.

Последнее из балахнинских открытий я сделал в Москве.

26

Вышло как-то так, что послал свои бригады только Союз писателей, а из возвратившихся бригад главным образом балахнинская привлекла внимание. Мы привезли массу благодарностей и от дирекции, и от партийной организации, и от рабочих, и от клубных работников, и от редакций газет. Нас интервьюировали, заставляли писать статьи, отчитываться в Союзе, и мы не ленились докладывать, показывать, говорить и писать.

Я собрал в Балахне материал по истории строительства фабрики и технологии производства. Тут были и фотографии, и пробирки с образцами древесной массы и целлюлозы, даже шарошки, которыми очищают накипь в котлах, и образец бумажной ленты, бесконечной полосой бегущей с машины. Доклады проходили весело, главное — понятно и интересно.

Тогда-то нам и пришла наивная мысль: собрать наши статьи, присоединить к ним отзывы о нашей работе, добавить живой отчет о том, как мы все это делали, и выпустить сборник. Казалось, так естественно писателям рассказать широко о первом опыте участия писательской общественности в производстве, но не в качестве зрителей, а в качестве непосредственных участников дела. Издательство «Федерация» немедля заключило с нами договор, умоляя только об одном: скорее рукопись!

За составление книги убедили взяться меня.

По-детски доверчиво, глядя мне в глаза. Буданцев говорил мне:

— Лев Иванович, если вы не возьметесь, вы же знаете сами — не будет у нас никакой книги... А книгу так бы нужно сделать.

Кажется, действительно, только у меня одного и хватило энергии и самоотверженности, донимая товарищей звонками, письма-

ми, встречами, убеждениями, перспективами и угрозами, составить сборник. Я даже ухитрился сдать его раньше срока.

Директор издательства, по фамилии Шульц, толстый малоподвижный человек, происходил, вероятно, из немцев Поволжья. Он нехорошо говорил по-русски. Посадили его в издательство, должно быть, за доверчивость и благожелательное отношение к писателям без различия их группировок.

Нашу книгу он жаждал издать, а моя энергия его пленила, и едва лишь я сдал рукопись, как он немедленно поручил мне совместно с А.С. Яковлевым составить сборник произведений советских писателей на тему о свободном труде, а затем благодушно заключил со мной договор на издание последнего моего романа «Головорезы».

«Большую Балахну» Шульц выпустил очень быстро. Этим и кончилось наше триумфальное шествие по страницам газет и журналов под шапками «Писатели в действующей армии», «На фронте борьбы за промфинплан».

Наша бригада, Союз писателей, «Большая Балахна» слишком выскочили вперед. Другие бригады безрезультатно возвратились к текущим делам, а кроме Союза писателей ни одна группа, входившая в «Федерацию», не производила никаких мобилизаций, и Союз писателей оказался среди них белой вороной.

Авербах немедленно принялся за дело.

В самой книге материала, чтобы опорочить работу бригады, не нашлось. «Литературная газета» направила в Балахну своего корреспондента за «дополнительными фактами о работе балахнинской бригады Всероссийского Союза советских писателей». Фактов не оказалось. Тогда начали вспоминать, что Глеб Алексеев — бывший эмигрант, вернувшийся на родину; что Лев Гумилевский — автор известных бульварных романов; что Юрий Слезкин — известный халтурщик и приспособленец; что С. Буданцев и К. Большаков принадлежат к «правому крылу попутчиков».

Кажется, что я один не придавал значения этой новой реакции на наше пребывание в Балахне. Дискуссии о «Собачем перелуке» показали мне, кем, как и для чего организуется общественное мнение.

Но слабые нервы моих товарищей не выдержали. Первым выступил с покаянным письмом в «Литературной газете» Костя Большаков. Это было совершенно неожиданно для остальных членов бригады. Одна из постоянных целей Авербаха была достигнута:

бригады уже не было, оставались беспартийные одиночки. В письме, между прочим, указывалось, что я не только составлял, но и редактировал книгу.

Поспешил и Слезкин заявить письмом в «Литературную газету» о том, что мы выпустили «негодную книгу».

Я зашел к А.И. Селивановскому, тогдашнему редактору газеты, и сказал:

— Редактором сборника я не был. Внесите поправку в ваши примечания к письму Большакова.

Этот молодой человек с тонкими губами и холодным взглядом отвечал мне, как прокурор, видящий насквозь преступника:

— Товарищ Гумилевский, вы были редактором!

— Товарищ Селивановский, я не был редактором!

— Нет, вы были редактором!

— Нет, не был.

— Нет, были.

— Плохо же вы знаете писателей, хотя и беретесь ими руководить и воспитывать, — сказал я, поднимаясь со стула, — если полагаете, что Большаков и Буданцев позволят Гумилевскому себя редактировать. Эх, вы...

— Вы были редактором!

Я пожал плечами и вышел, отказавшись от любезного предложения поместить и мое письмо.

История «Большой Балахны» кончилась. Поиски классового врага продолжались.

В «Молодой гвардии» шла моя повесть «Сменный мастер», написанная на материалах Балахнинской фабрики. Я рассказывал детям живую историю строителя фабрики, потом рабочего, потом мастера. Книгу иллюстрировали собранные мной фотографии. Она была уже сверстана и подписана к печати, когда появились статьи, обнаружившие политические ошибки и «рекламный характер» нашей книги.

Уполномоченный Главлита в «Молодой гвардии» К.Т. Свердова поставила вопрос об изъятии моей книги из производства. Довод у нее был один:

— О балахнинской бригаде писателей что-то плохое писалось в «Правде» или в «Известиях»...

О самой повести она сказать ничего не могла, но настаивала на том, чтобы пустить в разбор книгу.

Я присутствовал на заседании редакционного совета, ожидавшего моего согласия на разбор книги. Я понимал бесполезность протестов и, обращаясь к Свердловой, сказал:

— Владимир Ильич назвал бы все это травлей беспартийного писателя!

Это так и было.

Незадолго до поездки в Балахну «Молодая гвардия» выпустила второе издание романа «Черный яр». Теперь в стенной газете издательства я прочитал: «К стыду нашему, у нас до сих пор издаются книги Гумилевского».

Мрачная тень от Балахны упала и на «Головорезов».

Роман мой, посвященный счастливой поре невозвратимого детства, Авербах, выступая на секретариате РАППа, объявил в ряду других книг, изданных «Федерацией», ничем иным, как «реальным проявлением классовой борьбы в литературе».

Задача сводилась к тому, чтобы скомпрометировать ФОСП и его издательство. Достигнуть этого было нетрудно: после генеральской команды быстро появились статьи, объявившие и «Головорезов» клеветой на советскую действительность, «враждебной вылазкой на литературном фронте».

Самое имя мое становилось нарицательным. Оно уже писалось с маленькой буквы, во множественном числе и внушало страх.

Переделанный в пьесу А.Н. Афиногеновым «Черный яр» не сходил со сцены детских театров, сделал имя инсценировщику, актрисе Сперантовой¹²², но мое имя на афишах так и не появилось. Я обратил на это внимание местного комитета драматургов, требуя защиты моего авторского права. Но виднейшим членом Бюро месткома был Афиногенов. Я написал письмо в газету «Советское искусство»¹²³, но членом редакционной коллегии был Афиногенов, и письмо не напечатали.

«Литературная энциклопедия»¹²⁴ в очередном выпуске поместила заметку А. Тарасенкова¹²⁵ обо мне. Он объявил меня просто халтурщиком. В доказательство он ссылался на то, что за один какой-то год я выпустил одиннадцать книг — восемь или девять вышли в серии Госиздата «Книжка-копейка», объемом каждая в четверть печатного листа, взятого вдобавок из старых сборников моих рассказов.

Откуда брались у этих молодых людей такое бесстыдство и такая головокружительная безответственность?

Наконец, лежу как-то после обеда на диване, дремлю под обычную монотонность радиопередачи о том, что есть пролетарские писатели, есть правые и левые попутчики, наконец, есть контрреволюционные писатели, и вдруг слышу:

— Это Булгаков, Гумилевский...

Я встал, сказал себе с редкой решительностью: хватит! И стало как-то легче и веселее дышать.

Все же в моем решении было личного принуждения больше, чем общественного.

Не овладев тайной искусства, я возненавидел беллетристику.

Я чувствовал стыд и неловкость, когда читал у других или писал сам: «Иван Иванович чихнул, вытер нос рукавом и сказал...»

Писать: «Голубое, бездонное небо раскинулось над степью, и далеко разносил ветер терпкий запах полыни» я мог не останавливаясь, пока не уставал физически.

Я пытался не один раз выскочить из заколдованного круга готовых беллетристических приемов и выражений. Попытки оставались бесплодными потому, что я по-прежнему не знал, как в литературе хорошо и как — плохо. Не то чтобы я мало думал или разговаривал о литературе и истинной художественности. Нет, и того и другого было достаточно.

Но и разговоры и мышление велись в таких неточных терминах, в таких расплывчатых понятиях и выражениях, каких я понимать не мог по свойствам своего прямолинейного, семинарского ума.

— У тебя, брат, очень правильный язык! — говорил мне Сергей Иванович Малашкин. — Ты пишешь очень правильным языком — вот в чем твоя беда! А у писателя слог должен быть корявым. Правильным языком хорошо не напишешь!

Мы возвращались с какого-то диспута о наших книгах, поздно ночью, взволнованные и усталые. Верная по существу мысль, выраженная столь коряво, мне показалась футуристической чепухой, не стоящей даже спора.

Мне вспомнился и другой такой же поздний вечер. Издательство «Земля и Фабрика» отмечало годовщину своего существования. В просторных мастерских В.К. Бялыницкого-Бирули¹²⁶, где-то у Москворецкого моста, собрались писатели и критики. В те годы, двадцатые годы нашего века, случайно сошедшиеся литераторы говорили о литературе и сообщали друг другу не о том,

кто купил дачу, кто ездит на «Волге», кто на «Победе», а о том, кто выпустил книгу и какая ей литературная цена.

На этом вечере Александр Сергеевич Неверов¹²⁷ говорил о превосходном языке «Слепой ночи». Книга только что вышла в «Земле и фабрике». Подле нас сошлось несколько писателей, которых я впервые видел. Они кивали головами, когда Неверов переводил глаза то на одного, то на другого, справляясь с их мнением.

Когда я уезжал в Ленинград на суды и диспуты о «Собачьем переулке», мне вздумалось на всякий случай захватить письмо Горького. Оно лежало рядом с письмом о «Харите» в папке. Я перечитал их одно за другим и до полуночи сидел над ними, забивая большую свою пепельницу окурками папирос.

В первом письме, 10 марта 1926 года, Алексей Максимович, указывая на мои ошибки против «простоты, краткости и точности» языка, пишет так:

«181 стр. «Начинают чувствовать живыми волосы». Ся — суть — себя; получается, что не хозяин волос, а они сами себя чувствуют живыми».

Но в следующем письме, 12 декабря того же 1926 года, Алексей Максимович пишет уже сам: «Мне кажется, что фигуры женщин удались Вам: Анна, Вера, Варя особенно хорошо чувствуются».

Вспоминаю, что «ся — суть — себя» и, значит, должно бы получиться, что Анна, Вера и Варя особенно хорошо себя чувствуют, а не Горький их хорошо чувствует! Однако этого не получалось.

Получалось же у меня только то, что — от Малашкина до Горького — каждый писал, как умел, но почему у одних выходило хорошо, а у других плохо, толком объяснить никто не мог.

А между тем в том же 1926 году Горький писал Константину Федину¹²⁸: «Критикам следовало бы заглянуть в работы И.П. Павлова о рефlekсах, и опыты Павлова с собаками, пожалуй, помогли бы критикам более толково рассуждать о том, как создается искусство».

Но Константин Александрович сообщил мне о необычайном совете Горького уже после того, как собственная моя работа в этом направлении была вполне закончена и он ознакомился с нею.

История этой моей работы представляет особый интерес и лежит в центре второй части и моей жизни, и моего невеселого повествования.

Часть вторая

1

В Лефортове, близ Яузы, на месте некогда располагавшейся здесь Немецкой слободы, занимали целый квартал странные здания ЦАГИ — Центрального аэрогидродинамического института. Здания здесь — только внешние оболочки заключенных в них приборов экспериментальной аэродинамики: аэродинамических труб, гидродинамической лаборатории с каналом, лаборатории испытания авиационных материалов, моторной лаборатории, опытного авиационного завода. Весь этот архитектурный ансамбль увенчивает высокая башня ветросиловой лаборатории с крыльями ветродвигателя на сорокапятиметровой высоте. С Вознесенской улицы — теперь улица Радио — его прикрывают вековые дубы. Под тенью их, может быть, сиживал сам Петр с трубкой в зубах, окруженный корабельными мастерами и ремесленниками, строившими первые суда русского флота.

Когда рыли котлован под фундамент аэродинамической лаборатории, за двухметровым слоем наносной земли оказалось кладбище, хранившее останки современников Петра I. В заброшенной лютеранской кирхе нашлась каменная гробница Якова Виллимовича Брюса, сподвижника великого преобразователя России.

Это был тот самый Брюс, которого молва за ученость прославила колдуном и чернокнижником. Под его наблюдением печатался первый русский календарь, составленный Василием Киприяновым, но прозванный Брюсовым и звавшийся так еще на моей памяти.

Созданный отцом русской авиации Н.Е. Жуковским и его учениками институт быстро развивался, отделяя от себя специальные институты, в основе которых лежали его лаборатории. Так посте-

пенно выделились институты испытания авиационных материалов, авиационного моторостроения, ветроэнергетический и другие.

В Институте авиационного моторостроения, только что переехавшем из ЦАГИ в собственное здание у Синичкина пруда, мне предложили должность ответственного исполнителя отдела печати.

Поступая на работу, я сказал заместителю начальника института Беляевскому:

— Критика упрекает писателей в отрыве от действительности, в незнании жизни, ну вот я и решил работать как все: лицом к лицу с самой жизнью...

Поступая на службу не заявляют, что делают это в своих собственных интересах. Обычно говорят о приверженности к технике или науке. Беляевский смотрел на меня с долей недоумения:

— Ну а как вы думаете вести у нас работу? — спросил он.

В легкомысленности будущего работника отдела печати он, кажется, не сомневался. Но других людей в виду не имелось, меня представил Н.Н. Шпанов¹²⁹, заведовавший отделом, а пока не начал действовать отдел печати, в институте все чувствовали себя как без рук. К тому же Беляевский был добродушный и снисходительный человек.

— Ну, хорошо, — сказал он вставая и улыбаясь, — там будет видно. Я доложу, а завтра проведем вас приказом!

Будущий мой начальник необыкновенно как понравился мне: он был вежлив, приветлив, предупредителен, даже как будто услужлив. С приятным и нежным чувством я пожал его руку и ушел, довольный своим решением.

«Этот Беляевский знает институтскую жизнь так, как я ее никогда не буду знать... — с некоторым злорадством думал я дорогой, — но он за всю свою жизнь крошечного рассказа не напишет... Говорить о том, что писатель должен знать жизнь, все равно что говорить: писатель должен иметь карандаш и бумагу...»

Через день хорошенькая курьерша, стуча каблучками, разнесла узкие полоски папиросной бумаги, с приказом начальника института, по отделам и лабораториям. Я с удовольствием стал развивать в себе чувства служащего. У Беляевского не сел без приглашения, не заговорил. Это понравилось и внушило доверие.

— Где вы обосновались? — любезно спросил он. — Мы предполагали вас поместить пока в плановом отделе.

— Да, я там и устроился.

— Пока у вас нет своего штата, пользуйтесь их сотрудниками. Начнем, конечно, с составления издательского плана... У нас есть работы готовые, есть такие, которые будут закончены в этом году, есть и намечаемые только... Как вы думаете это организовать?

— Запрошу всех начальников отделов что у кого есть, что будет, — ответил я, не видя затруднений, — и составлю план.

Работники института обычно против каждого нового дела выставляли, как надолбы, трудности. Я их не видел, и помнить о них пришлось начальству. Беляевский сказал с досадой:

— У нас есть приказ по возможности обходиться телефоном, без бумажной переписки, особенно в стенах института...

— Да к чему же телефон? Я просто обойду все отделы и запишу, у кого что есть, а затем перепишу.

Беляевский отпустил меня, дивясь моей наивности. Я отправился к начальнику первого отдела.

— Нужно срочно представить план издания научных работ. Скажите, какие работы у вас готовы к печати, что можно издать в нынешнем году? — спросил я.

— А, отдел печати! Очень приятно. Зайдите дня через два — подготовим.

— Может быть, вы просто укажете сейчас авторов, названия, примерный объем... — пытался я упростить дело. — Вероятно, вы знаете работы вашего отдела...

— Нет уж, зайдите в другой раз, мы сделаем как следует. Посоветуемся с товарищами!

Я пошел в другой отдел, потом в третий, четвертый, пятый, — удивительное разнообразие лиц, причесок, костюмов, голосов, характеров, манер, но один и тот же ответ:

— Пожалуйста, товарищ, денька через два — все будет сделано.

При этом каждый раскапывал груды папок, бумаг, каких-то деталей машин, лежавших сверху, вытягивал оттуда передвижной календарь или блокнот, записывал, что и к какому числу надо сделать, и явно считал дело сделанным, а я покорно уходил, в то время как календарь или блокнот снова исчезал в груды бумаг.

Исключением был только руководитель группы реактивных двигателей, похожий на молодого дьякона высокий худой человек с длинными, зачесанными назад нежными волосами, одиноко сидевший за маленьким столиком в винтомоторном отделе.

Он выслушал меня и с полной готовностью сам, чтобы я не напутал чего-нибудь, выписал на листе бумаги названия работ,

которые он желал видеть включенными в план изданий. Одна из этих работ называлась так: «Проблема полета при помощи реактивных аппаратов».

В другой, название которой не помню, теоретически обосновывалась возможность межпланетного полета.

Под скромным списком трудов отдела он поставил свою подпись. Автором этих работ и руководителем отдела, показавшегося мне фантастическим, был сидевший передо мной Фридрих Артурович Цандер¹³⁰.

Человек божественной увлеченности, скромный, застенчивый и тихий в жизни, исполненный грандиознейших замыслов, Цандер непреклонно верил в их осуществление. Приняв из его худых рук с тонкими длинными пальцами список, я встал, прощаясь, как с больным, робко и осторожно.

Подобно Циолковскому, Цандер мечтал о межпланетных сообщениях и, увлеченный расчетами, заставлял вздрагивать углубленных в свои занятия сотрудников лаборатории, когда вдруг восклицал, высоко подняв голову:

— О, Марс, о, Венера! Я увижу вас...

Он умер от туберкулеза легких, не успев высказать всех своих идей и не дожив даже до запуска первых искусственных спутников Земли. Но чем дальше отходит от нас в глубь времен человеческий образ его, тем величественнее выступает в своей божественной увлеченности этот необыкновенный энтузиаст космических путешествий.

Спрятав в карман полученный от Цандера список, я продолжал обходить отдел за отделом, но только один этот столь далекий от реальной жизни мечтатель оказался деловым человеком. Все другие неизменно откладывали заботу на два-три дня, загромождая свой календарь заметками, а память — досадою на уйму дел.

Я отправился в редакцию «Техники воздушного флота»¹³¹, где непосредственный мой начальник Николай Николаевич Шпанов был редактором, и доложил ему о своей деятельности. Он сказал, не отрываясь от гранок, лежавших перед ним:

— Ничего, нажимайте на них. Я обещал Беляевскому, что вы в субботу сдадите план.

Будущий знаменитый автор «Заговорщиков», «Поджигателей» и еще каких-то толстых приключенческих романов, Шпанов был необыкновенно моложав и внимателен к людям.

Я сказал в тон ему: «Ладно!» — и на другой день начал повторный обход.

— Извините, не успели! — отвечали мне все как один. — Завтра!

При этом все одинаково хватались за блокноты, календари, шестидневки, что-то записывали, улыбались и ждали, когда я уйду.

Через два дня я начал новый обход — снова извинения, ссылки на занятость, обещание все приготовить через день.

Пропустив вместо одного дня — два, я начал обход в обратном порядке. На этот раз знакомые улыбки, жесты на меня уже не действовали.

— Простите, но записывать не надо, я заходить больше не буду. Мне надо представить план завтра. Так что я запишу сейчас темы ваших работ или ваш отдел не войдет в план...

Мой собеседник, смотря по прическе, или отбрасывал назад свисшие на лоб волосы, или слегка поглаживал лысину, морщился, напрягал память и через пять минут в руках у меня оказывался нужный мне перечень готовых и заканчиваемых работ.

Так я узнал происхождение нашей общей занятости. Уходя я видел, как все, облегченно вздыхая, смотрели мне вслед и поспешно вычеркивали из календарей, блокнотов и шестидневок трижды подчеркнутые, но совершенно неразборчивые записи.

За время службы моей вышла в свет только одна работа из включенных в план.

Но пребывание в институте не прошло даром.

До того я только пользовался услугами техники. Теперь я мог видеть, как техника создается. На моем пропуске стояло множество штемпельных отрисков. Они обеспечивали мне возможность бывать во всех отделах института. Процесс научно-исследовательской, конструкторской, экспериментальной работы открывался мне какой-то своей особенной, я сказал бы, художественной стороной — конкретной и живописной.

Отдел нефтяных двигателей разрабатывал конструкцию авиационного дизеля. Крупнейший специалист дизелестроения профессор Николай Иванович Ворогушин¹³², засучив рукава белоснежной крахмальной рубашки, в одном жилете стоял у стенда перед небольшим опытным экземпляром двигателя, окруженный молодыми инженерами и монтерами. Он то опускал очки на свои близорукие глаза, то сдвигал их на лоб, разглядывая клапаны мотора то на ходу, то останавливая машину.

Я долго следил за его руками, вымазанными смазочным маслом, за его толстыми, добродушными губами, каким-то особенным образом, как мне показалось, повторявшими попеременные движения клапанов. Вместе с профессором были увлечены происходящим все присутствовавшие. Опыт длился, должно быть, уже давно: на крахмальных манжетах ученого расплылось несколько масляных пятен.

Когда Николай Иванович заметил меня за спинами других, я спросил, поздоровавшись:

— А что это вы делаете, Николай Иванович?

— Учу его ходить! — ответил он улыбаясь.

Когда пристально следишь за работой мастера, начинает казаться, что материал сам собой идет навстречу его желаниям. И следя за ученым, мы все испытывали тонкое и непередаваемое наслаждение. Это наслаждение усиливалось еще и тем, что все мы обычно видели ученого в кабинете, за письменным столом, перед бумагами и чертежами. К испытательному стенду его вызывали лишь после того только, как все собственные догадки были проверены, все средства испытаны, все школьные знания исчерпаны. Ворогушин приходил, снимал пиджак, засучивал рукава, и вдруг всем являлся мастер, который как будто не просто знал, но чувствовал, как распределяются движения и давления в механическом устройстве.

Не одному Ворогушину, конечно. я был обязан открытием творческого и профессионального отношения человека к действительности. Но он был первым для меня живым человеком, для кого техника стала такой же глубокой страстью ума и сердца, какую для других, скажем, является чувство любви.

2

В большой коммунальной квартире огромного дома на Новой Басманной, где я жил, условия жизни были сложны и порою невыносимы. Я пожаловался известному тогда писателю, автору романа «Колокола», Ивану Васильевичу Евдокимову¹³³. Он с обычной своей живостью и решительностью спросил:

— Почему же вы не принимаете мер к получению квартиры?

— Вы думаете, что это так просто?

— Очень просто: запишитесь в жилищно-строительный кооператив «Советский писатель», где работает наш друг Матэ Залка, и через год получите квартиру.

— А где я возьму деньги для взносов?

— Пойдите к Александру Николаевичу Тихонову, посмотрите у него список имен замечательных людей, намеченных для первых выпусков, выберите себе кого-нибудь, заключайте договор, получите аванс — вот вам и деньги... Горький просит всех писателей принять участие в этом деле! Вам будут рады!

Иван Васильевич умел говорить обо всем с необыкновенной простотой и очевидностью.

Однажды, характеризуя административно-хозяйственный аппарат огромного Государственного издательства на Рождественке, он привел такой пример:

— Иду на спор с кем угодно и на что угодно: хотите, я приду в Госиздат, поставлю себе стол, проведу себя приказом на какую-нибудь должность, получу жалованье, потом, таким же порядком, сам себя уволю со службы...

Говорил Иван Васильевич веско, вид у него был внушительный — все хохотали, однако на пари никто не шел. Авторитет Ивана Васильевича поддерживали высокий рост, отброшенные со лба назад длинные густые волосы, толстая палка в руках и необычайная убежденность в своей правоте.

Я последовал его совету. Вместе с М.А. Зенкевичем отправился я в только что организованную тогда А.М. Горьким редакцию серии «Жизнь замечательных людей». Нам действительно были рады и показали длинный список имен. Зенкевич выбрал братьев Райт, я заинтересовался Рудольфом Дизелем.

Имя это мне было мало знакомо — я полагал, что дизель — это название машины и только. Тот факт, что машина носит имя своего конструктора, мне показался интересным. Я заявил, что возьму Дизеля, если найду материалы к его биографии.

Дома я заглянул в энциклопедический словарь «Гранат». Биография всемирно известного конструктора излагалась так: «изобретатель мотора», и далее предлагалось обратиться к слову «двигатели». Однако в институте, в отделе нефтяных двигателей, мне удалось многое узнать от профессора Н.И. Ворогушина, а инженер Н.А. Коробов дал мне сборник статей «Успехи дизелестроения». Там я нашел переведенную с немецкого небольшую биографию Дизеля.

Двигатели Дизеля в начале нынешнего века приобрели широкую популярность во всем мире и особенно в России, где просто назывались «дизели». Между тем о человеке, давшем свое имя этой машине, у нас, кажется, никто не знал, как и я сам.

В этом обстоятельстве крылся особенный интерес. Задача представлялась трудной, но благодарной.

Затем начались розыски. Мне удалось получить непосредственно от родных, друзей и сотрудников Дизеля их воспоминания и биографические данные. Я провел немало вечеров в Ленинской библиотеке. По русским журналам и газетам за двадцать лет я довольно верно и широко восстановил историю дизелестроения в России: двигатели Дизеля были у нас усовершенствованы, и у нас найдено было им первое применение на судах, получивших название теплоходов.

Отзывчивость лиц и учреждений, к которым я обращался, воодушевляла меня. Работал я с анекдотическим увлечением.

Вхожу как-то в вагон трамвая на Садовой, как всегда заполненный. Беру билет, проталкиваюсь вперед и вижу странную сцену. На передней скамье сидит девушка, а к ней нагло прижимается какой-то полупьяный человек. Девушка отстраняется, забивается в угол, на глазах у нее слезы. Все это при гробовом молчании окружающих. На всякий случай спрашиваю девушку:

— Это ваш знакомый?

Отвечает чуть не плача:

— Нет, нет... я не знаю его.

Спокойно и голосом, данным мне от природы, я говорю громко, чтобы услышал кондуктор:

— Кондуктор, остановите вагон, позовите п о л и с м е н а и высадите этого пьяного хулигана...

Душевно и умственно я находился с Дизелем то в Германии, то в Англии, то во Франции, и «полисмен» сорвался с языка невольно и естественно...

Увлеченности моей способствовало, разумеется, и то обстоятельство, что работал я для серии, задуманной Горьким. Как это было у всех почти моих современников, хотя и стороною, Горький прошел через всю мою литературную жизнь.

3

...Алексей Максимович придавал огромное значение созданию биографических книг для молодежи. За организацию их он принимался не раз. В конце 1916 года Горький к созданию таких книг привлекал крупнейших писателей и ученых — Тимирязева, Роллана, Уэллса, Нансена. Отвечая Роллану на его вопрос, Горький писал: «Наша цель — внушить молодежи любовь и веру в жизнь. Мы хотим научить людей героизму».

В суровые годы Первой мировой войны Горькому не удалось привести свой план в исполнение. После Октябрьской революции подобное издание начал осуществлять З. Гржебин в Берлине. В этом принял участие Горький, но дело было очень далеко от того, что он проектировал.

И только в 1932 году удалось А.Н. Тихонову, под руководством Горького, организовать издание биографических книг в серии «Жизнь замечательных людей». За издание взялось «Журнально-газетное объединение», выпускавшее «Огонек» и книжки «Огонька». Главную редакцию составляли Горький, Мих. Кольцов¹³⁴ и А.Н. Тихонов.

На призыв Горького принять участие в создании книг для организуемой им серии «Жизнь замечательных людей» отозвалось немало писателей. Помню, Всеволод Иванов взялся написать о Сервантесе, Андрей Платонов — о Тимирязеве, Булгаков — о Мольере, Шкловский — о Марко Поло, Евдокимов — о Сурикове, Виноградов¹³⁵ — о Байроне.

Не все преодолели трудности жанра.

Тем не менее участие художественных сил в создании первых книг серии оказало решающее влияние на их общий характер и последующее развитие.

Термин «научно-художественная литература» появился впервые более четверти века назад. За истекшие годы накопился достаточный практический опыт для того, чтобы дать исчерпывающее определение термина. Сошлемся на академика Н.Н. Семенова¹³⁶, давшего академически точный и ясный ответ на вопрос по частному случаю книги Б.М. Филиппова¹³⁷ «Тернистый путь ученого» («Литературная газета», 3. VI. 70).

«Писатели, воскрешающие в памяти примечательные страницы истории русской науки, восстанавливающие многие неизвестные и забытые факты борьбы наших ученых за торжество материалистической мысли и социальный прогресс, творят нужное и благородное дело... Книга Б.М. Филиппова должна быть отнесена к особому жанру научно-художественной литературы, основанной на достоверных фактах. В этой книге тесно смыкаются наука и литература. От нее веет романтикой научного подвига, и это придает очерку «Тернистый путь» особую привлекательность».

Исходящее от выдающегося ученого определение термина прекращает нескончаемую дискуссию среди авторов этого жанра о том, что такое научно-художественная литература, какая разница

с научно-популярной литературой, чем она должна быть, что составляет главное в ней и т.д. и т.п. Мы принимаем определение академика Н.Н. Семенова с благодарностью и будем в дальнейшем исходить из него. Оно, кстати, ясно очерчивает и границу между научно-популярной и научно-художественной литературой.

Первые книги серии: «Гейне» — Дейча¹³⁸, «Щепкин» — Соболева¹³⁹ и мой «Рудольф Дизель» подверглись тщательному рецензированию. «Дизель» был отправлен на отзыв Горькому. Он дал хороший отзыв, так же, как и профессор А.А. Радциг¹⁴⁰, крупнейший специалист по тепловой технике. Отзыв его меня особенно обрадовал, так как Радциг сам был свидетелем и порою участником событий, связанных с именем Дизеля и его машиной. Впоследствии в своей «Истории теплотехники», вышедшей в издательстве Академии наук СССР в 1936 году, Радциг писал:

«По истории создания дизельмотора накопился обширный материал, но, к удивлению, в иностранной литературе нет сводного большого труда, который давал бы полную и объективную историю вопроса; нет даже хорошей биографии Дизеля. В этом отношении русская литература имеет большое преимущество, так как в ней имеется чрезвычайно полно и добросовестно составленная биография Дизеля, в связи с характеристикой и историей его изобретения, написанная Л. Гумилевским».

Книгу подписали к печати в марте 1933 года, контрольные экземпляры типография выдала к первому мая, но книга света не увидела, за исключением тех немногих экземпляров, которые типографские рабочие в виде «шабашек» уносят с собой, а потом спускают букинистам.

На первомайском вечере в Доме журналиста Александр Николаевич Тихонов преподнес членам президиума заседания по экземпляру новой книги. Пока шел доклад, находившийся в президиуме заведующий отделом печати ЦК ВКП(б) Стецкий полистал книгу, а наутро отдал распоряжение Главлиту книгу не выпускать.

Ни Горькому, ни Кольцову, ни Тихонову не удалось высвободить книгу из-под запрета. В ответ на все вопросы Стецкий только плотнее усаживался за столом и, не вступая в спор, твердил:

- Там воспевается капиталистический строй!
- Но где, в чем, как?
- Вообще, всей книгой в целом.

В конце концов весь тираж книги — сорок тысяч — был уничтожен.

Мои обращения в Главлит тем более не имели успеха. Заведовал русским отделом И.М. Рубановский, бывший редактор издательства «Молодая гвардия», веселый, полненький, круглолицый остряк. Он сказал наставительно, со смеющимися глазами:

— А вы и редакция не могли предусмотреть своей ошибки. Книга ваша запрещена в связи с вопросами высокой государственной политики...

Тогда я спросил, могу ли продолжать работу по той же теме, выполняя другой мой договор с Энергоиздатом на биографию Дизеля для юношества?

— Это можете, — как всегда балагурия, отвечал благодушный цензор, — то, что случилось, не имеет никакого отношения к вашим работам. Можете действовать спокойно.

В Энергоиздате книга получила превосходный отзыв с пожеланием поспешить с выпуском ее. В январе 1934 года книга была готова, и я с упреком сказал при случайной встрече Тихонову:

— Как же вы не добились выпуска моей книги — вот выходит же она теперь в Энергоиздате?

— Как выходит?

— Так и выходит. Читал сам заведующий отделом технической литературы в Главлите.

— Здоровенко?

— Он самый!

— Ну, хорошо, спасибо, что сказали!

Я поделился новостью с Александром Николаевичем как со старым знакомым еще по «Новой жизни», не ожидая никаких последствий для себя. Но Тихонов на другой же день отправился к Стецкому и передал ему разговор со мною. Стецкий хлопнул ладонью по столу:

— Ну, так она и там не выйдет!

Немедленно последовало распоряжение не выпускать книгу из типографии. Я обратился к тогдашнему начальнику Главлита Сольцу в связи с его председательствованием в Контрольной комиссии ЦК. Он выслушал меня и заявил:

— В книге воспет капиталистический строй, и она будет уничтожена.

Рассердившись, я написал письмо И.В. Сталину. Иосиф Виссарионович ввел в практику обычай все жалобы отправлять на рассмотрение в то учреждение и к тем лицам, на которых жалоба приносилась. Мое письмо тем же порядком пошло в Главлит и, в

конце концов, очутился в руках заведующего отделом технической литературы. В необъятной власти Генерального секретаря я не сомневался и потому через некоторое время явился к Здоровенке.

Редко встречались мне люди, которые бы так оправдывали свое имя, фамилию или прозвище, как этот Здоровенко. Высокий, стройный и строгий, в каждом движении сильный и крепкий, он олицетворял собою здоровое тело и в нем — здоровый дух.

— Ваша книга дана на высокоавторитетный отзыв, и, когда мы получим его, вопрос будет разрешен окончательно, — сухо сказал он и прибавил снисходительно. — Вы, верно, думаете — потому, что вы писали Сталину? Ошибаетесь!

Я смутился, поскорее простился и ушел.

Я действительно ошибался. Здоровенко, давший разрешение на книгу, был больше меня заинтересован в том, чтобы книга вышла в свет — Главлит в целом находился в постоянной войне со Стецким... И я, краснея за свою самонадеянность, не запрашивал более цензуру. Здоровенко вызвал меня сам.

После я узнал, что отзыв о книге давал Г.М. Кржижановский¹⁴¹. Отзыв был совершенно положительный. Рецензент отмечал только, что в книге не дана картина борьбы торгово-промышленных групп вокруг изобретения Дизеля, в связи с противоположными интересами поставщиков угля и нефти. Отзыв, впрочем, заканчивался замечанием, что это упущение не умаляет общих достоинств работы автора.

Здоровенко предложил мне написать, сообразно с замечаниями рецензента, послесловие в книгу. Оно пошло вклейкой после текста, и энергоиздатовский «Дизель» пошел в продажу в июне 1934 года.

Книга нравилась и читателям, и критикам, и техникам. То, что составляло недостаток моей беллетристики: прямолинейность, назойливое желание довести мысль до полной ясности, — здесь обращалось в достоинство, делая доступным читателю совершенно новый для него круг мыслей и переживаний.

А.Н. Тихонов считал, что редакция «Жизни замечательных людей» в долгу у читателей, не выдавши им обещанной биографии Дизеля, и заключил со мной договор на новое издание книги с дополнительными главами.

В таком дополненном виде «Рудольф Дизель» и появился в серии «ЖЗЛ» в 1935 году.

Связанное с неприятностями, о которых я только что рассказал, мое обращение к технике оказалось все же очень счастливым.

Я не только написал удачную книгу, я нашел какое-то свое место в литературе. Я увидел, кроме того, что Россия, которую мы привыкли считать всегда и во всем отстававшей, на самом деле шла впереди Европы, по крайней мере в области дизелестроения и транспорта, начала не страницу, а новую главу в области судостроения.

Несомненно, что настроение гнева и оскорбленной народной гордости помогло мне написать хорошую книгу. Главное же, счастливое начало приковало меня на много лет к новому литературному жанру, получившему в дальнейшем развитии название *научно-художественного*...

Вообще говоря, я и сам считал вопиющей бездарностью «раскрашивание беллетристикой», по выражению Шкловского, научно-популярных произведений, пересыпание их шуточками и прибаутками. Но я не чувствовал никакой разницы между мной — беллетристом и мной — биографом замечательных людей. Я писал о них, поставив себя на их место так же, как делал это с героями романов и рассказов, нередко прерывая работу, чтобы вытереть с глаз слезы. Ведь и каждый беллетрист, рассказывая о ком-либо, опирается не столько на свой личный опыт, сколько на чужой, часто черпаемый из свидетельств и документов...

Сорок лет назад, в начале моей популяризаторской работы, отвечая на вопрос одной анкеты, я писал так:

«Значение научно-популярной литературы огромно: оно тем больше, чем теснее связывает человечество свою судьбу с достижениями науки и техники. Советская художественная литература революционизирует душу человека, советская научно-популярная литература революционизирует мышление человека. Художественная литература учит, как жить; научно-популярная литература учит, как мыслить».

Я остаюсь верен этому определению до сих пор. Не потому, что оно мое, а потому, что оно отвечает и хорошо известным взглядам А.М. Горького на то, что «в нашей литературе не должно быть резкого различия между художественной и научно-популярной книгой»; и по-толстовски чудесному определению Льва Николаевича: «не то дорого знать, что Земля круглая, а то дорого знать, как люди дошли до этого»; и знаменитому утверждению Пушкина: «следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная». «Что же и составляет величие человека, как не мысль!» — писал он в другом месте.

Статья Горького «О темах» появилась 17 октября 1938 года одновременно в «Правде», «Известиях» и «Литературной газете» уже после первого издания моей книги.

«Прежде всего — и еще раз! — писал Горький, — наша книга о достижениях науки и техники должна давать не только конечные результаты человеческой мысли и опыта, но вводить читателя в самый процесс исследовательской работы, показывая постепенно преодоление трудностей и поиски верного метода... Науку и технику надо изображать не как склад готовых открытий и изобретений, а как арену борьбы, где конкретный живой человек преодолевает сопротивление материала и традиции».

Оказывается, я не только предвосхитил заповеди Горького, но и следовал им!

Редактор «Энергоиздата» С.М. Лосев спросил меня, не возьмусь ли я написать книгу, подобную «Дизелю», о конструкторах паровых турбин: Парсонсе¹⁴², Лавале¹⁴³, Рато¹⁴⁴, Целли, Картинге? Речь шла о полдюжине людей разных национальностей, разных характеров и неодинаковых достоинств. Но в этой сложности была прелесть творческих и организационных трудностей.

Впрочем, по опыту первой своей работы я знал, что ни одно обращение к европейскому ученому или инженеру не останется без ответа. Я разослал всюду, куда придумал, свои запросы; в ответ последовал поток писем, брошюр, рукописей, оттисков, каталогов, фотографий и даже целых посылок. Одни исполняли товарищеский долг; других манила даровая реклама предприятиям, связанным со строительством турбин. Очевидно, и письма мои внушали доверие. Англичане, командовавшие заводами Парсонса, сначала именовали меня «мистером», затем начали добавлять почетный титул «эсквайра» и кончили тем, что стали величать меня «профессором».

Работать было легко и весело. Я вспоминал только с горечью, как, наоборот, трудно получить у нас, русских, от директоров, от предприятий самую простую справку или помощь...

«Творцы паровых турбин» вышли в 1936 году.

Потока материала, полученного и добытого мною, хватило бы на пять отдельных биографий. Самым интересным и поучительным жизнеописанием я считал биографию Густава Лавалья и сказал о ней А.Н. Тихонову. На мое счастье, это имя оказалось в списке серии «Жизнь замечательных людей», и я принялся за работу. В сущности, продолжил работу. В том же году «Густав Лаваль» вышел в свет.

INSTITUT

DE FRANCE

ACADÉMIE



DES SCIENCES

Paris le 10 janv. 19 35.

Les Secrétaires perpétuels de l'Académie des sciences à Monsieur Leo GUMILEWSKI, à Moscou.

Monsieur,

Par lettre en date du 23 décembre 1934, vous nous demandez des renseignements au sujet de l'iconographie et de la biographie de notre regretté Confrère, Auguste RATEAU.

Nous avons l'honneur de vous faire savoir que l'Académie possède, dans ses Archives, une photographie de cet illustre Savant. Nous vous autorisons bien volontiers à la

*Первая страница письма от 10 января 1935 г.,
отправленного из Постоянного секретариата
института Франции при Французской академии наук
в ответ на запрос Л. Гумилевского от 28 декабря 1934 г.
о возможности получить биографические сведения
об известном французском инженерере Огюсте Рато
и его портрет.*

Я держался с моими корреспондентами по-европейски: как только выходили книги, я тотчас рассылал их всем, чьей помощью или советами пользовался. Пошел в Швецию и «Лаваль».

Августовским утром, когда я еще спал, разбудил меня почтальон. Вошла девушка с большой сумкой. Она положила на стол тяжелый пакет из толстой желтой бумаги с огромными сургучными печатями по углам. Я расписался в почтовой книжке, но девушка медлила, дожидаясь, когда я распечатаю пакет. Она изнемогала от любопытства не меньше, чем я. Я выдержал пытку и, только проводив ее за двери, разрезал пакет.

Из пакета выпала круглая коробочка. В коробочке, прикрытая ватой, лежала медаль, выбитая в честь Лавали Королевской Шведской инженерной академией. На лицевой стороне — изображение Лавали; на оборотной — великолепно сделанный Прометей, приносящий огонь жителям Земли и преследуемый молниями Громовержца.

Сопроводительное письмо директора Академии написано пошведски. Но для моей взволнованности достаточно было и медали.

Я уложил медаль, письмо и конверт с печатями на дно портфеля, набитого с вечера продуктами, и поехал на дачу. Жена шла меня встречать, мы сошлись на полпути в светлом лесу, и я стал ей рассказывать о великолепном подарке судьбы.

Я указал на портфель. Она остановилась в том прелестном нетерпении, которое так поразило меня, когда мы приехали с ней впервые в Петроград.

— Я хочу посмотреть, покажи.

Я достал пакет, коробочку и письмо. Она посмотрела на красные королевские печати, достала коробочку и долго рассматривала превосходно выполненную бронзу с еле видимой подписью художника. Потом сказала тихо:

— Ну, пойдем. Там нас ждут...

Мы жили то лето вместе с Вольфом, на даче у его свояченицы. По воскресным дням мы приезжали к женам с продуктами, а потом купались, фотографировались и спорили. В тот день я был похож на именинника, и меня все поздравляли.

Я ощущал в самом себе какую-то новую привязанность к действительности. Об этом очень верно написал в статье о моих книгах Андрей Платонов.

4

Рано и поистине безвременно умерший Андрей Платонов, кажется, единственный советский писатель, еще при жизни названный гениальным — названный так писателями же, и не шепотом, наедине, а вслух на широком собрании Федерации советских писателей.

Отвечая генеральному секретарю Федерации Авербаху на истерические вопли о «буржуазной опасности в литературе», Виктор Шкловский спокойно сказал:

— Вы хотите переделать Платонова? Вы его не переделаете, его нельзя переделать, потому что Платонов — гениальный писатель!

Это, конечно, гамбургский счет, счет не для публики, а для себя. На такой счет не мог оказать влияния и резкий отзыв И.В. Сталина о рассказе Платонова «Впрок», напечатанном в «Красной нови».

Писавший под именем Платонова Андрей Платонович Климентов был по происхождению рабочим, по образованию инженером, а по глубокому пониманию творческой техники — конструктором и изобретателем.

К технике Платонов относился с человеческой нежностью, подобно героям его, которые тонко понимали, что «к металлу и механизму нужно относиться гораздо более чувствительно, чем к зверю или растению, потому что тех можно, действительно, перехитрить и они тебе сдадутся; их можно ранить и на живом заживет. Машина или рельс на хитрость не даются, их ранить нельзя, на них не заживет; они лопаются насмерть».

Кажется, что и сам Андрей Платонович, как один из его героев, «даже дверь закрывал не с размаху, а бесшумно и деликатно, чтобы не тревожить железных петель и не расшатывать в них шурупов».

Выдумываемые Платоновым стрелочники и машинисты были в какой-то мере родственны реальным людям моих биографических произведений. Вероятно, поэтому однажды вечером Сергей Федорович Буданцев объявил мне по телефону, что накануне, расхаживая по Тверскому бульвару, он провел вечер с Платоновым, и разговор у них сосредоточился на творческой технике в моих книгах о Дизеле и Лавале.

— Платонов будет писать о вас большую статью в «Литературном критике»¹⁴⁵, — сказал он, — вам надо с ним познакомиться. Мы уговорились встретиться завтра у меня. Приходите!

Это было осенью 1936 года.

Буданцев любил время от времени устраивать у себя литературные встречи. Как и у Пильняка, они носили несколько салонный характер, когда хозяин и хозяйка направляют разговор, не давая ему разбежаться в разные стороны, а гости чувствуют себя как в Доме Герцена за ресторанным столиком, ожидая ужина. Мы успели с Платоновым только договориться о том, чтобы встретиться у него на другой день. Он просил меня принести ему другие мои книги и какой-нибудь материал о себе. Остальную же часть вечера мы вели себя как в салоне, подчиняясь дирижерским указаниям хозяина.

Разглядел я Платонова только на другой день, когда принес ему книги. Он был тих и приветлив, говорил негромко, двигался осторожно и ни в чем не торопился. Когда я вошел, он сидел за высоким шведским бюро и писал на стандартных листах бумаги, карандашом, без поправок и так, что строчки к концу листа постепенно отступали от левого поля и ложились, скашиваясь вправо книзу. Он был хорошо одет, как будто для выхода из дома, но видно было, что заботу о его одежде взял на себя кто-то другой.

Черты некоторой старомодности — от карандаша в руке до скромности в каждом слове, в каждом движении — проскальзывали везде, и до сих пор Платонов представляется обобщенным портретом революционных демократов шестидесятых годов прошлого века.

Я чувствовал себя будто бы в гостях у Белинского или, по крайней мере, у Добролюбова и из всех сил старался объяснить критику, как я смотрю на литературу, посвящаемую людям науки или техники, в чем вижу ее значение и отличие от научно-популярной и биографической литературы прежнего времени. Дело это было новое, я сам еще в нем до конца не разобрался и говорил путаясь, не находя слов для ясного выражения мысли, говорил долго и, решив, что вконец извел человека, встал с извинениями за бестолковость.

— Нет, я все понял, Лев Иванович, я вам позвоню, когда статья будет готова! — спокойно отвечал Андрей Платонович, складывая в стопку принесенные мной книги. — Я с удовольствием прочту все.

Дня через три он читал мне свою статью, подкладывая один под другой исписанные карандашом с косыми к концу строчками

листы. На слух я понимаю с трудом, читал же Платонов глухо и быстро, так что статья не произвела на меня особенного впечатления, и я ограничился благодарностью.

— Да нет, что же я тут, — смущенно прервал меня хозяин, — редакция заказала статью, я написал.

Я думаю, что ссылаясь на заказ редакции Андрей Платонович из деликатности, предложил он, вероятно, сам эту тему.

Статья Платонова «Книги о великих инженерах» появилась в февральской книжке «Литературного критика» за 1937 год. Когда я остался с нею один на один, Платонов раскрылся мне в хорошо знакомом нам всем ощущении, охватывающем каждого при встрече с гением: да ведь это все то самое, что я сам знал, да только не сказал!

Платонов писал:

«В чем состоит Новость, которую Гумилевский внес в советскую литературу своими книгами? В том, что он начал энергично осваивать еще не обжитые места человеческой души: инстинкты технического творчества, профессиональное чувство, технологическое ощущение природы. Для этого прежде всего самому автору пришлось серьезно переучиться, стать в некоторой мере инженером, открыть в своем сознании неизвестные дотолем силы новой привязанности к действительности. Ведь писателю не требуется учиться писать о любви, о бытовом состоянии людей, о психологическом процессе и т.п. Этот опыт, хотя и в разной степени, но обязательно приобретает каждый человек; само течение жизни наносит в душу писателя этот материал. Но для того чтобы написать как о душевной драме о том, что поршень заедается в цилиндре, для этого рядового, «автоматического» житейского опыта недостаточно: требуется затратить добавочные и немалые усилия».

Пораженный глубиной собственно платоновского мышления, точностью, ясностью и лаконизмом его формулировки, я много и долго думал по этому поводу. И прежде всего я понял, что для того чтобы ощутить покоряющее своеобразие Платонова, надо не слушать его в чтении и даже не только читать самому, а переписывать всего от начала до конца, как списывают дети со школьных прописей на уроках чистописания.

Платонов не отражал жизнь, как другие писатели: он творил ее из реального житейского материала по своему образу и подобию, как легендарный бог Саваоф.

Он создавал свою собственную действительность, и она часто казалась загадочной, странной и даже уродливой для тех, кто знал только натуральную, общедоступную действительность и не искал другой.

...В суровые годы войны, эвакуации, пайков, оперативных сводок и военных рассказов, в томительном ожидании каких-то выдач в холодном вестибюле Дома литераторов присел я у столика дежурного. На столе лежала свернутая в трубку рукопись, очевидно, предназначенная для передачи кому-то. Чтобы хоть чем-нибудь занять себя, я взял ее и по карандашным, косым к концу листа строчкам, узнал руку Платонова. Рассказ назывался «Броня». От нечего делать я стал читать:

«Саввин был пожилым моряком, он служил инженером-электриком на одном нашем черноморском крейсере. В морском сражении его ранило в ногу, и он залечивал рану в тихом, далеком тылу. Он был моряк старый, храбрый и добрый; небольшого роста, он раздался, однако, в ширину — в прочные кости и мускулы, не потратив силы в напрасный рост вверх. Слегка багровое лицо его, точно навсегда заржавленное, постоянно имело угрюмое выражение, сохраняя невидимыми за мрачным лицом доброту его сердца и кроткий нрав...»

Оглядываясь на свое место в очереди, медленно подвигающейся к киоску с папиросами, я читал бегло, ловя не слова, а строчки и страницы, читал без внимания и сосредоточенности, следя лишь за событиями. И вдруг я вздрогнул, ошеломленный действием каких-то слов, вздрогнул не метафорически, а самым реальным образом.

Это было удивительно, неожиданно и непостижимо. Возвратившись к только что промелькнувшей перед глазами фразе, я стал думать, почему именно от этой фразы я вздрогнул, что могло в ней быть необыкновенного при всей ее обыкновенности? Речь шла о том, как Саввин храбро уничтожил несколько фашистов, расположившихся в школьном здании разграбленного ими села. Эпизод этот заканчивался так:

«У входа в школу лежал навзничь мертвый часовой. Крестьянка взяла его за ноги и поволокла, чтобы его тут не было».

Обычно ведь никто так не говорит и не пишет, ибо, если что-нибудь выносится, то, разумеется, для того, чтобы не было того, что выносится, выволакивается или выкидывается. Зачем же здесь

дописано: «чтобы его тут не было»? И почему именно это «чтобы его тут не было» заставило меня вздрогнуть?

Если бы я сам не был писателем, я удовлетворенно сказал бы себе: «Талант!» — и не искал бы никаких объяснений.

Но тут дело было не в «таланте», а в новом литературном приеме, которого я не встречал ни у кого раньше, в замене логической истинности, допускающей разночтения, фактической истинностью данного случая, единственного, неповторимого.

Рассказывая о молодой женщине, проводившей своего мужа на фронт, Платонов пишет, что она на другой день «еле-еле умылась, поплескала немного водой на лицо и больше не заботилась о красоте своей наружности. Ей не хотелось тратить время на что-нибудь, кроме чувства любви», — хотя всем известно, что любовь — чувство, а умываться — значит заботиться о наружности.

В рассказе «Родина электричества» у Платонова читаем: «я ужинал и одновременно снимал с себя рабочий пиджак и лапти, чтобы после ужина на мне оставалось мало одежды и сразу можно было лечь спать», — хотя само собой разумеется, что пиджаки и лапти снимают для того, чтобы оставалось мало одежды.

Но вот строчка из «Грозы»: «Взяв брата снова на руки, утешив его, Наташа взошла с ним на возвышенность кургана».

Если бы девочка взошла не на возвышенность кургана, а просто на курган, как написал бы любой из нас, ощущение тяжелой ноши на руках у девочки исчезло бы.

Мы привыкли опускать из нашей речи то, что само собой разумеется по логике вещей, и не замечаем, как вместе с опусканием слов, сигнализирующих то или иное непосредственное восприятие, опускается и представление, с ним связанное. Художественное, остро конкретное мышление постоянно и зорко наблюдающее за тем, чтобы непосредственное восприятие действительности было сигнализировано словами, его заменяющими, не может мириться с потерей представления, а стало быть, и слов, дающих это представление.

Вот эта замена логической истинности фактической и придавала удивительную силу самым простым, самым обыкновенным словам: «Крестьянка взяла его за ноги и поволокла, чтобы его тут не было».

Кто-то из писателей или редакторов, обращая внимание Андрея Платоновича на эти обыкновенные слова, объясняющие то,

что и без объяснений всем понятно, назвал их лишними и в поучение писателю процитировал Пушкина: «точность и краткость — вот первые достоинства прозы».

— В погоне за краткостью американцы свели «Анну Каренину» на уровень своих «комиксов», — спокойно отвечал Андрей Платонович. — Но это уже не литература.

При мне происходил однажды разговор Платонова с редактором журнала по поводу рассказа «Родина электричества». Обращая внимание автора на фразу: «глубокие трещины образовались в полях, в теле земли, похожие на провалы меж ребрами худого скелета», редактор заметил:

- Но ведь толстых-то скелетов не бывает?
- Не бывает, — согласился автор.
- Может быть «худого»-то лучше вычеркнуть?
- Ни в каком случае!
- Почему же?
- Потому, что так надо!

Редактор пожал плечами, но «худого» оставил.

Толстой указывал В.Г. Черткову по поводу исправленной им рукописи:

«Ваше изложение проще, но и в нем есть недостатки, не в форме, главное, а в содержании. Например: жаба лежит брюхом кверху, а потом говорится, сейчас же, что она потащилась дальше. Нужно непременно сказать, как она перевернулась опять спиной кверху. Вот поправки, которые важны по форме. И когда есть то внимание, или как хотите назовите, которое позволяет видеть это, тогда язык будет хорош».

Как у всякого гения, у Платонова были свои предшественники, но замену логической истинности — фактической в полную меру оценил и разработал только он.

Еще академик Л.В. Щерба¹⁴⁶ указывал, что когда чувство нормы воспитано у человека, он начинает понимать «всю прелесть обоснованных отступлений от нее». Грубые, необоснованные отступления от норм языка, вызывают недоумение и брезгливость. У Платонова бездна отступлений от привычных языковых норм — и на каждом шагу, в каждой фразе, в каждом выражении — и они все обоснованны, все прелестны. Но чтобы полностью понять и почувствовать всю прелесть их, надо собственными руками, неторопливо переписать каждую фразу, каждый абзац, как это делали мы.

Признанием и своим огромным влиянием на писателей Платонов обязан своему писательскому своеобразию, тому своеобразию выражения, которое еще Гёте считал «началом и концом всякого искусства». Если найдется хоть один современник Платонова, который, положа руку на сердце, скажет, что он не учился у Платонова, то можно с уверенностью предположить, что ему вообще бесполезно учиться.

Вручение Нобелевской премии по литературе Эрнесту Хемингуэю побудило шведского журналиста спросить лауреата:

— Кто из писателей оказал на вас наибольшее влияние?

Он ответил:

— Русский писатель Андрей Платонов! Трудно найти и советского писателя, не испытавшего на себе влияние Платонова.

Литературное значение Платонова не соответствовало его малой известности среди широких кругов читателей. Вмешательство И.В. Сталина в писательскую судьбу Платонова поставило его до конца жизни в тень, почти под запрет, и в сущности после смерти началась заново его писательская жизнь.

Характерно, что, подвергаясь иногда нападкам критики за так называемые «идеологические срывы», Платонов не слышал упреков за свое художественное своеобразие даже тогда, когда он явно вступал в противоречие с обычной логикой: такова покоряющая сила своеобразия, такова пленительная логика художественного мышления!

Люди с резко выраженным типом художественного мышления являются в мир нечасто. Их своеобразие растет вместе с человеком, в результате самых разнообразных влияний и, прежде всего, в результате художественного мышления. Такое органическое своеобразие художника не имеет ничего общего с кривым своеобразием, скажем, Андрея Белого или Ремизова.

Алексей Максимович Горький, мы знаем, глубоко верил в мощь науки. Это он написал Федину:

«Критикам следовало бы заглянуть в работы И.П. Павлова о рефлексгах, и опыты Павлова с собаками, пожалуй, помогли бы критикам более толково рассуждать о том, как создается искусство».

К попыткам моим приложить науку для объективного анализа явлений литературы Андрей Платонович относился иронически. Великий мастер дружеских надписей, он написал мне на одной своей книге: «Мудрецу и учителю от еретического ученика».

Андрей Платонович многое в жизни воспринимал иронически, с большой долей скептицизма.

5

К произведениям Платонова полностью, как ни к чему другому, приложимы слова В.И. Ленина, сказанные им А.М. Горькому по поводу «эксцентризма» западноевропейских театров начала нашего века:

«Тут есть какое-то сатирическое или скептическое отношение к общепринятому, есть стремление вывернуть его наизнанку, немножко исказить, показать алогизм обычного. Замысловато, а — интересно».

Никто не догадался посмотреть на «эксцентризм» Платонова по-ленински.

Отсюда — все горести и бедствия гениального русского писателя: от презрительной клички «юродствующего» до прямого обвинения в классовой враждебности.

Художественная простота и ясность мышления были как бы прирожденными Платонову. И все же нашелся вопрос, на который не сумел ответить и Андрей Платонович.

Как-то он попросил меня дать ему всю мою беллетристику.

— Я хочу разобраться, — пояснил он с милой улыбкой друга, — чего вам не хватает, в чем там дело!

Книги он прочел, но когда я вопросительно взглядывал на него, он говорил:

— Я еще не разобрался.

Однажды он прибавил:

— Я думаю, главное, что вы чересчур доводите до конца свою мысль, а читателю додумывать ничего не остается.

Это было нечто конкретное, но об этом недостатке моей беллетристики я уже знал. Знал я и то, что горе беллетриста обращается в счастье автора научно-художественной литературы. Ничего другого Платонов в моих ранних книгах не открыл, убедив меня в том, что и гению «с голыми руками» не разобраться в сложных вопросах искусства.

У И. Эренбурга в воспоминаниях есть рассказ о том, как он работал над своим первым романом «Хулио Хуренито». Оказывается, писалось ему так легко, как будто «кто-то диктовал ему, стоя сзади».

Об этом стоящем сзади и диктующем писал еще Э. Золя в статье о писательском своеобразии, характеризуя литераторов,

которые пишут когда угодно, о чем угодно, пишут гладко, красиво, многословно, никого не волную, ничему не научая, не оставляя после себя никакой памяти.

Кто же этот стоящий сзади и диктующий нам с такой готовностью, что мы едва успеваем за ним, даже пользуясь всеми средствами новейшей техники? Это — наша начитанность, это те тысячи, десятки тысяч прочитанных книг, выработавших наш стиль, наши приемы, нашу литературную ординарность.

Счастье Платонова было в том, что он читал очень мало в период своего писательского возрастания, а в зрелом возрасте уже мог противостоять воздействию классического литературного языка. Он остро чувствовал литературную стандартность и мог, к великому моему ужасу и недоумению, сказать, когда разговор зашел о Чехове:

— Я его не люблю!

И потому-то он оставался своеобразным, хотя писал без помарок и поправок: великое своеобразие писателя пришло к нему естественно и просто, как сама жизнь.

Как-то вечером я застал Платонова с книжкой «Нового мира» в руках, развернутой на отделе рецензий. Откладывая книгу при моем появлении, Андрей Платонович сказал:

— Не понимают у нас стихов и писать о них совершенно не умеют.

Мне вспомнилось одно стихотворение, напечатанное в каком-то железнодорожном журнале. Такие журналы наш «Приволжский Красный Путь» получал в обмен со всех дорог. Кажется, это был журнал, издававшийся в Воронеже, где стихами заведовал В.И. Нарбут. Стихотворение тогда поразило меня чем-то, быть может, антилитературностью, резкостью форм, и я запомнил из него четыре строчки, показавшиеся мне образцом поэтических неудач.

— Да ведь и стихов-то у нас писать не умеют, — отвечал я в тон Платонову. — Вот, например, послушайте-ка, какие бывают стихи!

И я прочитал четыре строчки из того стихотворения.

Лает пес осиротелый.
Лает с ничего,
Позабыв, что околела
Сука — мать его.

Андрей Платонович как-то странно, внимательно посмотрел на меня, точно подозревал какую-то мистификацию, а затем, убедившись в моей искренности, сказал просто:

— Лев Иванович, ведь это мои стихи!

Я не знал тогда, что Платонов писал в юности стихи и даже выпустил книжку, но вспомнил, что он жил в Воронеже, и, растерявшись, не знал, что сказать. А он спрашивал, ожидая ответа:

— Что же тут плохого?

— Ну как же, Андрей Платонович, можно так писать: сука, мать его... Ведь это получают матерные слова, разве вы не слышите?

— Ну, этого я не заметил. А еще что?

— Как что? Вы пишете: воеет с ничего! Но по-русски так ведь не говорят. Говорят ни с чего!

— Ну, можно и так! — упорствовал он.

В неожиданной твердости его слов я почувствовал непреодолимое убеждение в том, что можно и так, как подсказывает его художественное чувство.

Платонов писал как бог на душу положит. Созданный веками литературный язык Пушкина и Тургенева, Толстого и Чехова для Платонова не существовал. Он не выдумывал новых русских слов, не сочинял выражений, как Лесков или Маяковский, не прибегал к словарю Даля, как Ремизов. Он не страдал начитанностью и сзади него никто не стоял. Слова сами охотно бежали к нему, и, командуя ими, он расставлял их не так, как общепринято в литературе.

В России и ранее были писатели, в силу каких-то причин полностью не усвоившие норм литературного языка. Таков, например, Гоголь, украинец по рождению и воспитанию, — он постоянно нарушал наши нормы. В «Мертвых душах», очищенных от редакторских исправлений, мы читаем «ребенки», «носовые отверстия» и т.п. Он без смущения писал: «Писатель — творец, творит свое творение...» Таков Тютчев, всю жизнь говоривший по-французски, а по-русски писавший так: «сумрачный свет звезд», «каким бы строгим испытаниям вы не были подчинены...», «нам все мерзит». Таков Герцен, великолепный художник, ученый и философ. Из находок философов, художников и ученых, из удач и остроумий англичан, французов и русских друзей он создал словарь, единственный и неподражаемый.

И, как это ни странно на первый взгляд, именно отступления от общепринятых норм русского литературного языка создают неповторимую прелесть произведений таких писателей.

Как уст румяных без улыбки,
Без грамматической ошибки
Я русской речи не люблю... —

шутливо признается Пушкин. Но уже совершенно серьезно пишет Тургенев о Герцене: «Язык его, до безумия неправильный, приводит меня в восторг».

Отвечая одному начинающему автору, Толстой замечает: «Я люблю то, что называют неправильностью, — что есть характерность».

Да и кто из нас не испытывал удивительного наслаждения от неправильностей языка маленьких детей, еще не усвоивших норм языка.

О Платонове один писатель сказал мне:

— Не понимаю, что у него хорошего. Вы читали его «Путешествие воробья»? Там у него написано: воробей ходит...

Да, по-русски так не говорят. Воробей прыгает, летает, но уж никак не ходит. Но ведь это платоновский воробей, важная персона, слушающая музыку у памятника Пушкину, и ему, конечно, приличнее ходить, чем летать и прыгать.

Отступление от нормы совершенно оправданно.

Переписывающая какую-то сказку Толстого Софья Андреевна пришла к Льву Николаевичу:

— Не могу разобрать вот это слово, — объяснила она, показывая рукопись, — что это написано: король ходил?

— Да, да, король ходил! — подтвердил Толстой, улыбаясь: он догадался, что Софье Андреевне не нравится слово, принижающее королевское достоинство, и она деликатно намекает, не исправить ли это место?

У Толстого, как и у Платонова, было немало редакторов, но оба они упрямо отстаивали право писателя по-своему видеть, по-своему изображать, по-своему бороться с автоматизмом читательского восприятия.

Платонов нашел, открыл новые изобразительные средства.

Это и есть гениальность.

Алогизм, то есть недоверие и даже отрицание логического мышления как средства постижения истины, свойствен в какой-то мере каждому художнику, иначе он не стал бы описанием менять на изображение. Но Платонов был алогичен и в науке, и в технике, и в жизни.

О великом инженере Рудольфе Дизеле он пишет:

«Высокое сжатие, замедленное, а не мгновенное сгорание топлива в среде с избытком воздуха (для данного количества топлива) — все это вещи, которые характеризуют Дизеля не только как техника, но и как человека, проникшего в действительную физическую «тайну вещей». Почему, например, наилучшее сгорание происходит в среде с избытком воздуха? Маленький инженер (и небольшой человек) обязательно бы точно рассчитал, сколько нужно воздуха для сжигания стольких-то граммов нефти, и убедился бы впоследствии на опыте, что топливо сгорает дурно и не полностью. Он не сумел бы вообразить всей игры природы в каждом отдельном случае, неравномерного распределения воздуха в каждом замкнутом (и незамкнутом) сосуде, всей индивидуальной, однократной жизни действительности, — он бы рассчитывал то, чего рассчитывать не нужно и нельзя, он использовал бы научную технику с излишним обобщением, он бы приписал ей силу большую, чем она имеет, и он упростил бы природу, вместо того, чтобы поучиться у нее».

Высоко ценимый Платоновым, чуть ли не обожаемый, Салтыков-Щедрин писал: «Первое и самое обязательное условие для каждого писателя-художника — это стоять, по малой мере, на одном уровне с изображаемым лицом». Платонов всегда и везде соизмерим — и не в малой мере — с изображаемыми им лицами. Он постоянно выше их и как инженер, и как художник.

Объяснимся на примере самого Платонова, пользуясь его же алогическим путем.

Гениальный художник (и большой человек) не приписывает грамматике и синтаксису большей силы, чем они имеют, и следует вечному правилу Бетховена: можно нарушить любой канон, если вещь станет от этого лучше. Он представляет индивидуальную, однократную жизнь слова в каждом отдельном случае действительности и не упрощает природу, а учится у нее.

Поистине, все гениальное просто.

Ответы Платонова на, казалось бы, самые сложные вопросы поражали меня своей простотой, ясностью, здравым смыслом.

Я всегда испытывал некоторую робость перед новой темой, за которую брался, перед новым характером книги. Последней книгой, которой я занимался перед войной, была «Железная дорога». Я пошел к Платонову и рассказал о моих затруднениях.

— Договор есть, а вот как ее писать — не знаю!

— Да ведь и никто не знает, Лев Иванович! — ответил он.

Маленький писатель и небольшой человек обязательно посоветовал бы мне что-то почитать, что-то посмотреть, того-то взять в пример и к тому-то обратиться. А последовавши такому совету, я убедился бы впоследствии, что книга не вышла.

Тонкое инженерно-техническое понимание свойств внешнего мира порождало в уме Платонова множество идей, не всегда фантастических. Не менее тонкое и глубокое понимание свойства слова лежит в основе стилистического своеобразия и художественной простоты Платонова.

Вырастающее вместе с писателем органическое своеобразие прячется от равнодушных глаз, оставляя лишь непонятную, бог весть отчего происшедшую черту в нашем уме и сердце.

Такую черту Платонов оставил, должно быть, и в сердце Сталина, потому что, через много лет после своего грубого вмешательства в судьбу писателя, И.В. Сталин, приехав к Горькому, где для встречи с ним собрали нескольких писателей, прежде всего спросил:

— А Платонов здесь есть?

Платонова там не было, там собраны были руководящие товарищи из Союза писателей. На всякий случай некоторые из этих товарищей, после вопроса Сталина, поспешили навестить Платонова, узнать, как он живет, что пишет, в чем нуждается. Но так как Сталин к своему вопросу ничего не добавил, а спросить, почему он вспомнил именно о Платонове, никто не осмелился, то в жизни Платонова все осталось по-прежнему. Книг его не издавали, рассказы не шли дальше еженедельников, главным же образом работал он как критик и рецензент в «Литературном критике» и «Литературном обозрении». Памятью о первых и громких успехах у него оставались только квартира в две комнаты на Тверском бульваре в нижнем этаже одного из флигелей Дома Герцена да гранки не пошедших в печать рассказов, верстки не разрешенных цензурой книг.

Помню хорошо содержание одного отрывка из романа или повести, оставшейся в верстке у автора. Читал сам Андрей Платонович, читал по-писательски, безвыразительно, без игры в лица, едва меняя интонации. Речь шла о проворной, деятельной старушке Федератовне, председателе колхоза. Дела у нее шли нехорошо, а между тем отовсюду доносились к ней слухи о великом благополучии колхозников из соседнего колхоза, где председателем был какой-то Иван Петрович. Долго крепилась Федератовна, но наконец решила идти на поклон к соседу, просить совета,

как ей поправить дела в своем колхозе, узнать, в чем секрет Ивана Петровича?

Время было знойное, рабочее, но Ивана Петровича разыскивать не пришлось. Он мирно одиночествовал в правлении счастливого колхоза. Перед просторной избушкой, где помещалось правление, ходил по кругу, вращая какое-то сооружение, ленивый бык. От непонятного сооружения тянулись в избу ременные шкивы.

Федератовна прошла в тихую горницу и тут увидела самого председателя. Он сидел за большим столом и читал через очки толстую книгу в кожаном переплете. На углу стола негромко журчал вентилятор, опаживавший председателя приятным холодком. Вращал вентилятор ходивший по кругу ленивый бык.

Федератовна поздоровалась, присела к столу и рассказала, зачем пришла:

— Уж не таись, батюшка, скажи, что ты такое делаешь, что не нахвелятся тобой твои мужики?

— А я, матушка, ничего не делаю, — отвечал он, — читаю вот Историю Ивана Грозного от любопытства своего. А в колхозе у меня действительно порядок.

— Как же ты его организовал, батюшка?

— А вот как, матушка: у меня весь колхоз разделен на секции. В каждой секции у меня по одному хозяйству и все секции — автономны...

Пока я до слез хохотал, Андрей Платонович с тихой умиротворенной улыбкой сложил трубкой лохматые листы верстки и бросил в открытый ящик старинного серванта.

Сатирическое начало в этом тихом, по-чеховски деликатном и снисходительном человеке было очень сильно. Недаром он так любил из всех писателей Салтыкова-Щедрина и не случайно ему так удавалась литературная критика. Без единого грубого, тем более бранного слова его рецензии могли уничтожить плохую книгу. Иногда убивало одно заглавие. Небольшую заметку о неудачном романе из колхозного быта Платонов назвал так: «Страдания молодого колхозника».

При всем том рецензируемые книги вставали в отзывы Платонова во весь свой рост. К тому, что бывало сказано Платоновым, другие критики часто не находили что добавить и только повторяли его мысли.

«Индустрия социализма» заказала статью о тех же моих книгах Я.С. Рыкачева¹⁴⁷, сотруднику журнала и тонкому критику.

Перед тем как писать, он прочитал статью Платонова и удивил всех явным подражанием. Когда ему указывали на это, он отвечал честно:

— После Платонова нельзя уже сказать ничего другого, — я не мог, во всяком случае!

Критика Платонова печаталась охотно и обильно, так что ему приходилось прибегать ко множеству псевдонимов. Но когда «Советский писатель» рискнул выпустить отдельным изданием критические статьи Платонова — «Размышления читателя», — профессиональные литературоведы встали на дыбы и добились запрещения книги и уничтожения всего тиража. Кампанию начал и провел до конца тогдашний редактор «Литературной газеты» В.В. Ермилов¹⁴⁸.

...Знакомство Ермилова с Платоновым началось с безудержного преклонения перед новым талантом и закончилось грубым преследованием после сталинского отзыва.

Статьи Ермилова по поводу «Размышлений читателя» имели даже внешне неприличный и беспринципный вид: он посвящал писателю целые полосы в своей газете!

Платонов на все человечество смотрел, как смотрит взрослый на игры детей, усаживаясь с ними делать песочные пироги. Он не скрывал иронического отношения к собственной деятельности, но от грубости, нечестности, измышлений своих противников он страдал.

— Если бы теперь пришлось начинать жизнь, то я был бы летчиком! — сказал он однажды.

Он сидел за маленьким столиком у меня на улице Фурманова и глядел в окно, задумчиво, точно в морскую даль. Мы все в минуты огорчений и обид клянем свои профессии, чтобы благословлять их при первой удаче. Но Платонов был искренен. Я думаю, что писатель и инженер, критик и конструктор до конца жизни боролись в нем. В самом начале войны он сделал заявку на чрезвычайно интересный аппарат, в виде своеобразной форсунки, для сжигания газового топлива...

Изобретение было засекречено, что с ним случилось, я не знаю, но мне кажется, что Платонов, может быть, и не стал бы Платоновым, если бы не был инженером. Инженер помогал писателю проникнуть в таинственную сущность искусства, в тайну слова. Писатель помогал инженеру проникнуть в сущность творческой техники.

Простота, ясность, бесстрашие мысли сопровождали Платонова повсюду. Он везде оставался самим собою. Раз как-то он приглашал меня приехать к нему на дачу, где-то под Москвой. Сердясь на самого себя, я говорил:

— Ну что с собой делать, Андрей Платонович! И хочется поехать, а вот подите же — не могу преодолеть своего проклятого стереотипа и не обещаю, а в конце концов не поеду!

Он ответил своим тихим голосом:

— Да ведь, вероятно, вам так лучше, Лев Иванович!

Кто бы в ответ на мои бесполезные причитывания не нагромоздил бы кучу доводов, советов, упреков, цитат из всех источников, от Плиния Младшего¹⁴⁹ до Саркисова-Серазини включительно?

Однажды я все-таки преодолел свой стереотип и отправился с Андреем Платоновичем за город, куда-то между Тарасовкой и Мамонтовкой, на дачу к Давиду Самойловичу Ясиновскому.

Андрей Платонович знал дорогу нетвердо: мы долго плутали по дачному поселку, где нет никаких примет и все одинаково: улицы, просеки, домики, изгороди. Заспанные собаки с любопытством просовывали морды в просветы штакетника, лениво лаяли, но чаще только предупредительно ворчали, не видя у прохожих ни палки в руках, ни почтовой сумки за плечами.

— У собак никогда не бывает туберкулеза, — заметил Андрей Платонович. — Вы знаете это? В деревнях чахоточные пьют собачий жир.

Он шел несколько впереди, вспоминая дорогу, шел легко и стройно, но иногда вдруг задумывался и опускал голову. Начинались последние годы его жизни, он, видимо, знал об этом, но молчал, не искал сочувствия и больше всего боялся нечаянно вызвать его.

Он вообще не любил говорить о себе, никогда не вспоминал события детства и юности. От постороннего человека случайно я узнал, что у Платонова есть брат в Москве, деловой человек, инженер, и братья, как братья, хорошо встречаются и любят друг друга. Так же случайно я узнал о переписке с Горьким. Я просил Андрея Платоновича показать мне письма, он ответил:

— Да там нет ничего интересного...

— Но все-таки, что он писал?

— Хвалит.

Биографы Платонова не обойдутся без домыслов...

Ясиновский с утра высматривал нас с террасы своей дачи — иначе мы, пожалуй, прошли бы мимо. В бревенчатом домике в одно большое окно был уже накрыт стол. Мы стали выдумывать тосты и чокаяться литыми гранеными рюмками из толстого незвещающего стекла. Все как на даче: простая водка, черствый хлеб, холодное мясо, консервы. Окна и двери были раскрыты, на маленьком участке росли большие березы, униженные горластыми воронами.

Давид Самойлович работал тогда в журнале «Вокруг света», мы говорили о приключенческой литературе, о фантастике, о Жюлье Верне, Уэллсе и об искусстве предвиденья, а вороны каркали.

Андрей Платонович сказал:

— Великим умам будущее неизвестно!

И обыкновенный разговор поднял на высший уровень.

Андрей Платонович всегда и везде, дома и в гостях, говорил немного, ел мало, как девушка перед страхом растолстеть, никогда не пьянел, ничего не ронял на столе, и во всем этом чувствовалась человеческая породистость, которая дается не школой, не воспитанием, а чем-то совсем другим.

У меня с собой был фотоаппарат. Я предложил всем пойти в сад. Когда мы вышли на террасу и стали выбирать место для съемки, вороны на березах встревожились и закаркали прямо над нашими головами. Экспансивная натура гостеприимного хозяина не выдержала этого гвалта — Давид Самойлович вернулся в дом, через минуту вышел оттуда с ружьем, прицелился и выстрелил: шлепаясь по ветвям и листьям вдоль высокого ствола березы, одна из птиц упала на землю, другие стали перелетать на соседние деревья.

Охотник поднял мертвую птицу, положил на табуретку возле террасы. Мы подошли, Андрей Платонович сказал с гневом:

— Ну зачем ты ее убил?!

— А, надоели... — проворчал Давид Самойлович и отнес ружье в дом.

Ворона осталась на табуретке и так лежала со сложенными крыльями до вечера, а Андрей Платонович все повторял укоризненно:

— Ну зачем ты ее убил, Давид? Ну зачем?

Мы сделали несколько снимков. Все оказались передержанными. Два удалось кое-как напечатать: Ясиновский и Платонов в большом окне дачи и я с Платоновым: я — в кресле, Андрей Пла-

тонович рядом, на поручне кресла, с опущенной головой и полужакрытыми глазами. Он был действительно расстроен, угнетен убийством птицы на его глазах и потом уже до Москвы и в Москве еще не мог забыть грустный эпизод нашей прогулки.

Он любил животных и верил в их человечность.

6

Над «Заметками к Павловскому учению о слове» я работал с 1938 года в течение двадцати лет. Это значит, что все эти годы, что бы я ни делал, о чем бы ни думал, все так или иначе с Павловым связывалось, Павловым проверялось и Павлову подчинялось. Все это время, как и теперь, я находился и нахожусь под впечатлением великих откровений Павлова.

Я покупал его однотомники и раздавал своим знакомым, зная по себе, как трудно людям братья за новое, даже если оно преподносится в готовом виде, на золотом блюде. И при этом я неизменно повторял, что если бы меня спросили, какую из книг всех времен и народов я считаю самой важной, я отвечал бы: «Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей нервной деятельности (поведении) животных» академика И.П. Павлова.

— Как можно жить без Павлова? — говорил я и, пожимая плечами, добавлял: — Впрочем, можно жить и без Павлова, довольствуясь одним футболом!

Футбол постепенно становился религией человечества. Павловская же наука об условных рефлексах, по общему мнению, относилась к собакам и человека с его новой религией не касалась.

Трудно поверить, но вот два маленьких эпизода. Приглашают однажды меня в редакцию «Жизнь замечательных людей» к заведующему редакцией М.А. Лифшицу¹⁵⁰ — очень культурному, известному критику; высокая интеллигентность сквозила у него в манерах, разговоре, в самых чертах лица. Он спросил меня — возьмусь ли я написать для серии книгу о К.А. Тимирязеве?..

— А почему бы вам не выпустить книгу о Павлове? Вот о Павлове я взялся бы написать с великой охотой!

— Ну, что там Павлов, — почти с брезгливостью отвечал мой собеседник, — ну, слюна, ну, течет и течет!

Я разговор не продолжал. А через сколько-то времени М.М. Николаева, профессор фармакологического института, рассказывала мне, как после ее лекции об условных рефлексах ее остановила слушательница:

— Мария Михайловна, ну как же так, какое это имеет отношение к человеку? Ведь у человека-то слюна не течет?!

Вот при каком состоянии общественной мысли в данном вопросе начались мои попытки публиковать заметки к Павловскому учению о слове.

Естественнее всего казалось начать с «Литературной газеты», органа Союза писателей. Заведующей отделом критики тогда была Ольга Сергеевна Войтинская. Она вышла ко мне в торжественном черном платье и, возвращая рукопись, сказала:

— Павлов еще не проверен с точки зрения диалектического материализма, и цитировать его нельзя!

В дни моей юности литература, как провозвестница новых форм жизни, представлялась мне самостоятельным, независимым хозяйством, сильным и главным, и я, как все, называл печать шестой державой. А затем оказалось, что хозяйство это небольшое и подсобное, удовлетворяющее, главным образом, потребность в популяризации политических и народнохозяйственных задач дня. Тогда-то в литературу, печать, на редакторские посты хлынули женщины. В «Литературной газете» появилось так много женских имен, что как-то раз я даже решил, что номер посвящен женскому дню в литературной критике. Оказалось, что это был рядовой номер.

Предупреждение Ольги Сергеевны о недопустимости цитат из Павлова на некоторое время смутило меня. Но затем, кажется, уже в 1939 или 1940 году, когда редактором был А.А. Фадеев¹⁵¹, я повторил свою попытку.

Рукопись мне возвратили с пришпиленной к ней записочкой Фадеева: «Есть дельные, интересные и новые мысли, но много спорного, нельзя же все сводить к физиологии».

В то утро в «Правде» передовая статья посвящалась лыжному спорту. Статья указывала на военное значение лыжного спорта и рекомендовала ряд чисто практических и технических мер для поднятия лыжного спорта. Воспользовавшись случайным поводом, я написал Фадееву:

«Но почему же можно сводить высокие патриотические чувства советских людей к занятиям лыжным спортом? И разве уж так часто печатает «Литературная газета» статьи с интересными мыслями?»

Затем, полагая, что Александр Александрович просто не понял всего значения для литературной практики обращения к Павлову, я предложил ему ознакомиться со всеми моими «Заметка-

ми» по этому вопросу. К этому времени работа моя значительно продвинулась и в разработке и в объеме.

— Александр Александрович просит вас прийти к нему на прием, — сообщили мне из аппарата Союза и назначили день.

Я взял рукопись и отправился в Союз. Правление Союза помещается в старинной барской усадьбе на Поварской, теперь улица Воровского. Говорят, что этот дом на шикарной Поварской имел в виду Толстой, описывая жизнь Ростовых. Когдаходишь в полукруг дворовых служб, охватывающих старинный дом с колоннами, поднимаешься по лестнице, мимо мраморных богинь, проходишь по ковру темным коридором, становишься добрым и тихим, как в музее.

В небольшой приемной перед огромным кабинетом генерального секретаря собралось уже много народу. Секретарша записывала приходящих на разные листки: вызванных Фадеевым — на один и пришедших на прием без вызова — на другой. Я занял последний свободный стул, а народу становилось все больше и больше. Одни входили робко, отметившись у секретарши, поискав свободное местечко, становились у стены или усаживались на уступленный кем-нибудь краешек стула; другие появлялись с шумом, здоровались со знакомыми, шутили с секретаршей и начинали с кем-нибудь разговаривать громко, не замечая остальных, как в общественной уборной.

Становилось душно, томительно и скучно. Час, назначенный для приема, давно уже прошел. Секретарша неизменно отвечала: — Его вызвали... Он уже звонил, сейчас приедет.

Проходил еще час. Фадеева не было. Она по-прежнему говорила:

— Его задержали. Сказали, что выехал.

Прошел еще час. Приемная, коридоры, вестибюль были переполнены народом. Я подошел к секретарше и сказал, что ухожу.

— Почему же? Он сейчас приедет! Вы ведь по вызову? — говорила она. — Он начнет прием с тех, кого сам вызвал! Сегодня он обязательно всех примет, так как он уже пропустил два приемных дня...

— Почему же не пропустить и третий? — проворчал я, уже не сдерживаясь от гнева и отвращения. — Во всяком случае я ждать больше не могу.

Стыд и отвращение я донес до дома. Минут через двадцать позвонила секретарша:

— Александр Александрович приехал. Вы подъедете?

Я отказался.

Время от времени я делал попытки связаться с руководством Союза писателей по своим делам и раньше и после, но каждый раз не доводил до конца: простая человеческая гордость поднималась на дыбы и не унималась, пока я не сдавался на ее милость. Как-то, после долгих колебаний, я решился позвонить Фадееву домой. Телефон приняла секретарша и вместо ответа на обычный вопрос, не может ли Александр Александрович подойти к телефону, набросилась на меня с допросом:

— Кто вам дал этот телефон? Почему вы звоните сюда?

Честертон обмолвился афоризмом: демократия — вещь прекрасная, но в ней есть убийственный недостаток — отсутствие демократизма!

Конечно, Честертон не может обойтись без парадоксов, но в данном случае здесь не только игра слов. Почему-то, едва начал писать и печататься, я без малейшего труда мог встречаться с Горьким, Сологубом, Аверченко, Миролюбовым, Поссе, с кем бы ни захотел; но чтобы поговорить с Фадеевым, Симоновым, Леоновым, Сурковым, нужно пройти через тьму преград, секретарей, ограждений, унижительных записей, очередей и ожиданий.

Не оттого ли в Петрограде, печатаясь в журналах и газетах, я чувствовал себя писателем; в Москве же, будучи членом Союза писателей, выпустив около сотни книг, я не могу почувствовать себя писателем?

Я стал пробиваться своими силами и в 1940 году предложил мою статью журналу «Детская литература»¹⁵². Там меня охотно печатали, и одно время я даже заведовал там каким-то отделом. В начале войны журнал, как ряд других, был закрыт, но память о нем осталась. И до сих пор то тут, то там вдруг кто-нибудь вспомнит:

— А хороший журнал был! Вот бы его следовало возобновить!

Очень хорошо помню, как Виктор Борисович Шкловский¹⁵³, член редакционной коллегии, прочитав мои «Заметки», сказал:

— Дешево отдаете!

Шкловский обладает умом и мышлением, свойственным гениям. Гений зиждется на огромной памяти и способности устанавливать невообразимо далекие связи, что, вероятно, объясняется сверхбыстрым, молниеобразным течением ассоциаций. Для поверхностного собеседника или читателя кажется, что Виктор Борисович перескакивает с мысли на мысль, не умея сосредото-

точиться. На деле собеседник просто не поспевает за ним. Мне также понадобилось время, чтобы воспроизвести чужой ход мысли, а затем ответить, смеясь:

— Да, очень дешево, и все-таки никто не берет!

Сильный и точный, при всей его краткости, отзыв Шкловского оценил я много позднее, когда Виктор Борисович подарил мне свою книгу «О Маяковском», над которой он в то время работал. Это был «особый» экземпляр, со вклеенной в текст выброшенной цензурой главою и с приятной для меня авторской надписью. Надпись заканчивалась так: «от создателя одной непродуманной теории». В моих «Заметках» я писал, что в основе формализма, виднейшим представителем которого был Шкловский, лежат великие законы высшей нервной деятельности, а некоторые ошибки и неправильные заключения идут как раз от незнания этих законов, открытых Павловым.

В тексте своей книги Шкловский привел, со ссылкой на меня, цитату из Павлова, относящуюся к вопросу о формалистических исканиях. С тех пор, встречаясь со мной где-нибудь, хотя бы на улице, Виктор Борисович, протягивая мне руку, вместо «здравствуйте» говорит:

— А знаете, вы правы, вы правы!

Не согласился на печатание статьи другой член редакционной коллегии — С.Я. Маршак.

В одной из своих статей Маршак очень удачно заменил неумное в наш век и надоевшее слово «поэт» словом «стихослагатель». Самуил Яковлевич был в полном смысле слова стихослагателем. Он с одинаковым блеском переводил сонеты Шекспира, песни Бернса и сочинял в стихах школьные правила поведения, азбуку для дошкольников, подписи к картинкам для детей и к карикатурам в «Правде» для взрослых, веселые поэмы, на манер английских, для самых маленьких.

И хотя Бёрнса переводили у нас и сто лет назад Козлов¹⁵⁴, Михайлов¹⁵⁵, Гербель¹⁵⁶, и в наше время Щепкина-Куперник¹⁵⁷, Багрицкий, все же критика прославила Маршака как первого переводчика, «открывшего русскому народу» великого шотландского поэта. И хотя веселые стихи для самых маленьких, по образцу английских, не хуже Маршака сочинял Чуковский, все же Сталинские премии получал Самуил Яковлевич. Всем этим обязан был Маршак своей организаторской деятельности, с которой и началась его популярность.

Помню, еще в двадцатые годы, годы новой экономической политики, Маршак вдвоем с представителем какого-то журнала или издательства приезжал из Ленинграда организовывать московских авторов. Я также получил письмо с приглашением побеседовать с ленинградцами и явился в указанное время в какое-то помещение на Мясницкой. Сошлось человек десять. Сначала говорил представитель издательства, а затем Маршак, толковавший о необходимости объединения пишущих для детей, о широких возможностях Ленинграда, о неотложной нужде в сказках, детских повестях и занимательных научных книжках...

Говорил он быстро, хрипловато, точно задыхаясь от подступавшего к горлу потока слов и чувств. Когда он кончил, Сергей Антонович Клычков¹⁵⁸, высокий, размашистый, длинноволосый и шумный, ударяя, как Горький, на «о», в ответ на приглашение высказываться заявил:

— До что ж тут, говорить-то, собственно, не о чем! Мы будем писать, вы — платить деньги... И делу конец!

На дне всякой развязности лежат застенчивость и неловкость, но Маршак вдруг вскипел и заговорил о том, что он приехал сюда не торговать, что литература требует чистых рук и горячего сердца, а торгашам здесь делать нечего.

Клычков надел шапку и ушел. Мне всё это не понравилось: и разговор о чистых руках, и лицемерное негодование Маршака. Я сказал, что, если будет что-нибудь подходящее — я пришлю, но вышел с уверенностью, что ничего подходящего у меня никогда не будет. Мне кажется, так же решили и все другие.

Не завербовав никого в Москве, Маршак с новой энергией начал действовать в Ленинграде. Не было там своих писателей для детей — Самуил Яковлевич стал создавать их. Вызвал брата, инженера, работавшего на заводе, и убедил его заняться научно-популярной литературой. Так появился знаменитый М. Ильин¹⁵⁹ — Илья Яковлевич Маршак. Встретился на Невском только что демобилизованный моряк, не знавший, куда деваться и к чему приложить чистые руки, и вот появляется не менее талантливый Борис Житков¹⁶⁰. Затем выходит на сцену Елена Ильина¹⁶¹. И вскоре уже Маршак окружен плеядой учеников и учениц, усваивающих единственный постулат учителя:

— С детьми надо говорить забавно!

Я глубоко и непоколебимо убежден в том, что стишки Маршака и Чуковского, пересыпанные шуточками и прибаутками,

забавные рассказы Ильина нанесли и наносят непоправимый урон детской психике. Они воспитывают неуважение к науке, внушают презрение к взрослым, которые везде и повсюду оказываются глупыми и смешными перед собственными детьми.

На вечере Маршака по случаю его юбилея какая-то школьница с артистическом блеском читала стишки юбиляра о глупом старике и вздорной старухе, которые долго спорят о том, кто должен встать и закрыть дверь... После этого было объявлено торжественное постановление министерства просвещения о присуждении Маршаку золотой медали Ушинского за активное участие в воспитании детей!

Дешевый успех Маршака у детей дорого обходится потом родителям.

Конечно, Маршак не возражал против моей статьи. Он только говорил, что в текущем номере не находит ей места, и так неприглядно вилял, уклоняясь от прямого ответа, что я наконец резко спросил:

— Так, значит, статью не печатаем?

— Я не говорю этого, никто не говорит этого...

Я свернул рукопись и положил в карман.

Организаторское лицемерие Маршака обратилось в поговорку благодаря эпиграмме Е.Я. Тараховской¹⁶²:

Уезжая на вокзал, он Чуковского лобзал,

А приехав на вокзал, «Что за сволочь!» — он сказал.

Чуковский мешал Маршаку, я — его брату. В Союзе писателей выдавали медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Когда вызвали меня, Маршак прошипел:

— Этому хлопать не будем!

Но соседом оказался М.А. Зенкевич.

— Нет, надо хлопать, он наш, саратовский! — отвечал он и после со смехом передал мне этот нечаянный разговор с великим организатором.

На заседании Правления Союза писателей П.А. Павленко предложил сделать меня председателем секции научно-художественной литературы, мною же организованной. Против резко выступил Маршак.

— Это — злобный интриган! — говорил он обо мне.

«Злобное интриганство» заключалось в том, что я открыто, за своей подписью напечатал в журнале «Литературное обозрение»

две статьи, предлагавшиеся мной сначала «Детской литературе». В одной я выступал против оглупления детей «забавными» стихами Маршака и его учеников, в другой — против такого же оглупления юных читателей пошлейшими шуточками и прибаутками шутовской прозы М. Ильина и его приближенных.

Один из них, гордо называвший себя учеником «гениального учителя», Владимир Иванович Орлов¹⁶³ обиделся на мое выступление против паясничания и шутовства в научно-популярной литературе. Разговаривая с В.А. Сафоновым¹⁶⁴ и Э.Г. Ананиашвили¹⁶⁵, общими нашими знакомыми, Орлов заявил им так:

— Вы думаете, я прощу Гумилевскому его статью в «Литературной газете»? Нет, я сгною его в Нарыме, и так, что он никогда не узнает, кому он этим обязан!

Молодой негодяй опирался на дружбу с Н.А. Михайловым, тогдашним генеральным секретарем ЦК ВЛКСМ, и угроза его, столь нагло высказанная, предназначалась не для меня одного.

В мрачные годы безответственности, беспринципности и прямой подлости ее нетрудно было привести в исполнение.

На меня она произвела меньше впечатления, чем на Сафонова и Ананиашвили, и я продолжал идти своей дорогой.

Война прекратила мои попытки опубликовать первые «Заметки к Павловскому учению о слове». Но работа над ними продолжалась и в эвакуации, и в тяжелые дни возвращения, между занятиями над другими моими книгами.

Правда, в самом начале военных действий, когда еще смутно вырисовывались размеры катастрофы, я послал мою рукопись журналу «Под знаменем марксизма»¹⁶⁶. Мне казалось, что столь авторитетный философский орган посмотрит на мою работу не с начетнических, а с истинно материалистических позиций. И действительно, один из виднейших сотрудников журнала профессор Виктор Николаевич Колбановский незамедлительно откликнулся на мою статью. Он вызвал меня в редакцию и прямо сказал, что работа ценная, нужная и интересная, но не по стилю журнала.

— Но я устрою ее в «Красной нови», там я рецензирую статьи научного характера и уверен, что редакция со мной согласится, — заявил он.

Вскоре он как врач оказался мобилизованным, журналы подверглись закрытию, и говорил ли он что-нибудь в редакции «Красной нови», я не знаю. Во всяком случае с тех пор он неизменно интересовался судьбой моей работы и рассказывал о ней физиологам.

Для меня важно было, что никакого «криминала» он у меня не нашел. Я послал рукопись в ЦК ВКП(б), надеясь на помощь отдела печати. Заведовал им в ту пору Александр Сергеевич Мясников. Он пригласил меня для разговора по поводу моей работы, и, когда я пришел, вынес мне перепечатанный на машинке, никем не подписанный отзыв.

Отзыв был построен на краеугольном положении, которое и доказывалось подбором цитат всякого рода: данная работа представляет собой ревизию марксизма!

Тот, кто жил в эпоху Сталина, знает, что нес за собой такой приговор. Недаром Мясников подавал мне отзыв с суровым лицом судьи, обрекающего подсудимого на смерть.

Я спросил его, возвращая безымянные листки:

- Вы сами рукопись мою читали?
- Нет, не читал!
- Вы вашему рецензенту доверяете?
- Вполне!
- Ну, тогда говорить не о чем!

Я вскоре забыл об этом эпизоде. Вспомнился же мне он через несколько лет, когда я возобновил попытку опубликовать мои «Заметки к Павловскому учению о слове».

7

В тот вечер когда я впервые пришел к Платонову и мы сидели с ним в парадной комнате за его столом, разговаривая о Дизеле, мимо нас из другой комнаты в прихожую прошел юноша лет пятнадцати или шестнадцати. Не останавливаясь, он вежливо поклонился мне, а затем слышно было, как Мария Александровна, жена Платонова, провожала его, помогала одеваться и строго наказывала:

— Пожалуйста, без опозданий. К одиннадцати быть дома!

Как все избалованные мужьями и жизненными удачами женщины, Мария Александровна говорила со всеми мужчинами строго, всегда что-нибудь приказывая, но постоянство этого тона в семье делало окружающих к нему нечувствительными.

— Андрей, не кури так много! — сказала она, возвращаясь в свою комнату. — И открой фортку.

— Тошка, наш сын, — продолжая смотреть на дверь в прихожую вслед сыну, пояснил Андрей Платонович. — Хороший мальчик.

— Андрей, ты слышал, что я сказала? — напомнила Мария Александровна из соседней комнаты очень громко.

— Да, Муся, я слышал, — с полнейшим спокойствием отвечал Андрей Платонович и, вытянув из лежавшей на столе пачки «Беломора» новую папиросу, повторил с тихой улыбкой. — Очень хорошо!

Этого светловолосого, хорошего мальчика в коричневом костюме, белой рубашке с черным галстуком я видел еще два или три раза, каждый раз так же мельком, а вскоре затем Андрей Платонович, отвечая на обычный вопрос: «как поживаете?» — сказал мне:

— У нас несчастье, Лев Иванович, сын пропал!

И он рассказал с покорным недоумением:

— Пошел к товарищу, сыну Николая Архипова, вы его, верно, знаете, на вечеринку и не вернулся: там ночью всех забрали, и теперь мы даже никак не можем узнать, где он!

Я мог бы, конечно, сказать: пустяки, вернется, это недоразумение! Но в той или иной мере мы оба обладали способностью обобщения разрозненных жизненных фактов и понимали, что ничего случайного не было в том, что происходило вокруг нас.

То был памятный для всех 1937 год. В Испании шла гражданская война. На границах Монголии японцы испытывали прочность нашей обороны. В Москве только что закончился второй процесс троцкистов. Сталин искал врагов — троцкистов, контрреволюционеров, кулаков, шпионов, диверсантов, вредителей. Тот, кто ищет — всегда находит, и чем меньше было реальных врагов, тем упорнее их повсюду искали с догматической уверенностью в том, что они должны быть. Ученые и инженеры, писатели и артисты, директора предприятий и рабочие, коммунисты и беспартийные, ничем не запятнанные, с женами и детьми, точно по указке самого дьявола, вдруг заподозревались в заговорах, в шпионаже, во вредительстве, подвергались арестованию, высылке и гибели в суровых условиях лагерей. Никто не знал, за кем придут ночью. Ночные звонки сводили с ума обитателей коммунальных квартир. Кремлевскую охрану осаждали люди, вручавшие лично или бросавшие в специальный ящик длинные жалобы, которых никто не читал уже, на неправильные аресты ни в чем неповинных людей.

Андрей Платонович никогда никуда не писал жалоб, не просил защиты, стоял твердо, нестигаемо, да и кому мог бы он жаловаться на Сталина?

Сталин безоговорочно верил в догму классовой борьбы со всеми ее проявлениями: заговорами, вредительством, тайными сообще-

ствами, пропагандой. Отсутствие их удесятряло страх перед ними, нисколько не колебля убежденности в святости догмы.

Когда был арестован Осип Манделъштам, безобидный поэт-акмеист, далекий от политики, Сталин вызвал к телефону другого поэта — Бориса Пастернака. Пастернак, автор поэм «Девятьсот пятый год» и «Лейтенант Шмидт», в глазах руководства был вполне советским человеком. Вероятно, Сталин знал о неподкупной честности, искренности и правдивости поэта.

— Скажите, как писатели относятся к аресту Манделъштама? — спросил он.

И без того несколько косноязычный, растерянный неожиданностью звонка и вопроса Пастернак отвечал, не вдруг находя слова для такого разговора:

— Да как они относятся?! Никак не относятся, насколько я знаю, могу знать.

Сталин резко перебил его:

— Вы мне не угождайте, говорите без уверток!

Борис Леонидович Пастернак — человек прямой и бесстрашный — отвечал такой же резкостью:

— Если, товарищ Сталин, вы мне не верите, тогда нечего и говорить со мной...

Он готов был повесить трубку. Но Сталин, чья прямолинейность доходила нередко до невежливости, допускал такую же прямолинейность и в собеседнике.

— Если бы у меня арестовали товарища, — тихим голосом продолжал он, — то я не стал бы молчать, я бы поднял на ноги всех...

— А мы молчим, товарищ Сталин!

Сталин, не допускавший мысли, что можно оставить без протеста политический арест товарища по работе, был невероятно далек, неправдоподобно чужд исконным началам русской жизни.

В то время как признанный теоретик партии Н.И. Бухарин утверждал уже, что и кулак у нас «врастет в социализм», Сталин ждал резкого усиления классовой борьбы с каждым новым шагом по пути к социализму.

В маленькой, вертлявой головке Бухарина подспудно жил огромный опыт тысячелетней истории России. Русский народ безмолвно вращал и в деспотизм Грозного, и в феодализм Годунова, и в европеизм Петра...

Сталин вырос в национальных традициях кровной вражды и мести. Если ему не находили врагов, то это значило только то, что враг ловко конспирировался, а НКВД плохо делал свое дело. Ста-

лин послал туда Ежова, и маленький плюгавый человечек засыпал его списками «врагов народа». Отдельные списки — на гражданских лиц, на военных работников, на жен и детей «врагов народа» — представлялись на утверждение Сталину с просьбой дать санкцию на осуждение всех по первой категории. Первой категорией назывался расстрел.

И все это Сталин утверждал, и под каждой его подписью ставил свою Молотов, а иногда еще и Каганович.

Делу помог генеральный прокурор, председатель Верховного Суда — Вышинский. Он ввел в практику судов небывалые юридические нормы: признание обвиняемого освобождало суд от допроса свидетелей, от представления доказательств.

Когда Сталину говорили, какими способами добывает Ежов признания обвиняемых, он отвечал:

— Фашисты пытаются наших людей, издеваются над нашими друзьями, а почему же мы должны церемониться с нашими врагами?

После ареста Пильняка Сталин вызвал тогдашнего генерального секретаря Союза писателей. Едва Фадеев показался в дверях, Сталин сказал ему:

— Хорош ваш Пильняк! Сразу в трех разведках работал!

Не знаю, в чем еще обвинялся или признавался Пильняк, но помню, что он напечатал в «Новом мире» «Повесть непогашенной луны». В повести, старым литературным приемом, под вымышленными именами, рассказывалась история смерти М.В. Фрунзе, подвергнутого насильственной операции.

Генеральный секретарь Союза писателей пользовался правами министра, и Фадеев должен был санкционировать аресты своих товарищей.

За несколько дней до своего самоубийства, Александр Александрович говорил Юрию Либединскому¹⁶⁷:

— После разоблачения Сталина я чувствую, что у меня самого руки по локоть в крови!

Сознательно, хорошо подготовленное самоубийство Фадеева — акт высокой души и большой совести. Но что делается с человеком, поднявшимся к власти, будь то Сталин, Фадеев или простой дворник, на которого надели синий фартук и поставили к воротам большого дома? Почему он перестает видеть, чувствовать и понимать все то, что он прекрасно видел, чувствовал и понимал раньше?

Либединский оставил после себя книгу воспоминаний; Фадеев — записные книжки, заметки, письма. Когда читаешь все это,

невольно спрашиваешь себя: неужели эти люди никогда не оставались наедине с собой?

Опустошающий догматизм Сталина устранял из жизни одного за другим моих товарищей по работе. От балахнинской бригады оставались только двое — я и Слезкин. Сначала взяли Глеба Алексеева, затем Костю Большакова, наконец — Буданцева.

В последний вечер мы сидели с ним за унылым чайным столом на Басманной и обсуждали события. В паническом страхе люди отрекались от отцов, от жен, от детей, от родных и друзей, подвергшихся арестованию. А через день-два или неделю уже от них отрекались их отцы, жены, дети, друзья. Трагедии оборачивались фарсом. Не дотрагиваясь до холодного чая, мы смеялись.

Потом я вышел вместе с Сергеем Федоровичем. На Мясницкой улице, холодной и угрюмой, черной от только что прошедшего дождя, мы расстались. Прощаясь, Сергей Федорович спрашивал меня:

— И вы от меня отречетесь, Лев Иванович? Неужели отречетесь?

— А как же, Сергей Федорович? Конечно, отрекусь!

И мы хохотали, как взрослые дети. А через три дня, удивляясь, что вопреки обычаю Сергей Федорович не звонит мне, я сам позвонил к нему. Вера Васильевна, его жена, отвечала строго, не по-дружески, как чужая:

— Сергея Федоровича нет!

Несколько секунд мы тягостно молчали.

— Хорошо, — сказал я. — Я к вам зайду сам.

Исчезновение из жизни людей разных профессий, партийных и беспартийных, молодых и старых, носило характер какой-то сказочной эпидемии. Она не разбирала ни правых, ни виноватых. Гибли все.

Вызывая, в угоду Сталину, из преисподней догматических духов классовой борьбы, подготовили себе грубый и жалкий конец Авербах, Лелевич¹⁶⁸, Селивановский. Война в Испании спасла от такой же участи честнейшего Матэ Залку, воевавшего там под именем генерала Лукача и погибшего со славой героя, во имя Революции.

Эпидемия не ограничивалась Москвою. В Ленинграде подвергся аресту и высылке брат моей жены, тот самый мальчик, который когда-то на велосипеде в Саратове развозил по театрам мое «Театральное обозрение». Теперь у него был пятнадцати-

летний партийный стаж, он работал цензором в Ленинградском обллите.

Однажды на стол его соседу — цензору положили верстку учебника для студентов горного института под заглавием «Петрография». Цензор зачеркнул «Петрография» и над зачеркнутым написал: «Ленинграфия».

Бывая в Ленинграде, я однажды обратил внимание на хронике происшествий в вечернем выпуске «Красной газеты». Ежедневно печатались жуткие списки самоубийц, именно списки: по рубрикам — повесились, отравились, застрелились — лишь имя, фамилия и возраст, без всяких комментариев. Число самоубийств колебалось: вчера — восемнадцать, сегодня — одиннадцать, завтра — шесть, послезавтра — двадцать, но постоянство рубрик и списков на меня действовало ошеломляюще.

Я показал несколько газет моему приятелю. Он проворчал: — Недосмотрели!

Через год я снова навестил Ленинград и «моего цензора». Вечером он вышел вместе со мной, купил вечернюю «Красную газету» и с торжеством указал мне на отдел происшествий. Самоубийств в Ленинграде больше не было.

Его арестовали: судили и выслали в Магадан по доносу того самого цензора, которого он высмеял за «Ленинграфию».

Мне уже начинало казаться, что есть какая-то темная логика в том, что черный жребий ее все чаще и чаще падает на самых преданных членов Коммунистической партии. Но вот Вольф по-прежнему встречался мне внизу у лифта на Басманной. У них плохо работал старый французский замок в двери, и я часто заставлял его с отвертками за починкой замка, с непременною трубкой в зубах. По логике событий, Вольф должен был бы пасть жертвой сталинского догматизма, и я, здороваясь с ним, иногда говорил:

— А вас еще не посадили, Анатолий Оскарович!

— А вы все психуете, Лев Иванович! — отвечал он в тон мне.

И как-то раз после одной из таких мимолетных встреч лифтерша, сажая меня в лифт, прошептала, кивая на дверь его квартиры:

— А этого-то взяли нынче ночью!

— Кого? Вольфа?

— Этого, с трубкой-то!

Да, это был честнейший, преданнейший, принципиальнейший Вольф. Сначала ему выбили зубы, добиваясь признания в подго-

товке взрыва в Кремле, а затем, не вынудив признания, отправили работать в конструкторское авиационное бюро, где уже работали Туполев, Стечкин¹⁶⁹, Чаромский¹⁷⁰, получившие по 25 лет. Там зубные врачи, также из заключенных, Вольфу вставили отличные зубы. Воротясь уже во время войны из заключения, Анатолий Оскарович с неизменной благодарностью вспоминал своих благодетелей:

— А то ведь так никогда бы и не выбрал времени, чтобы заняться зубами!

Находившаяся в заключении группа авиационных работников была возвращена на свои места, к своим прежним обязанностям.

Я работал тогда над книгою «Крылья Родины». Инициатором ее был Александр Сергеевич Яковлев¹⁷¹, известный конструктор и тогдашний заместитель наркома авиационной промышленности. Он высказал, быть может, правильную догадку, что изоляция ряда конструкторов и инженеров авиации была лишь способом засекретить их работы по новым конструкциям самолетов и моторов.

Рассыпанные по необъятным просторам Сибири, обнесенные колючей проволокой лагеря пленников своих не отдавали назад. Наспех организованные за Полярным кругом лагеря устраивались как бы специально для медленного умерщвления своих обитателей. При шестидесятиградусных морозах жили в обычных холщовых палатках. Печью служили железные бочки из-под бензина. Круглые сутки люди по очереди, партиями рубили лес, пилили дрова, кололи их, бросали в железную бочку, ложились в дымку спать, не раздеваясь годами и иногда примерзая к нарам.

За пилкой дров, за рубкой леса поэты читали стихи, астрономы рассказывали о звездах, инженеры говорили о возможности межпланетных перелетов, и находившиеся тут же математики, чертя формулы на нетронутым снегом, рассчитывали силу тяги, потребную для отрыва от Земли небесного корабля. В новой партии, приходившей на смену, молодой артист Московского художественного театра читал товарищам наизусть сцены из «Гамлета», а потом рассказывал о режиссерском таланте Станиславского.

В таком избранном обществе за Полярным кругом провел несколько лет Александр Михайлович Симорин¹⁷², один из моих учеников в гимназические годы. Я готовил его к поступлению в первый класс нашей гимназии, а затем время от времени встречался с ним до конца его жизни. Это был очень способный, не-

множко ленивый, восторженный человек. Восторженность у него была прирожденной, он на весь мир смотрел через увеличивающие очки, и много раз его отзывы и оценки меня обманывали. Он был учеником академика В.И. Вернадского и старшим научным сотрудником в его биогеохимической лаборатории.

В моей книге, посвященной В.И. Вернадскому, отдано должное и Симорину, но страницы о пребывании Александра Михайловича в ссылке из книги по требованию цензуры были изъяты.

Вернадского охраняла мировая известность. Арест его не был санкционирован, и через 24 часа ученый возвратился домой. Но среди его друзей, учеников и сотрудников политическое безумие нашло свои жертвы. Одной из них стал Симорин. Его арестовали в ноябре 1936 года, ставили к стенке под дулом винтовки, вынуждая признание в заговорщицкой деятельности, и, не добившись ничего, осудили на десять лет и выслали на Север.

Вернадский в своих сотрудниках видел не служащих, а участников общего творческого процесса. Они являлись ему близкими людьми, и судьба каждого из них волновала, как своя собственная. Может быть, и больше, чем собственная: заботой о своей судьбе он пренебрегал, чужая беда вращалась в сердце. Он пытался защитить Симорина, отказался подписать приказ о его увольнении с работы в связи с арестом и высылкой. Он требовал вмешательства Президиума Верховного Совета в дело Симорина и в заключение писал:

«Обращаясь к такому высокому учреждению, как Президиум Верховного Совета, я считаю себя морально обязанным говорить с полной откровенностью до конца. В это время много людей очутилось в положении Симорина без реальной вины с их стороны, мы не можем закрывать на это глаза».

Такого рода обращения по поводу безвинно пострадавших людей были забиты ящики, столы, шкафы судов, партийных организаций, Верховных Советов.

Вернадский не мог добиться ответа. Но просто дружеское и смелое в этих условиях письмо Вернадского в лагерь спасло Симорина от неминуемой гибели.

Был уже вечер. Александр Михайлович только что возвратился из лесу, с рубки леса. Разувшись, он сидел на нарах и, опустив голову, смотрел на свои отекавшие ноги: с подошв и пяток падали на пол капли лимфы, просачивавшейся сквозь желтую кожу.

В этот момент Симорина потребовали в комендантскую. На комендантском столе лежало письмо в большом белом конверте с печатью и грифом Академии наук.

— Кто ты такой? Почему тебе пишет академик?

Александр Михайлович ответил. Узнавши, что он врач по образованию, комендант отправил его в межлагерную больницу «для использования по специальности». Через двадцать лет, вполне реабилитированный, Симорин возвратился в Москву, и это был единственный из всех моих знакомых, которому удалось уйти живым из лагеря смерти, правда, ненадолго. Он умер через два года после возвращения.

На пути к одному из таких лагерей Платоновым удалось разыскать своего сына.

Падавшие на его голову несчастья Андрей Платонович сносил как-то безропотно, не повышая голоса, не отбиваясь, точно имел дело с землетрясением или, по крайней мере, с проливным дождем.

В те дни я часто навещал этот дом на Тверском бульваре, с окнами на улицу. Я не слышал никогда, чтобы Андрей Платонович говорил громче обычного: его всегдашняя ровность граничила с застенчивостью. Он брал жизнь и действительность такими, как они есть. Его постоянная внешняя мягкость к людям и событиям казалась не врожденной, как у Чехова, а самовоспитанной, как у Толстого.

Рабочий по происхождению, воспитанию и строю мысли, человек в то же время высокой и тонкой внутренней культуры, Андрей Платонович пришел в литературу непосредственно от своего рабочего места и всю жизнь среди писателей оставался одиноким. Занятого с полным правом места среди пролетарских писателей лишил его И.В. Сталин, у которого, по запоздавшему мнению А.А. Фадеева, «был дурной литературный вкус». Не было у Платонова близких людей и среди писателей, пришедших в советскую литературу со стороны интеллигенции, получивших кличку «попутчиков», таких как Леонов, Пильняк, Всеволод Иванов, Федин, Фадеев, Зоценко, Пастернак, Буданцев. Создание Федерации советских писателей не привело к объединению литературных групп, как мечтал И.В. Сталин.

...Впервые появляясь в литературе с книжкой стихотворений «Голубая глубина», Платонов написал краснодарскому издательству «Буревестник» автобиографическое письмо. Там он между

прочим так определил свое отношение к будущим товарищам по литературе:

«Я знаю, что я один из самых ничтожных... Вы люди законные и достойные, я человеком только хочу быть. Для вас быть человеком привычка, для меня — редкость и праздник...».

При всей внешней искренности этого заявления трудно не почувствовать его внутренней жесткой иронии, возможно, еще и не осознанной автором, но полностью потом оправдавшейся.

Пышно расцветавший в те годы, да не вымерший и по сей день, писательский снобизм был совершенно чужд Платонову. Он был равнодушен к одежде, которую носил, к обстановке, которая его окружала. Об этом заботилась Мария Александровна. В то время, когда все писатели уже обзавелись авторучками, пишущими машинками, он по-прежнему писал карандашом, на простой писчей бумаге. Он работал за своим шведским конторским бюро и был им доволен потому, что оно стояло спиной к дивану, обеденному столу, к печке, входной двери и таким образом отъединяло его от семьи, от гостей, если он писал.

Когда вырос сын, стало больше шума и людей, Андрей Платонович выбросил из ванной комнаты ванну и сделал себе там кабинетик, а мыться ходил в баню, как все рабочие люди. Он не собирал ни редких книг, ни картин, ни даже простой библиотеки, да и собственными книгами не запасался.

Дружеские связи Андрея Платоновича устанавливались случайно, по взаимной симпатии, независимо от других соображений, часто в «Квисисане» — ресторане-автомате на углу Черкасского переулка. Ресторан находился в центре целой кучи редакций и издательств: Гослитгиздата, «Молодой гвардии». Детиздата. Сюда всем было по пути.

— Что вы находите интересного в этих «забегаловках»? — спросил я, после того как Андрей Платонович рассказал о какой-то забавной встрече в таком однокомнатном трактирчике с высокими столами без стульев.

— Ну, вы не знаете... — с необыкновенной теплотой заговорил он, — какие там бывают люди, какие встречаются типы... Дело не в стопке, не в ста граммах, а в том, что люди там за этой стопкой распахивают свои души, раскрываются настежь. Когда люди встретились, разговорились, чтобы через пять-десять минут разойтись и никогда вновь не встречаться, они могут быть и становятся совершенно откровенными, до дна души открытыми... Ну так, как

бывают только наедине с собой, да впрочем, даже откровеннее, чем наедине с собой... Нет, такого, что вы узнаете, услышите там, вы нигде не встретите, нигде не узнаете... Честное слово!

Круглый стол с бутылкой вина посредине — в домашней обстановке, как и забегаловка, были для Платонова только средством человеческого общения, помощью в честном, искреннем всеобъемлющем разговоре, до конца откровенном. За этим столом у Платоновых я встречал Андрея Новикова¹⁷³ и Виктора Бокова¹⁷⁴, Алексея Кожевникова¹⁷⁵ и Д.С. Ясиновского. Литературные генералы не появлялись. Неожиданным исключением оказался Шолохов.

Как-то, не слишком поздним вечером, я застал Марию Александровну не в своей комнате, с книгой в руках, а на кухне, и Андрея Платоновича — не за своим рабочим столом, а расхаживающим по комнате. Открывая мне дверь, Мария Александровна объявила:

— Шолохов приехал. Должен сейчас прийти!

И Андрей Платонович, здороваясь со мной, прибавил:

— Может быть, он что-нибудь сделает... для Тошки!

Затем пришел Шолохов. Тогда он еще не был академиком, держался просто, приветливо и не сторонился обыкновенных писателей. На его кожаной куртке, привинченный, сиял золотом орден Ленина. Как бы смущаемый этим сиянием, Михаил Александрович, поздоровавшись с нами, снова вышел в переднюю, оставил там куртку и, вернувшись в одной рубашке, сел за стол. Когда подали водку, он первым делом предложил выпить:

— За старшего товарища по нашему ремеслу!

Тост относился ко мне и тронул меня. Затем уже пили без тостов, забывая за разговором о церемониях, лишних между своими, тогда как я все-таки был новым знакомым. Я вскоре ушел, чтобы не мешать старым друзьям говорить совсем откровенно, зная, что разговор к тому же должен идти о вызволении Тошки из беды.

Через какое-то небольшое время я зашел к Платоновым, и Андрей Платонович сообщил мне следующее: Шолохов встретился со Сталиным и рассказал ему историю платоновского мальчика. Тут же, при Шолохове, Сталин запросил по телефону справку о положении этого дела и ему очень быстро доложили, что мальчик находится на пути в Магадан. Сталин распорядился вернуть осужденного немедленно в Москву и пересмотреть все дело.

— Ну что же? Поздравляю вас, Андрей Платонович!

Застенчиво улыбаясь, Андрей Платонович начал расставлять на столе тарелки и стопочки.

Сын ему был возвращен, но с процессом в легких, от которого вскоре и погиб.

Реальные враги народа воспользовались догматическим безумием. Гитлер через Бенеша подsunул Сталину фальшивую бумажку, якобы обличавшую в заговоре крупнейших военачальников Красной армии во главе с Тухачевским. Один за одним они все были уничтожены, и Гитлер направил фашистские орды на обезглавленную страну.

Молотов по радио оповестил советский народ о вероломном нападении Гитлера. После первых неудач на фронте выступил сам Сталин с объяснением причины непрерывного отхода советских войск. Это была жалкая и страшная речь. Она начиналась небывалым обращением:

— Братья и сестры!

Голос его дрожал. В наступившей на минуту тишине мы слышали бульканье воды в стакане и глухую попытку продолжать, но затем он овладел собою, и, верно, весь многомиллионный советский народ вздохнул с облегчением.

Вскоре началась эвакуация Москвы. В Доме литераторов на улице Воровского я встретил Платонова в очереди за папиросами и спросил его:

— Андрей Платонович, ну а что вы думаете?

— Победим! — уверенно и твердо отвечал он.

— Но как?

— Так... Пузом! — ответил он.

Самая резкая черта творческой личности Платонова — способность находить наивернейшие слова для выражения сложных мыслей, выводов и заключений.

«Страсть к знанию стала новым, органическим чувством человека, таким же нетерпеливым, острым и богатым, как зрение или любовь», — пишет он.

И это — в рядовом, да еще научно-фантастическом рассказе «Эфирный тракт», карандашом на полулисте писчей бумаги, косыми книзу строчками и без малейших поправок. Он мало что записывал, полагаясь на свою память и несравненную находчивость ума. Да и записанное часто исчезало в руках услужливых редакторов.

Накануне войны я некоторое время работал, заведую отделом, в редакции журнала «Детская литература». Платонову у нас по-

нравилось, и он никогда не отказывался от рецензирования новых книг. В те годы мы, пожалуй, ценили его больше как критика: критические статьи его, даже рецензии изобиловали характерными для него глубокими мыслями и тонкими наблюдениями, просто, но ясно и точно выраженными.

Однажды Андрей Платонович принес нам большую рецензию на книгу Серой Совы¹⁷⁶ «Саджо и ее бобры», только что выпущенную Детгизом. Когда он ушел, я прочитал статью, и сидевший против меня фактический редактор Семен Решетов протянул руку, чтобы забрать рукопись.

— Погодите, — остановил я его, — тут есть очень интересная мысль, я хочу ее выписать, а то, пожалуй, кто-нибудь из редакторов вычеркнет...

Семен, конечно, обиделся и сказал с упреком:

— Когда же что-нибудь мы вычеркивали у Платонова?

Мысль была очень острой и значительной. Я выписал ее в карманную записную книжечку с уверенностью, что теперь-то уж, после моей нечаянной демонстрации, поразившую меня мысль так просто не выбросят.

Однако когда номер журнала вышел, выписанных мной строк в тексте статьи Платонова не оказалось. Я показал номер Решетову и сказал со злом:

— Все-таки выбросили?!

— Что выбросили?

Я предъявил записную книжечку редактору. В ней было записано: «Любовь одного человека может в другом человеке вызвать к жизни талант или, по крайней мере, пробудить его к действию».

— Кто мог выбросить? — возмутился совершенно искренне наш редактор. — Как это могло случиться? Ничего не понимаю!

Все стало понятным, когда опросили всех, прикасавшихся к рукописи Платонова. Младший редактор, молодая женщина, окончившая университет, спокойно сказала:

— Я вычеркнула: это тут совершенно лишнее, к делу не относящееся. Поэтому я вычеркнула!

С тех пор прошло много лет. Писательское достоинство Платонова давно восстановлено. Но, повторно публикуя статью о Серой Сове, «Литературная Россия»¹⁷⁷ не восстановила пропущенных строк, да, вероятно, и не могла восстановить, не зная о происшедшем в редакции «Детской литературы».

...Нам раздали эвакуационные удостоверения с предложением немедленно выезжать из Москвы. Я надеялся, что настроения не отвечают фактам, но немцы продвигались, и перед нашим выездом Москва уже сходила с ума — разбиралось казенное имущество, в топках парового отопления жгли книги, ехали все, кто на чем мог.

В отчаянии люди совершали безумные вещи. Абрама Марковича Эфроса вынули из петли. Внучка Н.И. Гржебина, девятнадцатилетняя студентка, бросилась в пролет лестницы и разбилась насмерть.

На Ярославском вокзале метался, добываясь помощи, нестарый человек, отлично одетый и растерянный:

— Я — Ойстрах, я — Ойстрах! — безумно твердил он.

— Ну и что из этого? — отвечал ему Зенкевич, художник, переживший не первую войну и спокойно сидевший на своем чемодане.

Мариэтта Шагинян звонила в редакцию «Правды», требуя, чтобы ее взяли в правдинский поезд.

— Я сотрудница «Правды», я орденоседец... — доказывала она.

— Провались ты со своим орденом! — услышала она в ответ, и трубка была повешена.

Неожиданно и странно слагались человеческие судьбы в эти удивительные и страшные дни.

8

Мое знакомство с Владимиром Алексеевичем Поповым относится к очень далеким временам — к началу нынешнего века. Я жил тогда еще в Саратове...

Вероятно, в 1914 году, а может быть, на год-два раньше послал я какой-то рассказ в журнал «Вокруг света», редактором которого и был В.А. Попов. Совершенно неожиданно получил я от него не открытку, а большое письмо, написанное прямым круглым почерком на редакционном бланке с красивой, разборчивой до последней буквы подписью: В.А. Попов.

Все эти редакционные ответы на моих открытках и на редакционных листках я аккуратно собирал, но по наивной доверчивости, в двадцатых уже годах, покидая Саратов, отдал их какому-то мельком знакомому человеку, обещавшему передать их на хранение в библиотеку Саратовского университета. Человека того я не мог разыскать потом, а в папке, переданной ему, были письма

Короленко, Горького, Пильняка, Шишкова, Горнфельда, Свицкого¹⁷⁸ и много других.

Вероятно, когда-нибудь они появятся на свет божий, тогда можно будет справиться, когда писал мне Владимир Алексеевич хорошее такое письмо, которым приглашал меня писать и дальше, хотя от присланного рассказа он отказался: явно я послал свое произведение не по адресу.

В 1923 году я переселился в Москву, выпустил в издательстве «Земля и Фабрика» книжку рассказов «Слепая ночь», а затем, через два или три года, пришел с рассказом к В.А. Попову: он редактировал журнал «Всемирный следопыт»¹⁷⁹, издававшийся той же «Землей и Фабрикой». Не помню, по собственной ли инициативе писал я этот приключенческий рассказ или по заказу Владимира Алексеевича, но, во всяком случае, он ему понравился...

Владимир Алексеевич в это время только что возвратился из Англии и, вероятно, находился под впечатлением своего путешествия. В манерах, в одежде, в обращении он был истым европейцем. Когда рассказ мой был принят или напечатан, Владимир Алексеевич пригласил меня отобедать в какой-то ресторан.

...Мы пили и ели, разговаривая то об Англии, то о журнале. Постепенно выяснились порядки, заведенные редактором в издательстве. В те первые годы новой экономической политики отношения авторов и издательских работников складывались трудно. Авторский гонорар только по Гражданскому кодексу приравнивался к заработной плате. Издатели же рассматривали его вроде как премию, награду, необязательную выплату пособия нуждающемуся литератору. Приходилось гонорар выпрашивать, ссылаясь на болезнь жены, на необходимость куда-то выехать, отдать долг, — словом, придумывать какой-нибудь предлог. Я помню, как на мои требования и уверения, что я голодаю уже, мне отвечали:

— Вы можете получить и в другом месте! Мы не платим в этом месяце!

Чтобы привлечь авторов, чтобы защитить их от унижительных выпрашиваний гонорара, Попов поставил условием своей работы иметь в своем распоряжении подотчетные суммы, из которых он собственными руками и выплачивал гонорар. Раз как-то, накануне своего отъезда в Саратов, по моей просьбе Владимир Алексеевич выдал мне гонорар у себя дома, куда я зашел поздно вечером.

Во «Всемирном следопыте» Владимир Алексеевич был полным хозяином, как, вероятно, до революции в «Вокруг света».

Так же как у Сытина¹⁸⁰ и у В.И. Нарбута, заведовавшего «Землей и Фабрикой», Владимир Алексеевич ограничивал штат редакции двумя сотрудниками...

Ликвидация НЭПа повлекла за собой и ликвидацию возникшего в эти годы своеобразия хозяйственных отношений. Попову пришлось оставить созданный им журнал и заняться внештатным редакторством в каких-то издательствах.

Нетрудно представить, с каким нелегким сердцем шел на непривычную для него практику Владимир Алексеевич, очутившись в зависимости от главных редакторов, ценивших работу внештатных редакторов не по качеству рукописи, а по количеству поправок, сделанных ими.

В страшные дни, когда на подступах к Москве в октябре 1941 года шли бои с фашистскими танками, в последний раз встретился я с Владимиром Алексеевичем.

В дневной суете на Лубянской площади столкнулись мы с ним, после того как очень долго не попадались друг другу на глаза.

— Где вы были, что вас так долго не видеть? — спрашивал я, разглядывая старого моего редактора, зябшего в пиджаке без пальто, как будто голодного и испуганного. — Куда вы идете?

— Иду куда-нибудь в столовую, в закусочную, что-нибудь перехватить... Ведь меня только что выпустили! — торопливо говорил он.

— Выпустили? Откуда?

— Из тюрьмы. Сегодня всех выпустили, немцы ведь наступают, так тюрьмы велено разгрузить!

— Да как вы туда попали? За что вы сидели?

— За шпионаж! — негромко, но с нескрываемым возмущением пробормотал он. — Да это целая история. Сейчас расскажу.

— Подождите, — прервал я, — вы голодны, я иду в наш клуб, пойдете со мной, я вас там накормлю. Дорогой расскажете.

Мы направились на улицу Воровского. Владимир Алексеевич стал рассказывать. Еще в июне месяце, в первые дни войны, в одну из бомбардировок Владимир Алексеевич тихо-смирно сидел в бомбоубежище. Терпеливое сидение продолжалось долго, в затемненном помещении говорили шепотом, боясь пошевелиться.

Когда наконец прозвучал отбой, истомленный Владимир Алексеевич поспешно достал папиросу, чиркнул спичкой... и вдруг очутился в аду воплей, криков, угроз.

- Шпион! Дает знаки немцам.
- Диверсант!
- В милицию его...

Так и повели Владимира Алексеевича в милицию, не дав ему даже выкурить папиросу.

Хотя в милиции установили, что закуривал арестованный после того, как сиреной был дан отбой, его препроводили в комендантскую города уже с конвоиром в виде милиционера. Дежурный по городу не стал разбираться в тонкостях дела, а отправил Владимира Алексеевича в тюрьму за нарушение постановлений Государственного комитета обороны.

— И вот сегодня рано утром выпустили, — заключил свой рассказ Владимир Алексеевич, угрюмо пошутив при этом: — Из-за немцев сидел, из-за немцев и освободили!

В ресторане нашего клуба я спросил моего гостя:

- Будем закусывать или вы хотите весь обед?
- Обед, обед!
- А водки выпьете?
- О!

Тогда в буфете еще выдавалась водка, и я редко видывал человека, который с таким наслаждением, почти счастьем, мог пить и есть, теплея, расцветая с каждым глотком, с каждым куском.

— Что же вы будете делать теперь?

— Не знаю, жена в эвакуации, я один. Без денег, без работы... Как я вам благодарен за обед, за водку — сказать нельзя!

— Ну, денег я немного вам дам... Если нас не эвакуируют, как всех остальных братьев писателей, будете приходить к нам.

Согретый вином и обедом, Владимир Алексеевич прощался со мной уже веселее, в чаду пробужденных надежд. Но уполномоченный наркомата внутренних дел каждый день контролировал в Союзе писателей списки эвакуированных писателей, и 24 октября мне с женой пришлось покинуть Москву.

От Москвы до Турков, где по-прежнему жила моя мать со своей внучкой, мы передвигались двадцать дней вместо двух. И все эти дни, то нагоняя, то опережая нас, сопровождал наш поезд эшелон с авиационными бомбами, отправлявшийся на фронт. В вагоне то и дело менялись люди, и трудно было ввести какой-нибудь порядок проводнику.

— Все равно жизнь дала трещину! — ответил ему тщедушный красноармеец, догонявший свою часть.

Мы не успели добраться до Турков, как в Москве началась стихийная реэвакуация: вслед за учреждениями и предприятиями возвращались на свой риск и страх издательства, театры.

Перезимовав в Турках, летом 1942 года возвратились и мы.

9

Из эвакуации вернуло меня летом второго года войны издательство, готовившее к печати мою книгу «Железная дорога». Платонова я застал в военной форме, в чине капитана, в должности военного корреспондента «Красной Звезды».

Война возвратила Андрея Платоновича к насильственно прерванному художественному творчеству. Литературно-критическая деятельность была оставлена. Даже для моей «Железной дороги» он не сделал исключения, хотя по-прежнему благоговел перед техникой, перед паровозами и дизелями. Что ж! Гений чаще всего и обнаруживается не в том, чему он служит, а в том, чего касается, как бы случайно, стороной.

Военный и первые послевоенные (1942–1947) годы были самыми полными и творчески счастливыми в жизни Платонова. Печаталось и издавалось все, что он писал. Сотрудники «Красной Звезды» во главе с Константином Симоновым провозглашали тост в честь «гениального писателя, сидящего за нашим столом».

Не изменяя себе, как бог Саваоф, создавал Платонов своих людей и события их жизни. По-прежнему его создания казались странными и загадочными для тех, кто исходил из натуральной действительности. И когда Симонов напечатал в «Новом мире» рассказ Платонова «Семья Иванова», безответственный хозяин «Литературной газеты» поднял новую кампанию против автора, журнала и редактора.

Когда-то Маяковский выражал в стихах желание, чтобы «к штыку приравняли перо», чтобы о стихах делал доклады Политбюро сам Сталин. Поэт не дожил до исполнения своего желания. Но Сталин в противоположность критикам и писателям отлично понимал все практическое значение гениального учения И.П. Павлова о слове как условном раздражителе, способном заменять действительность. Он сам принадлежал к числу людей, на которых слово действует с большей силой внушения, чем непосредственная действительность.

Сталин поистине приравнивал к штыку перо, взяв под железный контроль каждое прозвучавшее в Советском Союзе слово.

Он не только делал доклады о перестройке писательских организаций. Он заставил Политбюро заниматься рассказами Зощенко и стихами Анны Ахматовой, а Центральный Комитет выносить постановления, в которых было больше слов, чем во всех стихах Ахматовой. Постановления печатались в учебниках, и школьники заучивали их наизусть, как стихи. При нем слово не выражало действительность, а заменяло ее, литература шла не впереди жизни, а следом за указаниями Сталина, иллюстрируя их.

На балахнинском материале я написал повесть «Сменный мастер» — о деревенском парне, пришедшем на строительство фабрики и оставшемся на ней рабочим. Рецензент Государственного издательства художественной литературы писал о повести так: «Автор рассказывает о деревне то-то и то-то... А товарищ Сталин говорит, что в советской деревне происходит вот что... У Гумилевского получается так, что... А товарищ Сталин в «Вопросах ленинизма» прямо указывает, что...» и т.д.

Сталин оказался верховным редактором всей советской литературы. Комбайнеру Борину он говорил, что при всей своей занятости успевает ежедневно прочитывать не менее пятисот страниц.

Я думаю, не было в те годы романа, статьи или поэмы, отвергнутой издательствами, которую автор не послал бы Сталину с протестующим письмом. Не напечатали «Бурю» Эренбурга. Он послал ее Сталину, и роман печатался. Отвергли у Слезкина «Генерала Брусилова» — он жаловался Сталину, и роман выходил. Не прошло «Одиночество» у Вирты¹⁸¹ — он писал Сталину, и роман издавали. Сталин или сам направлял прочитанную рукопись в издательство, или возвращал автору с письмом, или говорил свое мнение по телефону. Письмо Сталина под стеклом в рамке на стене висело у Пильняка. Мариэтта Шагинян в дамской сумочке носила всегда при себе такое письмо, завернутое в целлофан. О том или другом разговоре Сталина по телефону через сутки знала литературная Москва.

Платонов не обращался к Сталину.

У писателей постоянно шли разговоры о том, кому Сталин звонил, кому написал, о ком и что сказал и какие следствия отсюда произошли.

Без иронии относиться ко всему этому было трудно.

Андрей Платонов столкнулся где-то в издательстве с автором «Одиночества». Вирта отвел Платонова в сторону и с таинственной значительностью, ожидая поздравлений, прошептал ему...

— Мой роман очень понравился Иосифу Виссарионовичу...

— А кто это? — с невинным видом спросил Платонов.

Неожиданное внимание И.В. Сталина к моей книге «Русские инженеры», рекомендованной ему академиком П.Л. Капицей, в большей степени взволновало моих литературных друзей и в особенности врагов, чем меня самого.

Я уже знал по собственному опыту, что «необъятная власть» генсека ограничивается пределами Кремля. За кремлевскими стенами его распоряжения входят в жизнь только в том случае, если они не противоречат интересам непосредственных исполнителей.

Андрей Платонович говорил мне с печальной уверенностью:

— Ах, вы не понимаете, что с вами произошло, что теперь будет... Вас будут переиздавать, писать о вас, печатать все, что хотите... Да уже и началось!

На вышедшей в это время небольшой книжечке «Солдатское сердце» он написал мне: «Моему дорогому знаменитому другу — от его младшего собрата, по-прежнему, как встарь, любящего его. А. Платонов. Май, 1946».

Нужно вовсе не знать, не понимать Платонова, чтобы не почувствовать и в этой надписи тонкой, глубокой иронии над знаменитостями по распоряжению сверху — не узнающими при встрече старых друзей.

Знаменитостью и хамом я не стал, вероятно, не стану никогда ни тем, ни другим. Дружелюбные отношения наши покоились на более прочной основе — на понимании техники и литературы как искусства. К этому пониманию относится и трогательная надпись Андрея Платоновича на последней, полученной мною от него книге. Он написал вслед моему имени — «человеку, которого я люблю и не перестану любить до конца своей жизни. Андр. Платонов. 12.III.48».

Несомненно, одним из несудимых убийц Платонова был последний из «рапловцев», наследник Авербаха, Лелевича, Селивановского профессор В.В. Ермилов.

Этот маленький, пухленький, розовощекий человек, теперь уже в звании профессора и доктора филологических наук, все еще надеялся на то, что ему удастся наконец переделать Платонова.

Литературная общественность забросала протестующими письмами «Литературную газету» и «Новый мир». Письма наши Платонову не помогли, Ермилова не образумили, но когда имя Платонова засияло посмертной славой, убийца в последнем своем

интервью «Литературной газете» заявил, что «сожалеет о том, что не понимал Платонова и ошибочно выступал против него».

К новой, посмертной жизни Платонова вернула Мария Александровна. В течение почти двух десятилетий с невообразимой энергией и настойчивостью публиковала она статьи и рассказы Андрея Платоновича, добивалась издания его книг, сверяла рукописи, читала корректуры, не упускала ни одной возможности показать творческое наследство писателя. С удивительной быстротой завоевало оно умы и сердца читателей не только в нашей стране, вызвало огромную литературу о Платонове. Правда, нередко авторы статей обращались к его творчеству все с тем же намерением переделать писателя, сближая его то с Нагибиным¹⁸², то с Всеволодом Ивановым, то с Артемом Веселым, то с Леонидом Леоновым, то с Пильняком, то с Малышкиным. Так им было проще, понятнее и покойнее.

В одном из лучших рассказов Чехов замечает, что жизнь каждого человека основана на тайне. Тайна Платонова — алогический путь к истине в науке, в творчестве, в жизни. Этот путь привел его к мировой славе, к вечной жизни и к преждевременной смерти.

Природный художник, художник с ног до головы, Платонов обожал конкретную технику, но сторонился науки. Он не мог, да и не пытался избавиться от тирании внешнего мира, деспотически владевшего его умом. Рассудочное и отвлеченное не умещалось в нем, и то, что не постигал он пятью своими чувствами, для него реально не существовало.

Он часто смеялся как над чудачеством над моим требованием обжигать покупной хлеб. Привычка эта осталась у меня от холерных угроз, каждое лето тревоживших население Саратова, где я жил. Андрей Платонович в самом существовании холерных вибрионов или коховских палочек сомневался. Во всяком случае, для него они не существовали.

Я думаю, что этой художнической странности своей Платонов обязан был отчасти и своей болезнью, прекратившей его жизнь. Впрочем, мучительно долго и тяжело умирая от туберкулеза, он уже с величайшей тщательностью отгораживал себя, диван, на котором лежал, посуду, которой пользовался, от других.

Он умирал долго и мучительно, как Белинский, как Добролюбов. Когда его навещал кто-нибудь из друзей, он, по несколько раз, пока тот сидел возле его дивана, тоскливо спрашивал:

— Послушай, как же дальше будет? Мы прощаемся не с жизнью, не с людьми — ведь они остаются. Мы прощаемся с собою,

со своим телом, со своим именем, и это приводит в недоумение, в отчаяние, страх.

Платонов полностью награжден судьбою русского гения — от трагического преследования и чахотки при жизни до безвременной смерти и восторженного поклонения после нее.

Знал ли Платонов о том, что он действительно гений?

Думаю, что не знал, хотя, вероятно, чувствовал. О его гениальности знали писатели, знали студенты Литературного института, посвящавшие ему стихи. Но не все студенты, не все писатели.

А.А. Бек¹⁸³, например, держа в руках очередной номер журнала «Индустрия социализма», в котором были напечатаны рядом рассказ Платонова и мой, сказал мне:

— Никак не могу понять, почему вам всем так нравится Платонов? По-моему, ваш рассказ гораздо лучше, чем его!

Гениальные открытия или изобретения всегда случайны, непредсказуемы, их нельзя вывести логически из всей суммы предшествующих человеческих знаний: они живут изолированно, по частям, в нашем сознании и для связи частей нет логического пути — есть только путь случайностей, находок без поиска.

Поэтому-то гениальные открытия большей частью для людей остаются надолго если не навсегда недоступными.

10

В кабинете у Александра Сергеевича Яковлева над камином висел фотографический портрет Сталина. Фотограф взял Сталина в тот момент, когда он закуривает свою знаменитую трубку. Пламя спички хорошо освещает лицо, руки и простой темно-серый френч, придающий Сталину — вместе с пламенем спички и раскуриванием трубки — простоту, доступность и человечность.

Портрет этот был широко распространен среди интеллигенции и беспартийной массы; как-то я получил такую фотографию от Союза писателей вместе с билетом на торжественное собрание по случаю очередной годовщины Октябрьской революции. Портрет этот и у меня хранился, среди других фотографий, как удивительный образец фотоискусства. Эта фотография отвечала нашему русскому общенародному идеалу вождя неизмеримо больше, чем красочные портреты проглотившего аршин усатого человека в форме генералиссимуса со звездами и орденами.

В те годы в газетных статьях и речах неизменно фигурировала формула:

— Сталин — это Ленин сегодня.

Если проводить параллели, следовало бы говорить:

— Сталин — это Ленин наоборот!

Трудно и нарочно создать литературный портрет человека столь противоположного Ленину, чем Сталин. Ни одной черты нельзя найти, свойственной им обоим, хотя бы и в разной степени.

Ленин был в высшей степени доступен и прост. Рассказывая о своей первой встрече с Лениным, Сталин удивляется его простоте и доступности: Ленин, перед заседанием, сидел во дворе с каким-то рабочим и запросто с ним о чем-то беседовал. Вспоминая этот эпизод, Сталин тут же добавляет от себя, что, по его мнению, вождь не должен часто и просто показываться народу.

Впоследствии, как известно, Сталин неуклонно и жестко следовал этому своему убеждению. Он был настолько недоступен, что даже ближайшие его помощники часто не знали, в какой из комнат своей резиденции он находится в данный момент!..

Сталин все насильственные мероприятия проводил под флагом добровольности и вынужденное признание в необходимости отступления объявил «головокружением от успехов». Типичный догматик и начетчик, он верил в слово больше, чем в действительность, и когда Аллилуева говорила ему, что деревня голодает, там хлеба нет, он иступленно кричал на нее:

— Ложь, я лучше знаю, у меня цифры есть!

Жонглируя цифрами, он ввел в практику невероятное очковтирательство вместе с молитвенной благодарностью — за «счастливую жизнь», «счастливое детство», за то, что «жить стало лучше, жить стало веселее». Он играл роль вождя и, как всякий актер, не мог существовать без аплодисментов и преклонения.

Ленин был вождем и не нуждался в признаниях. Он оставался самим собой во всех положениях — честным, простым и искренним. Прощая революционному вождю суровую необходимость диктатуры, народ дополнял образ Ленина созданием легенды о его христианском милосердии.

Убеждение в том, что Ленин простил покушавшуюся на него эсерку Каплан, жило во всех умах так твердо, что даже Матэ Залка уверял меня, что это не легенда:

— Я сам, сам ее видел на Сретенском бульваре, — улыбаясь моей недоверчивости, говорил он. — Мне показывали ее, она каждый день там гуляет!

Впрочем, Залка утверждал также, что у нас вообще никого фактически не расстреливают и только выносят приговоры для устрашения других.

— Подождите, мы еще доживем до того времени, — уверял он, — когда и Рыков, и Каменев, и Зиновьев, и все приговоренные к расстрелу явятся в Москву по какой-нибудь амнистии!

В словаре русского человека «каторжник» и «несчастненький» — синонимы. Популярнейшей книжечкой в годы моего детства был рассказ о докторе Гаазе. Его памятник на Введенском кладбище и до сих пор украшают полевыми цветами чьи-то добрые сердца, перемежая цветы с черными звеньями кандалных цепей на ограде.

Я никогда не мог забыть величественного диалога между Московским митрополитом Филаретом и доктором Гаазом, призывавшим митрополита вступить за невинно осужденного на каторгу человека.

— Разве могут осудить на каторгу невинного! — возмутился Филарет. — Не может того быть!

— Вы забыли о Христе, ваше высокопреосвященство! — напомнил Гааз.

Несколько мгновений ошеломленный священнослужитель молчал, а затем, оправившись, покорно ответил:

— Нет! Не я забыл о Христе, Христос обо мне забыл!

Только ли русскому идеалу народного вождя отвечает человеческое милосердие и доброта? И оказал ли услугу кому-нибудь комендант московского Кремля, в своих «Записках» объявивший, что он собственными руками пристрелил Каплан, и слухи о том, что она была прощена Лениным — чистейшая и нелепейшая выдумка?..

Залка погиб в Испании с непоколебленной верою в мир, которого не было.

Русский идеал был Сталину чужд и недоступен, но, играя свою роль, он укрывал шинелью пьяного Чкалова, заснувшего у него на даче, возвращал Платонову сына, потрясая добротой и щедростью Шолохова. А после смерти Горького чуть не разнес в щепку дачу Алексея Максимовича, разыскивая какие-то неблагоклонные воспоминания о себе.

Сталин отдавал должное внушающей силе писательского слова. Он искал популярность у писателей — и живых и мертвых. С

Гоголевского бульвара он снял знаменитый Андреевский памятник Гоголю и поставил на его месте в окружении тех же фонарей «египетского стиля» свой, сталинский, памятник Гоголю с надписью: «Великому русскому художнику слова Николаю Васильевичу Гоголю от Правительства Советского Союза. 2 марта 1952 года».

Сталинский Гоголь в шинели с пелериной, без шапки, с книжкой в руке, не в пример Андреевскому, стоит во весь рост, прямой, бодрый, как молодой николаевский солдат.

Много лет назад детским колеблющимся почерком внес я свое имя в подписной лист на сооружение памятника Гоголю к столетию со дня его рождения. Этот памятник, истинно народом сооруженный, Сталин выбросил в лом и вместо него поставил своего солдата «от Правительства Советского Союза». Я подумал тогда:

— Счастлив народ, правительство которого чтит памятниками писателей... Но для чего же ставить себя над народом, выбрасывая его памятники?

Несколько лет Андреевский Гоголь валялся на кладбище Донского монастыря, а затем уже при Н.С. Хрущеве его поставили во дворе дома, где Гоголь жил и умер. Когда я увидел творение Н.А. Андреева нашедшим наконец достойное себе место, я подумал:

— Нет, счастлив и велик народ, правительство которого умеет признавать и исправлять свои ошибки!

Сталин внушал презрительность к самому слову «народ». Интервьюируя А.С. Яковлева, я сказал ему:

— Народ хочет знать, за что награждает он конструкторов высоким званием Героя Социалистического Труда!

— Ну, это демагогия... — отвечал он. — Награждает Сталин, а Калинин узнает об этом на другой день из газет...

Ленин не искал популярности, не украшал себя ни титулами, ни орденами и, заняв председательское кресло в Совете Народных комиссаров, отделил себя только тем от старых товарищей, что сказал Г.М. Кржижановскому:

— Ну что ж делать — теперь я председатель Совнаркома, и придется говорить нам с тобой на «вы», Глеб Максимилианович!

Государственный деятель всемирно-исторического масштаба, он чувствовал и понимал себя более ученым и премьер-мини-

стром, нежели вождем. При жизни Ленина слово «вождь» не употреблялось. Оно сошло со страниц Фенимора Купера и Майн Рида при Сталине и внедрилось в советский словарь. Так же при жизни Ленина никто, кроме жены, не называл его Ильичем, и я помню, как на одном митинге в Саратове, вскочив на кафедру, какой-то старый рабочий гневно говорил:

— Что это еще за Ильич? Кто он вам — вахтер или буфетчик? Владимир Ильич Ленин, Председатель Совета Народных Комиссаров, вот он кто вам, а не Ильич! Уважать людей не умеете, а себе уваженья ищете!

Ленин не заискивал у интеллигенции и не подделывался под народ. Сталин воспитал своих людей, честно следовавших его демагогической политике.

Как-то раз, в начале нашего знакомства, Залка явился ко мне днем, в неурочное для дружеских визитов время. Тогда он был заведующим или комиссаром скульптурной мастерской Меркурова¹⁸⁴. В руках у него был огромный сверток, и нес он его торжественно перед собою, прижимая к груди.

— Что это у вас, Матвей Михайлович?

— Вот смотрите!

Он поставил на обеденный стол свой сверток, быстро снял окутывавшие его шпагат, серые листы оберточной бумаги, и перед нами предстала статуя Ленина, отлитая из гипса примерно в три четверти метра вышиною.

— Боже, какая прелесть! — совершенно невольно вырвалось у меня.

Это было точное скульптурное изображение настоящего, живого и характерного Ленина. В левой руке вместо хрестоматийной кепки он держал что-то вроде листков из блокнота, видимо, конспект речи, которую произносил. Правая рука его, не указывала путь вперед, как на других изображениях, а просто, по-домашнему покоилась в кармане брюк.

— Вам нравится, Лев Иванович? — спрашивал Залка.

— Удивительно, как хорошо!

— Вот, — сказал Залка, убирая со стола шпагат и бумагу, — а нам не разрешили распространять...

— Почему?

— Похож на профессора, на брюках складочка... Нельзя! Я взял себе и вам... Остальные — уничтожить!

Я искренне поблагодарил. Залка простился как-то грустно и ушел. А я все смотрел на Ленина и никак не мог отделаться от странного ощущения, что в комнате я не один...

11

...Весной 1943 года в недрах наркомата авиационной промышленности зародилась мысль об издании научно-художественной «Истории ЦАГИ». Н.Н. Шпанов передал мне приглашение А.С. Яковлева побывать у него на опытном заводе, чтобы поговорить об этом деле.

...Парадные комнаты у Яковлева, от вестибюля до его кабинета, блистали паркетом, огромными окнами, шелком занавесей, педантической чистотой. За этими приемными комнатами, где-то дальше, помещалось конструкторское бюро и еще дальше — опытный завод. Встречавшиеся мне работники были наряжены в белые, как в больнице, халаты, им запрещалось курить в помещениях Бюро. Во дворе имелись столовая, парикмахерская, и под лестницей, в кладовой всегда наготове стояло ведро с белой краской, чтобы замазывать грязные пятна на дверях, на подоконниках, немедленно, как только они появлялись.

Так что в общем, несмотря на крайнюю требовательность Яковлева, сотрудники держались у него подолгу, и если уходили от него, как О.К. Антонов¹⁸⁵, его заместитель, то лишь для самостоятельной работы.

Огражденные высоким забором и стражей у проходной завод и опытное Бюро Яковлева представились мне чем-то вроде Ватикана, миниатюрным государством в государстве, где Яковлев был полным и бесконтрольным хозяином. Он строил этот завод по собственноручному плану, от утверждения которого строительный надзор решительно отказался, но и запретить постройку оказался не в состоянии. Все здесь, от внешнего оформления здания до чертежей люстр и бра по стенам, было творчеством Яковлева, всем подвластным ему хозяйством он распоряжался единолично и беспелляционно. Яковлев не исключение, он лишь наиболее типичный представитель хозяйственных деятелей сталинской эпохи...

Наша авиация оказалась плохо подготовленной к встрече с врагом. Истребители Яковлева исправили положение, и Сталин всемерно покровительствовал молодому, талантливому и смелому конструктору. К тому же у Яковлева сохранились еще, всегда

привлекательные, черты какой-то детскости, наивности и искренности. У Сталина он сделался ближайшим советником по вопросам самолетостроения.

Александр Сергеевич не сомневался в правоте той философии и политики, которая сделала его Главным конструктором, Героем Социалистического Труда, генералом, доктором технических наук, членом-корреспондентом Академии наук СССР.

Говорят, что со своими сотрудниками и товарищами по работе он бывал заносчив и груб, но я всегда видел его корректным, спокойным, аристократически вежливым и предупредительным.

Когда я уселся в кожаное кресло перед его столом в светлом, как все здесь, кабинете, Александр Сергеевич вынул из ящика стола небольшую рукопись и подал мне ее со словами:

— Вот посмотрите, пожалуйста, и скажите свое мнение — по моему, это халтура!

Едва взглянув на первые страницы, я узнал автора. Это был очерк Шпанова о Яковлеве, как обычно у Шпанова — легкомысленно придуманный, развязный и пошловатый. Его показывал мне и сам автор. Но я ненавижу ходкие слова типа «халтура», «бездарность» и, возвращая рукопись Яковлеву, сказал:

— Я это видел у автора, сделано не бог весть как, но зачем же называть это халтурой? Никто не садится за стол с намерением написать небрежно, плохо, нарочно плохо! Можно просто не уметь хорошо делать что-нибудь!

Спрятавши рукопись в ящик стола, Яковлев объяснил мне, что он хочет привлечь писателей к работе над биографиями авиационных конструкторов и ученых деятелей авиации, но опытом Шпанова недоволен и предлагает заняться этим делом мне.

Я ответил уклончиво: «Хорошо, это интересно, я подумаю», так как со своей стороны заказчик не брал на себя никаких обязательств. Но вслед затем Александр Сергеевич выдвинул новое предложение — написать «Историю ЦАГИ», в работе над которой автору будет оказана всемерная помощь со стороны работников института.

Я снова сказал:

— Это интересно, я подумаю, с ЦАГИ я уже знакомился — еще по распоряжению Баранова. Это мне подходит...

— Так в чем же дело? Там вас ждут... — весело отозвался мой собеседник и взял трубку телефона прямого соединения. — Сейчас все устроим...

Он действительно все устроил и, окончив разговор, сказал: — Сейчас я посажу вас в свою машину, она отвезет вас в министерство, там вас ждет начальник ЦАГИ Сергей Николаевич Шишкин, с ним вы обо всем и договоритесь. Вас встретит мой секретарь у подъезда и проведет вас к нему, без пропуска...

Уходя, я оставил Яковлеву только что вышедшую из печати мою «Железную дорогу».

— О, вот это интересно! В детстве я только и мечтал строить паровозы и железные дороги, — сказал он. — Я обязательно прочту!

Он книгу прочитал и при первой же встрече сказал:

— Вот если бы вы такую же книгу написали об авиации!

В машине Яковлева меня доставили в Наркомат авиационной промышленности, секретарша Яковлева встретила меня в вестибюле и провела к Шишкину, который тут же освободился от какого-то посетителя и всецело занялся мной.

С начальником ЦАГИ мы договорились очень быстро и даже подписали, не выходя из кабинета, договор: я должен был за пять месяцев написать книгу по истории ЦАГИ, а ЦАГИ должен был ознакомить меня с работами института и его сотрудниками и выплачивать ежемесячно, в течение пяти месяцев, гонорар за двадцать авторских листов.

У меня к тому времени был большой опыт такого рода сотрудничества с разными учреждениями, жаждавшими популярности. Договаривались мы и целыми писательскими бригадами, работал я и в одиночку, но и так и этак дело сводилось к тому, что мы сдавали во исполнение договора наши рукописи заказчику, а заказчик, по большей части, не знал, что с ними делать, и на этом договорные отношения кончались.

И в договоре с Шишкиным не было речи об издании книги или каком-то ином ее использовании. Просто мне платили деньги, а я представлял рукопись в 20 авторских листов. Я оговорил, что оставляю за собой право печатать написанное и по частям и целиком, на это начальник ЦАГИ предупредительно отвечал:

— Конечно, пожалуйста, мы будем только рады...

Так началась моя работа, обратившаяся потом в книгу «Крылья Родины». Это была по сути дела первая книга по истории русской авиации, и писал я ее, опираясь не на документы, которых почти не было, а на тщательный опрос ее непосредственных создателей. К счастью, они все тогда еще были живы, а о своем учителе, «отце русской авиации» Н.Е. Жуковском рассказывали

даже охотнее и подробнее, чем о своих собственных трудах и достижениях.

Одновременно с работой над историей ЦАГИ я знакомился с конструкторами и писал их биографии по заданию Яковлева. Это мне больше нравилось, я мечтал сделать книгу «Авиаконструкторы».

Шишкин ревниво заметил однажды:

— Вы, кажется, больше работаете для Яковлева. А как книга о ЦАГИ? Вы бы показали хоть то, что написали уже.

Я показал ему первые главы, он остался доволен и больше не интересовался моей работой. Когда книга была закончена, Шишкин распорядился переписать ее в нескольких экземплярах, переплести и в таком виде дать ему, наркому и еще кому-то. Биографии конструкторов Яковлев обещал напечатать в «Технике воздушного флота», но предприятие началось с того, что он затерял фотографии, и я решил действовать самостоятельно.

В это время Наркомат просвещения объявил конкурс на лучшую детскую книгу. Директор Детгиза Людмила Викторовна Дубровина просила меня принять в нем участие. Я спросил: может ли подойти для конкурса научно-популярная история русской авиации?

Она взяла с меня слово, что я непременно сделаю эту книгу и представлю на конкурс. Я перестроил книги о ЦАГИ и об авиаконструкторах, переписал все еще раз, назвал «Крыльями Родины» и сдал на конкурс. На первом же туре конкурса она получила вторую премию и в 1945 году вышла в свет.

Не о всех, о ком я писал в этой книге, сохранились у меня приятные воспоминания, как, очевидно, и я не во всех оставил по себе добрую память.

Многие приходили ко мне в убогую мою комнату на улице Фурманова, но я не мог в те суровые времена предложить гостю ни рюмки водки, ни стакана вина, ни чашки кофе. Разговор шел только о деле, но тут я оставался полным хозяином. Я задавал вопросы, записывал, надеясь больше на свою память, и не производил впечатления человека, взявшегося не за свое дело.

Помню, как Владимир Яковлевич Климов¹⁸⁶, в прервавшейся на минуту беседе, спросил в свою очередь:

— Вы тоже техническое окончили?

Климов, как почти все первые авиаконструкторы, был учеником Жуковского по Московскому высшему техническому учили-

щу, и он, спрашивая, не ожидал другого ответа, как только: «Да, техническое!»

Мне это было приятно, но еще приятнее сказать:

— Нет, я не инженер!

Организатором наших встреч был Яковлев. Как заместителю наркома ему не отказывали, но мне приходилось тратить еще добавочные усилия, чтобы преодолеть естественное и обычное недоверие к знакомству почти насильственному. Николай Николаевич Поликарпов¹⁸⁷ справлялся у Шпанова, кто я, как я пишу и чего стою? Поэтому я прежде всего вручил ему «Железную дорогу». Книга расположила конструктора в мою пользу, а после того, как мы оба оказались выходцами из духовного звания, Николай Николаевич уже разговаривал со мной как со своим человеком.

Однажды, вспоминая свои встречи со Сталиным, он заметил:

— Сталин несколько раз сказал мне: да вы не угождайте, вы говорите, как сами думаете! Но меня на это не поймаете, я знаю, чем это пахнет!

Такой же провокационный вопрос задавал Сталин и Яковлеву, но и Александру Сергеевичу следовательские методы его были известны.

Невероятную бдительность проявил Сергей Владимирович Ильюшин¹⁸⁸. Когда я впервые пришел к нему на завод, пройдя через ряд контролеров с пропуском в руках, Ильюшин все-таки начал с просьбы показать ему мой паспорт.

— Мне Александр Сергеевич говорил, — смущенно пояснил он, — но я вас не знаю...

Я дал ему паспорт, вспомнив, как при замене старых паспортов на новые образцы первыми вооружились ими жулики и бандиты: они получали их непосредственно у рабочих из типографии Гознака.

Впрочем, эту смешную бдительность недоверчивого конструктора я снес проще и легче, чем панибратское дружелюбие Андрея Николаевича Туполева. Когда я впервые позвонил ему, прося разрешения навестить его по заданию Яковлева, он добродушно прожужжал мне в трубку:

— Да что же, дорогой мой, обещать-то тебе? Скажу и обману, нет ни минуты времени! Позвони как-нибудь!

Я позвонил еще раз и получил тот же ответ. Тогда я написал ему, предлагая прийти ко мне в любое время, в любой день, с

добавлением, что иначе книга моя выйдет в свет без рассказа о нем. Я знал, что он не ответит, и позвонил Яковлеву...

Александр Сергеевич выслушал все это едва ли без сочувствия, но затем сказал как деловой человек и организатор:

— Подождите у телефона, я сейчас переговорю с ним.

Он, очевидно, соединился с Туполевым по кремлевскому телефону и через минуту сказал мне:

— Завтра в два часа он примет вас!

Мы встретились с прославленным конструктором как колодки, прикованные к одной тачке. Биография его была известна, очерк о нем по рассказам его сотрудников приготовлен, и я задал только один вопрос, который меня интересовал:

— Мне рассказывали, Андрей Николаевич, такой случай: находясь в заключении, вы проходили по какому-то аэродрому и сказали сопровождавшему вас офицеру, указав на новенький самолет, стоявший на площадке: не полетит! И самолет действительно не полетел. Это было с вами?

Андрей Николаевич равнодушно ответил:

— Не помню, может быть, так и было... Но вот на днях был случай, который я еще не успел забыть. Подходит ко мне в наркомате незнакомый офицер, полковник, здоровается, говорит: «Вы меня не узнаете, Андрей Николаевич?» — «Нет, не узнаю, простите!» — «А помните, как однажды я приходил к вам с проектом одного самолета, еще когда вы были замнаркома, вы посмотрели чертежи и еще сказали мне: «Вот тут он у вас сломается!» — «Ну и что же?» — спрашиваю. — «Сломался, проклятый, в самом этом месте! Разве все упомнишь?!» — усмехнувшись закончил конструктор.

Случаев инженерного чутья, чуть ли не инстинкта у меня во всех книгах приведено довольно много, и я немало думал над разгадкой их. Среди авиационных конструкторов это инженерное чутье проявлялось особенно заметно. Все они, особенно Туполев, Поликарпов, Сикорский, начали строить первые аэропланы, не имея никаких образцов, никакого опыта, никаких теорий. Яковлев вступил на этот путь позднее, но и его конструкторский путь начался на свалке самолетов у Ходынского поля, где он, роясь в обломках машин, постигал эмпирическим путем технику самолетостроения.

Резко выраженным представителем инженерного чутья был Александр Александрович Микулин¹⁸⁹, племянник Жуковского... Даже при покровительстве дяди у него не хватило обычных школь-

ных способностей, чтобы окончить Высшее техническое училище. Типичный изобретатель, непомерно энергичный, настойчивый, самолюбивый, уже в звании Героя Социалистического Труда, академика, доктора и профессора, он поражал товарищей анекдотическим недомыслием.

— Читает он нам как-то сообщение о каком-то новом, небывалом своем открытии в области моторостроения, — рассказывал мне К.А. Ушаков¹⁹⁰. — С места ему кто-то говорит: «Александр Александрович, так дело не выйдет, у вас воздух туда будет проходить!» — Он отвечает: «Мы это предусмотрели, воздух туда не пойдет!» — «Почему не пойдет?» — спрашиваем мы. — «Потому что ему незачем туда идти», — отвечает... Вот и вся дискуссия!

...В 1925 году был объявлен конкурс на пятицилиндровый авиационный мотор воздушного охлаждения мощностью сто сил. В конкурсе участвовали почти все наши моторостроители. Доведены до испытания были два мотора — М-11 конструкции А.Д. Швецова¹⁹¹ и М-12 конструкции Микулина. Председатель государственной испытательной комиссии Анатолий Оскарович Вольф, старый мой знакомый, предложил произвести сравнительные испытания моторов, чтобы решить, какой из них пустить в серийное производство.

При испытании мотора Микулина поломался коленчатый вал. Комиссия затребовала расчет вала, сделанный в конструкторском бюро. Расчет оказался правильным, и поломку вала решили отнести к непредвиденной случайности. Однако такая же поломка произошла и у второго экземпляра мотора. Происшествие казалось еще более загадочным потому, что коленчатый вал М-11 и коленчатый вал М-12 ничем не отличались друг от друга, а расчеты того и другого полностью совпадали. Между тем мотор Швецова прошел все испытания без малейшей аварии, в то время как поломка вала у мотора Микулина происходила уже через час-полтора после запуска.

На заседании комиссии, посвященном выяснению причин аварий, взоры присутствующих, естественно, обратились на конструктора М-11. Аркадий Дмитриевич Швецов, крупный теоретик и практик, человек спокойный и глубокий, подтвердил, что расчеты валов у обоих моторов одинаковы и сделаны правильно.

— Так в чем же дело? — возопил Вольф. — Поясните нам.

— Расчет расчетом, — спокойно отвечал Швецов, — но к расчету надо еще и голову приложить!

Тонкие и глубокие теоретические соображения, изложенные вслед за тем Швецовым, касались устройства, соединяющего переднюю и заднюю части коленчатого вала. Конструктивно это соединение частей вала было одинаково в обоих моторах, но у Швецова оно располагалось в обратном порядке, чему никто не придавал никакого значения, считая тот и другой порядок случайным, не могущим влиять на прочность соединения и выносливость вала. Да и кому же в самом деле придет на ум ставить прочность системы в зависимость, скажем, от того — стоит ли шип справа, а гнездо слева, или наоборот?

Но Швецов, поражая тонкостью и глубиной теоретических доводов, показал, что выбранный им порядок не случаен, а строго обоснован, и именно ему обязан своим превосходством коленчатый вал М-11.

Чистейший представитель изобретательского эмпиризма, Микулин не придавал значения теоретическим обоснованиям, верил только в чутье, в случай, в талант...

Разводясь со своей прежней женою, чтобы жениться на другой, Микулин доказывал на суде необходимость развода и женитьбы тем, что при его творческой работе, имеющей государственное значение, необходимо вдохновляющее присутствие молодой, красивой женщины.

При первом нашем знакомстве Микулин объявил мне, что, кроме него, никто не имеет права писать о Н.Е. Жуковском.

— Я напишу о нем сам, — говорил он. — Другим это не под силу.

Полагая, что Микулин в самом деле хорошо знает своего дядю, я просил редакцию серии «Великие русские люди» послать маленькую мою книжечку о Жуковском на отзыв Микулину. Его отметки на полях заставили смеяться самых невеселых людей. В тексте, например, говорилось, что у Жуковского голос был тонкий, как у Тургенева. На полях стояло: «Почему не наоборот?»

О чутье Александр Александрович прочитал мне целую лекцию.

— Почему, — кричал он, садясь за рояль и трогая клавиши, — почему у нас в школах учат всему, всякой чепухе, даже игре на рояле, а чутью не учат! Разве чутье не важнее музыки или пения? Оно нужнее в жизни!

Я сослался на полнейшую неисследованность этого явления и выразил сомнение в самом факте его существования. Александр Александрович рассказал о каком-то своем гениальном товарище, открывшем способ использования чутья в конструк-

торской работе. Способ заключался в том, чтобы, закрыв глаза, чертить линии, круги, треугольники, пирамиды, очертания деталей на большом листе бумаги, а затем, вдруг открывши глаза, взглянуть на хаос линий.

— И в этом хаосе он находил решение, которое искал! — победоносно заключил свой рассказ Александр Александрович. — Да что говорить, прибавил он горячась, — недавно я был на заседании Совета народных комиссаров. Разносили какого-то областного руководителя, который приводил всякие доводы в оправдание, а сам сидит как побитый... Сталин ходит взад-вперед сзади нас, слушает, а потом подошел к нему, похлопал по плечу и говорит: «Чутье надо иметь, дорогой мой, чутье!»

В возможности найти решение задачи среди хаоса линий я не сомневался, но тут речь шла вообще о каких-то невыясненных законах инженерно-технического творчества, да и всякого творчества вообще. Ссылаться на чутье в этом случае, как и на талант, — значит попросту признать человеческое бессилие приоткрыть завесу, скрывающую от нас деятельность нашего сознания, нашего мозга.

Бесплодность попыток решать вопросы субъективным методом была давно уже мне очевидна. И в поисках ответа на кровно интересовавший меня вопрос я опять обратился к Павлову.

Весною 1945 года я предложил издательству «Молодая гвардия» книгу о высоком достоинстве русской инженерной науки и техники — «Русские инженеры». Война вызвала огромный патриотический подъем, и было бы преступлением не воспользоваться им для воскрешения забытых русских деятелей, для реабилитации русской научной и технической мысли, замалчиваемой и обкрадываемой иностранцами.

Предшествующая работа над рядом биографических рассказов и научно-художественных книг, таких как «Железная дорога», «Крылья Родины», «Творцы двигателей», «Творцы паровых турбин», «Дизель», позволила мне сделать ряд собственных заключений, прийти к своим, необычным выводам. Обладая материалом, ясной концепцией, нетрудно справиться с задачей. В конце 1945 года я сдал рукопись издательству.

Редактором книги назначен был Элизбар Георгиевич Ананишвили, грузинский поэт и переводчик, случайно оказавшийся в научно-популярной редакции... Ананишвили интересовался возможностями научно-художественной литературы, но встретил рукопись без восторга:

- Кому послать на отзыв? — спросил он. — Как вы думаете?
- Пошлите Капице, — твердо отвечал я.
- Пошлем Капице! — равнодушно согласился редактор.

Я по шутливому обычаю перекрестил лежавшую на столе толстую рукопись «Русских инженеров» и с приятным сознанием хорошо законченного дела вышел из редакции.

Академик Петр Леонидович Капица, инженер по образованию, ученый по натуре, представлялся наиболее авторитетным судьей моей работы. В нем самом каким-то счастливым образом сочетался изобретатель и исследователь, практик и теоретик, конструктор и экспериментатор...

Капица нашел способ создавать сверхсильные магнитные поля и разработал методику их точного измерения.

Он установил новые законы изменения сопротивления многих металлов в магнитном поле и показал связь этого явления со сверхпроводимостью.

Он сконструировал машину для сжижения газов и сделал гелий доступным для всех лабораторий.

Он открыл сверхтекучесть гелия.

Он сконструировал турбодетандер — машину, легко приготовляющую жидкий воздух, что имеет огромное практическое значение. И я пожалел, что, работая над книгой о «Творцах паровых турбин», не мог ничего рассказать о Капице и его необыкновенной турбине.

...Кстати сказать, эта книга и познакомила меня с Капицей. Начав работать над созданием турбодетандера, Петр Леонидович наткнулся на «Творцов паровых турбин» и, естественно, заинтересовался книгой. Когда редакция журнала «Детская литература» обратилась к Петру Леонидовичу с просьбой дать статью по вопросам научной популяризации знаний, он отвечал редактору:

— Написать — нет времени. Но устроим так: соберемся у меня в институте, поговорим, застенографируем, и вы что-нибудь делаете из этого разговора.

При этом он попросил, чтобы редакция непременно пригласила меня на этот разговор. Мы собрались в назначенное время в институте, уселись в рабочем кабинете директора на расставленные, как в театре, стулья перед большим письменным столом. Организовывал это собрание и предварительно принимал нас Олег Николаевич Писаржевский¹⁹² — референт Капицы. Писаржевский вел дневник работ института, который, по мысли Капицы, служил бы потом материалом для научной популяризации этих работ.

Капица вошел как-то неожиданно, откуда-то из боковой двери. Это был плотный, среднего роста, живой, подвижный человек с голубыми глазами, небрежной прической, в кожаной на молнии куртке. Усаживаясь за стол, он быстро оглядел собравшихся и предложил задавать вопросы.

Вопросы относились к детской литературе, научной фантастике, искусству научной популяризации.

— Мне лично всегда в детстве нравились популярные научные книги, не романизированные, — заметил Петр Леонидович. — Я могу назвать пример хорошей популярной книги, которую я совершенно случайно прочел. Это «Творцы паровых турбин» Гумилевского. Я не знаю — есть ли он среди вас?

Товарищи ответили, я приподнялся со стула, и вот таким образом состоялось наше знакомство.

— Видно, что человек очень много поработал, — продолжал Капица. — Зато вышла прекрасная книга. Хорошая детская книга, конечно, должна отличаться тем свойством, что ее с удовольствием читают и взрослые... Для того чтобы написать популярную книгу, надо исключительно хорошо знать, о чем пишешь!

Капица совершенно правильно предпочел вместо статьи — свободный разговор с писателями и редакторами. Застенографированная Писаржевским беседа с Капицей была опубликована в апрельской книжке журнала «Детская литература» за 1940 год. Высказанные Капицей мысли по поводу научной фантастики и популяризации науки и техники свидетельствовали о необыкновенной разносторонности и широте мышления русского ученого.

Мое знакомство с Капицей на этом не прекратилось. Вскоре, вероятно, по совету самого Петра Леонидовича, Госполитиздат предложил мне написать биографический очерк о Капице для организуемой им серии биографий советских ученых. Я несколько раз встречался с Капицей, знакомясь с его работами и обстановкой в институте.

По установившемуся у нас в Советском Союзе обычаю, свой рассказ о Капице я послал Петру Леонидовичу «на визу», а затем зашел в институт за рукописью.

— Какое ваше мнение об этом? — спросил я его, принимая рукопись.

— Тут у вас вот указан год ошибочно, я исправил, — отвечал он. — Что же я могу сказать о самой работе? Это ваше мнение! — подчеркнул он. — Я просто не вправе что-нибудь говорить по этому поводу!

Я ушел несколько смущенный. До сих пор все, о ком мне приходилось писать, не только считали себя вправе обсуждать написанное мной, но прямо требовали представить на просмотр рукопись и охотно делали всякого рода добавления и поправки. Сергей Владимирович Ильюшин, знаменитый наш авиаконструктор, даже отказался «визировать» мою брошюру, ему посвященную.

Отправляясь к нему в назначенный час, я перехватил его уже в пути на аэродром, так как наши часы разошлись на две минуты. Испытывался пассажирский четырехмоторный опытный ИЛ-18 — огромная по тем временам машина, с броневым покрытием, придававшим самолету какой-то фантастический вид. Конструктор любезно показал мне машину внутри и снаружи, а затем посадил меня в свой автомобиль и, доставши рукопись, сказал:

— Ну а теперь о вашей книге... Вот прочтут ее и скажут: за что же, собственно говоря, Ильюшин получил премии, ордена, Героя? «Визы» рукопись не получила, и книга в свет не вышла.

В книге, разумеется, не пахло критикой ильюшинских машин. Просто мой авторский словарь, лишенный стандартных восхвалений и превознесений, введенных сталинской эпохой, не удовлетворил конструктора.

Писать о Капице было легко и просто, как о всех выдающихся из рамок обыкновенности людях. По опыту других биографических рассказов, по множеству встреч, я научился отличать людей крупного масштаба от рядовых жителей Земли, кто бы они ни были: ученые или инженеры, писатели или актеры, бухгалтеры или шоферы.

Вскоре после Нового, 1946-го года позвонил Писаржевский:

— Петр Леонидович прочитал вашу рукопись. У нас завтра прием, хотите я запишу вас к нему на завтра?

— Пожалуйста!

— На два часа — устроит вас?

— Конечно, большое спасибо!

...На другой день я явился на приглашение. Олег Николаевич сидел за своей портативной пишущей машинкой. Я пришел с холода, не успев согреть рук на ходу, но, здороваясь, не почувствовал тепла чужой руки. Олег Николаевич отложил свою работу, и мы стали, на манер великих деятелей, болтать о делах нашей секции.

Год назад я проявил бешеную инициативу: написал статью, доказывая необходимость организовать при Союзе писателей секцию научно-художественной литературы, предложил Я.С. Рыка-

чеву, моему соседу по дому на улице Фурманова, пойти вместе к тогдашнему секретарю Союза Д.А. Поликарпову¹⁹³ и поговорить с ним о секции.

Поликарпов нас выслушал с добродушной усмешкой, взял мою статью, прочитал, тут же написал сверху: «передовая на завтра» и, вызвав курьера, велел отправить в «Литературную газету».

— В пятницу обсудим на секретариате, а вы вызовите, кого хотите, из работающих и в этом плане, ну вот и все! — сказал он в заключение, отпуская нас.

Так мы с Я.С. Рыкачевым стали организаторами секции научно-художественной литературы. Конечно, молодые товарищи вроде Ильина, Орлова, Михайлова, которых я широко и щедро приглашал в инициативную группу, быстро и умело отодвинули в сторону двух старых русских интеллигентов. Но во внешних знаках уважения они, на всякий случай, нам не отказывали.

Впрочем, мой вежливый собеседник, кажется, не решил еще, чьей стороны держаться, и советовал устроить чтение «Русских инженеров» как можно скорее.

Потом я прошел к Капице. Он встал из-за своего большого стола, сел рядом в кресло и стал говорить о «Русских инженерах» как-то очень хорошо и своеобразно. Я слушал, еще раз убеждаясь в этом особенном свойстве больших умов — подходить ко всем явлениям природы, жизни, искусства с какой-то другой стороны, чем все, и находить там что-то новое, всегда неожиданное и иногда странное.

— Мне очень нравится то, что вы делаете, — сказал в заключение Петр Леонидович, вставая и возвращаясь на свое место за столом. — Мне очень хотелось бы что-нибудь сделать для вас, чем-нибудь помочь вам...

Он замолчал, вопросительно глядя на меня.

— Мне достаточно получить ваш отзыв для редакции, больше ничего!

— Ну, это мы, конечно, сделаем сейчас же! Что написать?

На звонок явился Писаржевский. Он помялся, видимо, не зная, стоять или сесть ему, в ожидании, пока мы кончим разговор, но сел, приготовив блокнот и карандаш на своих коленях.

— Напишите что хотите из того, что вы говорили, — советовал я, желая поскорее получить отзыв. — Можно коротко...

Капица кивнул своему референту — Олег Николаевич отлично стенографировал — и стал диктовать, недолго обдумывая, но ясно выражая каждую мысль:

— Насколько мне известно, книга Гумилевского первый раз дает синтез русской инженерии, и ее можно рассматривать как оригинальный вклад в историю русского инженерного творчества... Я поддерживаю целый ряд развитых в ней мыслей об особенностях творчества русского человека, о широте его подхода к явлениям культуры, о роли самоучек. В книге его объективно оценены и те факторы, которые мешали в старое время развитию русской научно-технической мысли и ее влиянию на международную науку... Конечно, решение большой задачи создания истории русской научно-технической мысли не под силу одной книге, к тому же первой, но тот шаг, который сделал в этом отношении Гумилевский, надо рассматривать как крупный и всемерно его приветствовать...

В заключение он рекомендовал издать книгу как можно скорее:

— В послевоенный период нам важно все, что служит основной задаче — поднятию технической культуры страны на еще более высокую ступень.

Писаржевский ушел расшифровывать стенограмму. Капица возвратился к прерванному разговору:

— Я в хороших отношениях с Сергеем Ивановичем Вавиловым¹⁹⁴, может быть, с ним поговорить?

— Да нет, вот только отзыв ваш нужен! Кроме ничего не надо... — убеждал я.

Я упорствовал не из самолюбивой щепетильности, у меня просто не было в тот момент дел, которые требовали бы чьего-нибудь вмешательства со стороны. К тому же опыт жизни давно уже научил меня остерегаться своей Судьбы. Каждый раз, когда находились охотники помочь моей телеге, с ними непременно что-нибудь случалось, и, конечно уж, во вред мне, а не на пользу. Есть много глупостей, в которые поневоле начинаешь верить как в чертову игру над добрым человеком.

Писаржевский принес переписанный отзыв. Капица перечел его, подписал и подал мне. Я поблагодарил, простился и вышел вместе с Олегом Николаевичем.

Бережно спрятав драгоценный документ в карман, я вспомнил о рукописи.

— Он дал ее кому-то почитать, — равнодушно заметил Олег Николаевич. — Ведь это второй экземпляр у нас?

— Да, это я так просто вспомнил.

Я проехал в редакцию, отдал отзыв. Редактор мой прочитал, сказал без всякого энтузиазма:

— Хорошо, начнем готовить рукопись к сдаче...
Я запасаюсь терпением и обратился к другим делам.

Дело шло уже к весне, на дворе стоял ранний апрель, когда меня рано утром вызвали к телефону. На Басманной, во время нашей эвакуации, соседи перенесли мой телефон к себе, и я должен был теперь разговаривать под их контролем.

У телефона оказался Писаржевский.

— Вот сейчас я могу вам сказать, где была ваша рукопись. Она была у товарища Сталина...

— Что вы говорите?! Не может быть!

— Сегодня Петр Леонидович получил от него письмо, в нем вот что написано: книга Гумилевского очень интересна, она будет скоро издана, об этом сделано распоряжение... Поздравляю вас!

— Спасибо, не могу прийти в себя от изумления и неожиданности!

— Позвоните Петру Леонидовичу, — наставлял меня Писаржевский, — он сейчас дома.

— Удобно ли?

— Удобно, удобно, я вам говорю. Вы знаете его домашний телефон? Запишите и сейчас же позвоните.

У меня не было ни карандаша, ни бумаги, телефон висел у двери над мешком с картошкой, если бы и был карандаш, негде было приткнуться. Соседка предупредительно записала номер, который я повторил машинально, и продиктовала его, когда я, повесив трубку, растерянно решал — звонить или не звонить...

Петр Леонидович подошел к телефону, я, как говорится, рассыпался в благодарностях, не очень, впрочем, понимая, какая мне, собственно, польза от того, что книгу прочитал Сталин, раз уж она принята в издательство и сдается в производство. К тому же я даже не знал, можно ли говорить о письме Сталина, не мне адресованном? Сталин научил нас помалкивать.

— Можно ли об этом сообщить издательству? — спросил я.

— Конечно, можно, да они все раньше вас узнают, будьте уверены!

Капица разговаривал со мной в несколько приподнятом, как бы победоносном тоне, но я больше считался со своей Судьбой, происки которой знал наизусть, чем со Сталиным или Капицей.

Возвратившись в свою комнату, я сказал, отвечая встревоженному взгляду жены:

— Ну, знаешь, кому-то несдобровать — или Капице, или Сталину!

Она была слишком долгой свидетельницей моих юмористических схваток с недоброжелательной Судьбой, чтобы не понять обычной среди нас шутки, и с любопытством спросила:

— А что такое?

Я рассказал все жене и пошел на улицу Фурманова, в свой рабочий кабинет. Тогда мы еще не объединили наши комнаты в одну квартиру на улице Фурманова. По дороге я зашел в издательство, но Писаржевский уже был там и — от главного редактора до вахтера включительно — все всем уже стало известно.

Грузинский поэт, мой редактор, невесело листал мою рукопись.

— Элизбар Георгиевич, голубчик, сдавайте вы ее скорее в производство, — взмолился я.

— Я не дочитал еще...

— Да на что вам читать теперь, раз Сталин читал!

— Ну что вы! Теперь за каждую запятую взгреют: Сталин за ошибки отвечать не станет. Отвечать я буду...

Бросившийся мне в голову мечтательный хмель быстро выветрился на весеннем холодке улицы. Я с полной искренностью махнул рукой на все это происшествие, оно так быстро оборачивалось ко мне юмористической своей стороной, что ничего другого я в нем уже и не мог видеть.

У себя в Нащокинском переулке — так по старой памяти мы меж собой все еще называли улицу Фурманова — я позвонил Рыкачеву и просил его немедленно, как он освободится, подняться ко мне. Таких звонков от меня еще никогда не было, и он явился через несколько минут.

— Ну что у вас случилось? Звонил Сталин?

Обычная писательская шутка на этот раз подвела.

— Да, Яков Семенович, нечто в этом роде!

Он слушал меня, изумленно переспрашивая:

— Нет, вы шутите!

Однако дело было нешуточное. Бесперывно звонил телефон. Меня поздравляли, расспрашивали о подробностях. Секретарь нашей научно-художественной секции спрашивал: можно ли назначить обсуждение в Союзе писателей на семнадцатое апреля? Кого пригласить председателем? Не возражаю ли против Федина?

Я благодарил, соглашался, возражал, не теряя юмористического настроения. Веселое оживление поддерживал мой гость...

Он слушал мои звонки, спрашивал, кто звонил, и говорил, словно иначе и не могло быть:

— А как же?!

Уходя он просил держать его в известности о новых событиях. Вскоре раздался уже особенный звонок:

— С вами будет говорить товарищ Александров...

Г.Ф. Александров¹⁹⁵ тогда заведовал отделом агитации и пропаганды ЦК ВКП(б).

— Мне надо поговорить с вами, — сказал он. — Не могли бы вы подъехать ко мне к восьми часам?

Я сообщил об этом Рыкачеву. И он отвечал:

— А к-а-к же?! — И потом наказал: — Завтра расскажете, это любопытно!

В восемь часов я к Александрову не попал: мой паспорт, выданный сроком на пять лет, оказался просроченным на два дня, и в бюро пропусков по нему выписать пропуск не решились. Но дело было настолько явно глупым, что комендант сам начал куда-то звонить и наконец получил разрешение выдать мне пропуск. Судьба явно заботилась о том, чтобы я не терял хорошего настроения.

Пока я ждал, стоя у окошечка, подскочил Николай Николаевич Шпанов, как всегда с выпяченной грудью, самоуверенный, самодовольный и глупый:

— Вы куда?

Я сказал, что к Александрову и жду, пустят ли по просроченному паспорту. Он, наверное, решил, что я его разыгрываю, и сказал, получая свой пропуск:

— Ну, так я раньше вас там буду!

Александрова я нашел в большом, неоглядном кабинете. Перед Александровым на пустом столе лежала только моя рукопись в красной обложке. Это был невысокий упитанный человек, лысый, круглоголовый, вежливый и равнодушный.

— Я не знал, что вы пишете о науке, о технике, — сказал он, когда я уселся против него, глядя на свою рукопись.

Я думаю, что сидевший против меня заведующий агитпропом вообще ничего не знал из того, что делается в литературе, да и где-либо вообще за стенами Кремля и пустынного здания Центрального комитета.

— Я думаю, что вашу книгу надо издать в Гослитиздате...

— Как она к вам попала? — перебил я, видя, что он не соби-

рается посвящать меня в обстоятельства дела, которые меня прежде всего интересовали.

— Да так вот попала, — уклончиво отвечал он и перешел к вопросу, где издать книгу.

Я пояснил, что книга написана по договору с «Молодой гвардией» и там готовится к печати.

— Ну, это не имеет значения. Пусть выйдет в двух издательствах, ей нужна широкая аудитория.

Я сказал, что должен по совету рецензента сделать кое-какие дополнения. В разговоре со мной Капица отмечал между прочим, что я не уделил большого внимания электротехникам, и я обещал ему дополнить книгу. Александров положил руку на мою рукопись, как будто готовясь защищать ее от всякого на нее покушения.

— Ну, это вы сделаете после, а я сам передам ее в Гослитиздат.

На этом разговор наш окончился, и я ушел. Когда наутро Я.С. Рыкачев спросил меня, как мне показался наш главный философ, я ответил, быстро припоминая подсознательные свои ощущения:

— Вы знаете, у него во время разговора со мной был все время такой вид, словно он про себя думал: один дурак написал какую-то ерунду, другому она понравилась, а вот я, умный человек, сижу здесь и расхлебываю эту кашу! Это удивительно ясно было у него написано на лице!

...Гослитиздат заключил со мной договор на издание «Русских инженеров». Вечер под председательством К.А. Федина прошел с полным успехом. Отчет о нем в «Последних известиях» по радио был передан еще до того, как публика разошлась по домам.

Словом, все шло так, как это обычно происходило после вмешательства Сталина в судьбу той или иной книги: поздравления, приглашения, сообщения в газетной хронике, шум, лесть, зависть.

Окончилось все это у меня, однако, не так, как кончалось у других, а совсем иначе, в полном соответствии с моей личной судьбой.

К счастью, я не терял своего иронического отношения к происходящему. Товарищи, видевшие мое спокойствие, удивлялись:

— Нет, Лев Иванович, вы сами не понимаете, что делается вокруг вас! Какое это имеет значение для вас, — говорил Платонов, сидя за моим столиком в Нащокинском и глядя, как равнодушно я его слушаю. — Лауреатство вам обеспечено, пять-десять изданий, будете печатать все, что напишете потом...

— Но книги-то все-таки нет пока ни там, ни тут...

— Будет!

Я подгонял Ананиашвили, позвонил директору Гослитиздата. Он ответил мне какой-то чепухой:

— Не могу пока ничего вам сказать... Там что-то у вас с атомной энергией...

— Какая атомная энергия? Там ни звука нет об атомной энергии! — взревел я.

— Не знаю, не знаю. Подождите, это скоро выяснится.

Действительно, вскоре все выяснилось и получило самую широкую известность. Сталин снял Капицу со всех должностей и если не посадил, не выслал, то лишь потому, что, презирая советскую общественность, не мог не считаться с общеевропейской. Что было причиной их резкого разрыва после столь явной дружбы, я не знаю и до сих пор. Когда я спросил А.С. Яковлева, близкого и к Сталину и к Капице человека, за что пострадал Капица, Александр Сергеевич, усмехнувшись, ответил:

— Да, вероятно, за то, что атомной бомбы не выдумал!

Потом говорили, что Резерфорд, Нильс Бор и ряд других ученых, в том числе и Капица, когда-то дали совместную клятву не работать над использованием атомной энергии в военных целях, и Капица остался верен своей клятве, несмотря на приказ Сталина.

Оба издательства решили за лучшее пока что «Русскими инженерами» не заниматься. Я написал Александрову. Его секретарь отвечал мне по телефону:

— Ваше письмо лежит в папке у товарища Александрова. Сам он решить вопроса не может. Но оно лежит в папке для доклада и будет доложено.

За вмешательство в мою судьбу Петр Леонидович пострадал жестоко. Главный секретарь Академии наук А.В. Топчиев¹⁹⁶, отправляясь к опальному академику с приказом об освобождении его от обязанностей директора института, взял с собой врача, чуть ли не всю «скорую помощь». Но Капица выдержал бурю, хотя, быть может, самую смерть перенес бы легче, чем уход из института, им созданного, где все, от первого кирпича и до последнего эксперимента, было делом его рук, его ума и сердца.

Мне, разумеется, было легче. 16 марта 1947 года просмотренная в ЦК верстка моей книги была возвращена издательству «Молодая гвардия» с разрешением выпустить книгу при условии изъятия страниц, посвященных Капице. Сообщая мне об этом,

заведующий отделом печати ЦК Морозов прибавил, что одновременно «дано указание» ему, по выходе книги, широко осветить в печати ее значение.

Книга давно уже была отредактирована, страницы о Капице выброшены, верстка прочитана и подписана. Мне оставалось подождать еще немного... и убедиться, как мало стоят указания даже всемогущего Сталина, если они входят в противоречие с интересами непосредственных исполнителей этих указаний или их друзей.

Пока мое письмо докладывалось Сталину, прошло немало времени. В «Молодую гвардию» назначили нового директора — Ф.В. Кретова. Сытый, самодовольный человек, он при первом знакомстве с историей «Русских инженеров» объявил мне, что книгу надо сразу выпустить массовым тиражом, наговорил мне любезностей, а когда Ананиашвили подписал верстку к печати, вдруг распорядился сделать несколько оттисков, сверх обычных.

— Для чего это? — спросил осторожно редактор.

— Разошлем для отзыва...

— Кому же еще?

— Пошлете в Комиссию по истории техники, академику Юрьеву¹⁹⁷, можно также академику Бардину¹⁹⁸... Обсудим книгу у нас, в присутствии представителей отдела печати. А пока займется книгой художественный отдел — надо все оформление сделать заново, то, что сделано у вас — серо, вяло, неброско. Иллюстрации никуда не годятся. Надо дать художникам на перерисовку...

Из доброжелателя моего Кретов превратился в явного недоброхота. Он и в издательстве продержался недолго: как будто Судьба и подбросила его в «Молодую гвардию» только затем, чтобы всяческими правдами и неправдами задержать выход в свет моей книги.

В течение полугода я только и делал что, по требованию Кретова, «уточнял формулировки», то есть исполнял капризы редакции и несметного числа рецензентов. Пять раз назначались «окончательные сроки» выхода книги: на май, на июнь, на июль, на август, на сентябрь, о чем тожественно уведомлялся Г.Ф. Александров, и затем вновь испрашивались отсрочки, для того же «уточнения» формулировок.

Посланная академику И.П. Бардину верстка была возвращена им с таким отзывом, что письмо его прямо просилось в предисловие к моей книге. Под впечатлением его главный редактор объя-

вил мне, что книга подписана к печати окончательно, что никаких замечаний нет и я могу спать спокойно.

Но через день возвратился из отпуска Кретов и тотчас же распорядился печатание книги отложить и на 25 октября назначить обсуждение ее на редакционном совете в присутствии инструктора отдела печати ЦК.

Чувство юмора мне изменило. На редакционном совете говорили только Кретов и я, отвечая ему. Он листал верстку, вычитывал какую-нибудь фразу и спрашивал:

— Что это значит?.. Как это понять?.. Что вы хотели этим сказать?..

А я, не отвечая на вопрос, читал следующую фразу и говорил:

— Вы вот это еще пропустили. Разве так говорят по-русски?

Он был явно глуп, потому что, не замечая иронии, серьезно отвечал:

— Да, действительно, я это пропустил.

Перелистав книгу таким образом до конца, он вернулся к началу и нанес хорошо подготовленный удар в спину:

— Вы думаете, мы не понимаем, зачем вы под предисловием своим поставили сорок пятый год? Вы хотите сказать, что это не партия указала вам на высокое достоинство русской науки и техники, а вы это указали партии!

Все это было чистой демагогией, но я вынул свою авторучку и неторопливо отворачивая колпачок, сказал очень вежливо:

— Я поставил дату окончания работы над книгой, как это обыкновенно делается... Однако если вопрос о дате ставится в таком плане, я с удовольствием сниму дату...

Я вычеркнул дату так, чтобы все это видели, затем так же не спеша накрутил колпачок на ручку, зацепил ее за борт кармана и стал ждать продолжения. Но тут встал представитель ЦК.

— Кончайте, — брезгливо сказал он, — и печатайте книгу!

Таким образом, «Русские инженеры» вышли в свет весной 1948 года, через два года после срочных распоряжений Сталина.

Цель Кретова была достигнута. Перед октябрьскими торжествами в Ленинграде должна была выйти в свет и, конечно, вышла «Русская техника» профессора В.В. Данилевского. Писательский приоритет мой был уступлен, идея перехвачена, и сталинские указания отделу печати автоматически переносились на «Русскую технику».

...Культ Сталина у всех на глазах медленно, но верно превращался в культ безответственности, беспринципности, жадности и лицемерия.

12

Политическое лицемерие, которое мы легко прощаем друг другу, из маски обращается в настоящее лицо человека.

Бесстыдный интриган и похититель чужих идей говорит ежечасно:

— К науке, как к искусству, надо подходить с чистым сердцем и чистыми руками!

Его спрашивают о работе товарища. Он отвечает:

— Хорошая работа, очень хорошая, но лишняя. Ведь все это у меня уже давно сделано. Зачем нам растрачивать силы напрасно, когда они так нужны кругом!

У него всюду расставлены, как сторожевые посты, родственники, приятели, ученики, знакомые, но он провозглашает при всяком случае:

— Пора, пора изгнать отовсюду интриганство, приятельские отношения, рукомойство, подхалимство.

Когда ему называют новое имя, вдруг возникающее на горизонте, как восходящая звезда, он говорит с сожалением:

— Талантливый человек, но идейно не наш, вот что обидно!

Монополизировав ту или иную область науки, техники, литературы, искусства, он с добрыми глазами и приветливой улыбкой приглашает:

— В науке всем хватит места, дела по горло, на всех хватит, нам делить нечего, бери каждый, сколько можешь, сколько под силу!

Вероятно, и даже наверное беспринципность, жадность и лицемерие существовали всегда и везде. Еще у Тургенева в «*Senilia*» записано «Житейское правило», преподанное ему «старым пройдохой»:

«Если вы желаете хорошенько насолить и даже повредить противнику, то упрекайте его в том самом недостатке или пороке, который вы за собой чувствуете. Негодуйте и упрекайте! Во-первых — это заставит думать других, что у вас этого порока нет; во-вторых — негодование ваше может быть даже искренним: вы можете воспользоваться угрызениями собственной совести. Если вы, например, ренегат — упрекайте противника в том, что у него нет убеждений, если вы сами лакей в душе — говорите ему с укоризной, что он лакей... лакей цивилизации, Европы, социализма!»

Пройдохи существовали и раньше, но их житейским правилом руководствовалось не так много людей. Во всяком случае, я лицом к лицу встретился с ними впервые.

«Русские инженеры» возглавили целую серию идейно аналогичных книг: «Русские врачи», «Русские электротехники», «Русские литейщики», «Русские писатели» и так далее. «Русская техника» Данилевского¹⁹⁹ опередила всех и была самой торопливой, сумбурной и беспомощной. Набрав множество разных имен из архивов фабричной инспекции, из ведомостей на жалованье рабочим и служащим, Данилевский в то же время забыл о первом нашем первопечатнике Иване Федорове, о таких деятелях ранней техники, как Посошков²⁰⁰, Петр Фролов²⁰¹, и, главное, о таких представителях русской инженерии, как Журавский²⁰², Белелюбский²⁰³, Бородин²⁰⁴, Кирпичев²⁰⁵, Шухов²⁰⁶. Только во втором издании (после выхода моей книги) профессор и эти имена внес в свой бездумный панегирик.

Тем не менее за подписью ближайшего сотрудника Данилевского Повха и старого его знакомого А.А. Зворыкина, заведовавшего отделом техники в «Правде», появилась похвальная статья в органе ЦК КПСС, обеспечивавшая автору Сталинскую премию.

Может быть, на этом все и кончилось бы, но в дело вступил ся нечаянно-негаданно старый русский интеллигент Иван Петрович Бардин, академик и вице-президент Академии наук. Комиссия по истории техники при Академии направила Бардину на отзыв рукопись секретаря этой комиссии кандидата технических наук И.В. Абрамова «Русские металлурги». Крупнейший советский инженер-металлург высказал о работе Абрамова отрицательное мнение, в заключение же имел неосторожность написать: «Необходимо всю рукопись в целом переделать, желательно, как образец, взять книгу Гумилевского “Русские Инженеры”».

Бардин подвергся ураганной бомбардировке письмами, протестами, жалобами, заявлениями, визитами, телефонными звонками. Атаковала вице-президента Комиссия по истории техники, находившаяся, как на откупе, у трех лиц: председателя ее академика Б.Н. Юрьева, заместителя его проф. В.В. Данилевского и секретаря И.В. Абрамова.

Борис Николаевич Юрьев, ученик и зять Н.Е. Жуковского, сверстник А.Н. Туполева, В.П. Ветчинкина²⁰⁷, К.А. Ушакова, Б.С. Стечкина, Б.И. Россинского, принадлежит к деятелям ранней русской

авиации. Когда я работал над «Крыльями Родины», Юрьева не было в Москве и мне пришлось расспрашивать о нем его товарищей. Они говорили о нем как-то неопределенно, видимо, избегая прямых характеристик. Только К.А. Ушаков выразился определенно:

— У него всегда было множество идей, но он никогда сам не брался за их осуществление. Прибегал к нам в кружок, рассказывал и исчезал. А мы потом делали или не делали по его идеям, но он этим уже не интересовался.

Впоследствии Юрьев отошел от практической авиации и всецело отдался преподавательской деятельности в Академии имени Н.Е. Жуковского. Лекции его отличались ясностью мысли, блестящим изложением и охотно посещались студентами академии. Но к работам, сделанным еще в кружке, руководимом Н.Е. Жуковским, Борис Николаевич уже ничего не добавил впоследствии.

Таким образом, в «Крыльях Родины» на долю Юрьева пришлось несколько меньше страниц, чем его товарищам, да и подпись к одному из рисунков, полученных мной из ЦАГИ, оказалась неправильной. Книгу Юрьеву я передал, но никакого ответа от него не получил.

Тут вскоре пришелся юбилей В.П. Ветчинкина, торжественно отмеченный в ЦАГИ. С докладом о деятельности юбиляра выступал Б.Н. Юрьев. Он говорил прекрасно, просто и остроумно, причем весь дышал пленительной благосклонностью и добродушием ко всему в мире. Я сказал тогда кому-то из старых товарищей Юрьева, точно продолжая прежний разговор о нем:

— А знаете, он мне очень понравился. Я хотя и с опозданием, а все-таки побываю у него.

— Побывайте, — спокойно отвечал мой собеседник, — узнаете его поближе!

Я побывал у Юрьева, готовя второе издание «Крыльев Родины». Он назначил мне для разговора утро воскресного дня, у себя дома, видимо, желая удержать наше знакомство в рамках полной официальности. Я выразил сожаление, что не мог раньше поговорить с ним, как с другими учениками Жуковского, и вынужден был пригласить его в кабинет. Так просидели мы в его кабинете часа два или три. Он увлекся воспоминаниями, рассказывал немало интересных эпизодов, и мне показалось, что все дело шло как нельзя лучше. Но, очевидно, не предупрежденная мужем жена Бориса Николаевича, молодая и приветливая, потребовала, чтобы я

остался обедать, и вот тут за обедом я почувствовал, что хозяйка не сговорила с хозяином, и Борис Николаевич с трудом переносит мое присутствие за их обеденным столом. Впрочем, это мимолетное ощущение скоро прошло. Я посоветовал Детгизу послать на отзыв переработанную для второго издания рукопись «Крыльев Родины» Юрьеву. Он возвратил ее с отзывом, составленным сообразно со старым «житейским правилом». По мнению рецензента, книга моя являла собой саморекламу одних и принижение других и потому он решительно возражал против нового ее издания. Дважды перечитав отзыв, я, как и редакторы, не мог понять, чем вызвана резкость рецензента, доводы которого не отвечали выводу. О неосторожно выраженном И.П. Бардиным пожелании взять за образец «Русских инженеров» автору «Русских металлургов» я тогда ничего не знал. Не подозревал я, конечно, и о той бурной и деятельной ненависти, которую вызывали не только «Русские инженеры», но и все мои книги и я сам в Комиссии по истории техники, руководимой Б.Н. Юрьевым и В.В. Данилевским.

В январе 1949 года, по случаю 200-летия основанной Ломоносовым химической лаборатории, очередное Общее собрание Академии наук СССР происходило в Ленинграде. Оно было в основном посвящено проблемам истории русской науки и техники. С докладом об основных задачах разработки истории техники выступил Б.Н. Юрьев, и вот в истории самой Академии наук произошло невероятное событие. В академическом докладе на общем собрании академиков Юрьев поставил на обсуждение мои книги, опубликованные — «Русские инженеры» в издательстве ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», а — «Крылья Родины» в издательстве детской литературы.

В двухсотлетней истории Академии наук это был первый случай, когда обсуждались работы, не выполненные в академии, не доложенные в ней, и одна не вышедшая к тому же из печати (Юрьеву посылали на отзыв расклейку первого издания с добавлениями). Такого внимания не удостоивались ни Эйлер, ни Ломоносов, ни Бутлеров, ни Чебышев, да, конечно, и никто из академиков.

Заявив, что «автор очень талантливо, с большим темпераментом описывает наши достижения» и что «книги в целом написаны в патриотическом духе», докладчик перечислил некоторые «неточности и ошибки». При тщательной проверке, за исключением все той же подписи под фотографией, все оказалось передержкой и прямым враньем. Но в соответствии с «жи-

тейским правилом» и все с тем же пленительным доброжелательством докладчик говорил:

— Надо требовать абсолютно точной передачи цитат!

При обсуждении докладов выступил В.В. Данилевский. Человека этого я совсем не знал, не видел, никогда им не интересовался и не предполагал, что могу когда-нибудь, почему-нибудь стать ему на какой-то дороге. Но он не замедлил открыться:

— Книга Гумилевского имеет лестные отзывы в печати, — заявил он, — и, как мне сообщили, выдвинута на Сталинскую премию.

Вот почему «житейское правило» было пущено во весь ход.

— Под видом борьбы за отечественное первенство Гумилевский приписывает русский приоритет иностранцам, — утверждал оратор. — Описав в одной из своих книг постройку в Дании теплохода «Зеландия» в тысяча девятьсот двенадцатом году, он пишет, что «потрясенные ее успехом судостроители дружно принялись строить теплоходы». По Гумилевскому выходит, что Россия не является родиной мирового теплоходостроения, начавшегося в нашем городе, на Выборгской стороне, за девять лет до постройки «Зеландии».

В уверенности, что проверять его никто не будет, Данилевский даже не считает нужным назвать, о какой именно книге идет речь, по какому случаю говорится о «Зеландии» и какие успехи имеются в виду. Старый пройдоха хорошо знал аудиторию, к которой обращался, и не стеснялся средствами, чтобы убрать с дороги выдвинутую на Сталинскую премию книгу. В письме, направленном в президиум Академии наук, в редакции «Известий АН СССР» и «Литературной газеты» я написал:

«В 1933, 1934 и 1935 гг., тремя изданиями, вышла в свет моя книга «Рудольф Дизель», в которой я, касаясь вопросов теплоходостроения, на основании документов, дат и сопоставлений впервые отчетливо рассказал широким кругам читателей о приоритете России в области теплоходостроения и в создании двигателя тяжелого топлива. К тексту были приложены и фотографии «первого в мире теплохода — нефтеналивной баржи «Вандал» и «первого в мире двигателя, работающего на нефти».

Тогда же я подчеркнул в книге (стр. 74 и 76, изд. 1933 г.) тот факт, что первым теплоходом в мире следует считать именно «Вандала», построенного в 1903 году, а не однотипное с ним судно «Сармат», появившееся год спустя. В то же время некоторые ис-

торики техники, например проф. В. Данилевский («История корабля», Ленинград, 1932, стр. 76), ошибочно относили постройку обоих теплоходов к 1904 году, тем самым, по существу, уступая наш приоритет Бельгии, где в 1903 г. вслед за «Вандалом» появилась самоходная баржа «Маленький Пьер» с двигателем Дизеля.

Исправляя ныне свою и некоторых других авторов ошибку, профессор Данилевский в соавторстве с И. Повхом выступил со статьей «Россия – родина теплоходостроения», помещенной в сборнике «Из истории отечественной техники» (Ленинград, 1950).

Приводя те же данные, что и в моей книге, ссылаясь в основном на ту же литературу, на те же документы, помещая ту же фотографию с аналогичной надписью, проф. Данилевский и Повх тем не менее пишут: «Ложную позицию в этом деле занимает популяризатор Лев Гумилевский... Конечно, трудно спрятать общеизвестные факты, но ведь можно их преподнести так, что рядовой советский читатель, на которого рассчитана книга Гумилевского, увидит свою Родину отсталой и слепо следующей за иностранной техникой даже там, где она намного опережала европейские государства» (стр. 142).

Казалось бы, что, выдвигая столь тяжкое обвинение, критики должны были прежде всего обратиться к рассмотрению таких глав моей книги, как «Первый теплоход», «Теплоходы рождаются в России». Однако ученые соавторы делают вид, что таких глав как бы и вовсе не существует. Вину же мою усматривают в том, что в одном месте книги я упомянул о последовавшем за «Вандалом» появлении за границей «Маленького Пьера», а в другом месте, рассказывая о дальнейшем развитии промышленного теплоходостроения в России, указал на то, что «появление больших пассажирских теплоходов за границей дало новый толчок русскому теплоходостроению».

После такого рода редкостных по своей натянутости доводов профессор Данилевский и И. Повх высокомерно заявляют: «Следует помнить Гумилевскому и ему подобным, что не заграничная техника «дала новый толчок» русскому теплоходостроению, а, наоборот, Россия указала миру пути развития теплоходостроения» (стр. 144).

В таком же стиле и с теми же данными выступал профессор Данилевский и на сессии Академии наук СССР, посвященной вопросам истории отечественной науки, в январе 1949 года.

Высокомерный тон ученых соавторов по отношению ко мне как к «популяризатору» побуждает меня напомнить профессору Данилевскому о том, какое огромное внимание созданию просветительной книги уделял А.М. Горький. Самое издание книг, посвященных художественной популяризации научных знаний, он мыслил только при непосредственном участии работников науки и литераторов.

Серьезные критические замечания о книге, хотя бы вышедшей 15–20 лет назад и не свободной от недостатков, всегда полезны. Но бесцеремонные передержки, сознательное стремление опровергнуть чужую работу не могут дать никаких результатов, кроме естественного желания — напомнить любителям «запрещенных приемов» в критике о том, что нельзя безнаказанно нарушать правила нашей морали.

Лев Гумилевский».

Президиум Академии наук организовал комиссию под председательством члена-корреспондента АН СССР Н.И. Плаксина²⁰⁸ для рассмотрения моего заявления; редакция «Известий АН СССР» переслала письмо в эту комиссию, а «Литературная газета» напечатала его под заглавием «Недобросовестная критика», правда, только 3 октября 1950 года.

Дело в том, что до выхода в свет в 1950 году книги со статьей Данилевского и Повха и «Отчета об Общем собрании Академии наук» я решительно ничего не знал о том, что делалось вокруг моих книг.

Может быть, я никогда и не узнал бы о всем этом, но всегда находится добрый знакомый, готовый написать, позвонить, зайти, чтобы сказать об ожидающей вас неприятности.

Таким знакомым у меня был Виктор Семенович Виргинский... Экономист по образованию, он предпочел получить ученые степени более просторным путем и занимался потому историей русской транспортной техники. На этом пути Виктор Семенович сам столкнулся с Данилевским, монопольно владевшим этой областью науки.

...Виктор Семенович зашел ко мне и рассказал о появлении сборника со статьей Данилевского и Повха.

— Неужели вы оставите это так? Ведь вы же первый рассказали о теплоходостроении в России! — говорил он. — Нет, вы должны отвечать!

Виктор Семенович, большой и тяжелый, слегка сутулившийся от своего роста, сидел передо мной в кресле, с желтым портфе-

лем на коленях и насыщал меня решимостью и гневом. С двух слов я уже понял, как важно для него самого возмутить меня...

— Я все-таки сначала достану этот сборник и прочитаю сам, что там есть! — сказал я, провожая его.

Я достал не только сборник, но и толстый, как годовой комплект «Огонька», «Отчет Общего собрания Академии наук СССР». Мне приходилось читать немало статей и рецензий с искажениями и перевираанием цитат, путем их разрыва. Но до такой наглости в этого рода делах еще никто, кажется, не доходил, и я начал готовить ответ на гнусную выходку Данилевского, а заочно уже и Юрьева...

Сталин как-то обмолвился:

— У нас ничего не стоит погубить репутацию самого честного человека, но очень трудно ее восстановить!

Зная, какую броню защищен мой противник, я разослал текст своего письма с объяснительными записками всюду, куда придумал.

Редактором «Литературной газеты» в то время был Константин Симонов... На мое письмо Симонов ответил через своих секретарей, что он готов напечатать мое опровержение после проверки фактов и некоторых изменений в тексте.

Я дал свой текст и все книги, на которые ссылался.

Цитаты и факты были в редакции проверены, текст согласован и наконец письмо мое было поставлено в номер. Но тут же меня срочно вызвали в редакцию к Симонову. Подождав, как полагается, я вошел в его кабинет, когда он отсылал в типографию оттиски сверстанного номера.

— Меня не удовлетворяет ваше письмо, я снял его... — сообщил он, — надо немножко тут доделать.

Он взял текст.

У него было усталое лицо, и я видел, что он не читает, а, глядя на корректурный оттиск, думает, что бы мне сказать. Я понял, что он письмо не напечатает, и сказал это.

— Почему же, — возразил он, — я прошу вас только добавить о значении научно-популярной литературы. Вы помните высказывания Горького по этому поводу... Вот это мне бы хотелось добавить. Вы можете это сделать?

— Могу, но если вы сегодня письмо не напечатаете, то вы вообще его не напечатаете! — повторил я.

— Исправьте, как я сказал, и в следующем номере напечатаете!

Я принес дополнительный текст на другой же день и из рук в руки вручил его редактору. Письмо не появилось, поправок не

требовали, и так шли не дни, не недели, а месяцы. Аппарат охранял Симонова от всяких попыток договориться с ним, минуя секретарей. А секретари обязательно отвечали:

— Наверное, через номер пройдет и ваш материал!

Наконец я услышал:

— Товарищ Симонов уходит в отпуск, он сдал все дела и просит вас обратиться к его заместителю товарищу Рюрикову²⁰⁹!

Тогда началось все сначала: проверка, корректирование текста, новые и новые препятствия. Я просил Отдел печати ЦК КПСС поддержать мое несомненное право напечатать свои возражения в органе Союза советских писателей, членом которого я состою со дня его основания. После этого однажды Б.С. Рюриков сам позвонил мне и сообщил, что письмо мое будет в завтрашнем номере газеты. После я узнал, что при сдаче материала кто-то обратил внимание редактора на то, что Симонов не решался печатать письмо. Рюриков ответил:

— Я говорил в ЦК. Они за Гумилевского.

Как видите, Сталин был прав. Ничего не стоило выступить с явной клеветой, и как трудно было ее опровергнуть. Легко понять было, почему Данилевского так боялись и почему с таким удовлетворением, как теплый дождь в засушливую пору, встречено было мое письмо.

За ним последовали выводы Комиссии президиума Академии наук, признававшие правильность моего письма. Данилевский пробовал возражать, но бесплодно.

Виргинский мне рассказывал потом, что, следуя своему житейскому правилу, Данилевский всюду жаловался на меня, кричал о недобросовестности членов комиссии, о пристрастности газеты. Кто-то заметил ему не без сочувствия:

— И зачем вам надо было с ним связываться?

Данилевский ответил искренне:

— Я не знал, что он такой зубастый!

13

Я опоздал к последнему поезду на Москву и решил ждать раннего утреннего. Ночь была теплая, светлая, и я остался на высокой платформе сидеть до утра. Когда я закурил, ко мне подошел железнодорожный служащий с электрическим фонарем в руках. Он вежливо извинился, прикурил от моей папиросы, поблагодарил и сел рядом. Вступать в разговор у меня не было никакой охоты. Я отвернулся и стал смотреть на зеленые огни семафоров.

Железнодорожный путь во весь перегон шел прямой линией. Огни семафоров мерцали, как бы поднимаясь друг над другом, а расстояние между ними терялось. Я забавлялся обманчивой игрой огней, как вдруг заметил смену зеленых — желтыми и красными огнями. Очевидно, приближался поезд, но несмотря на мертвую тишину вокруг, я не слышал ни малейшего гула, похожего на шум движущегося поезда.

Между тем огни семафоров меняли цвета с быстротой, свидетельствующей о бешеной скорости бесшумного поезда. Когда красный огонь вспыхнул на входном семафоре, а я по-прежнему ничего не слышал и не видел — мне стало жутко. Я невольно оглянулся на своего соседа. Он, видимо, также следил за меняющимися огнями, но без малейшего удивления. Я спросил его почему-то вполголоса:

— Что это такое?

В это время мимо нас по рельсовому пути промчалось какое-то очень легкое, ажурное сооружение на колесах. Разглядеть его устройство было совершенно невозможно, но ажурная конструкция позволяла удостовериться, что человека в этой коляске не было.

— Дефектоскоп,— ответил мне железнодорожник. — Для обследования рельсов: нет ли трещин...

— Но ведь на нем нет никого!

— Да, автоматический... — спокойно пояснил он. — Самопишущий прибор отметит на ленте неисправный рельс. Начальник участка просмотрит ленту и пошлет бригаду сменить его... Зачем же на нем быть кому-нибудь?

Мне показалось, что собеседник мой усмехнулся. Я пристально посмотрел на него. У него было простое, хорошее человеческое лицо, светлое и доброе, но улыбки я не заметил. Наоборот, в глазах его было что-то очень серьезное и строгое.

— Техника! — сказал он. — Теперь разрабатывается проект ремонтно-сварочного поезда, который сам будет менять рельсы... Человеку скоро нечего будет делать...

— Ну, положим, что не очень скоро, — с досадой подумал я, вспоминая пропасть дел, из-за которых я опоздал на поезд...

Мой собеседник взял свой, стоявший возле него, ручной фонарик и поспешно пошел вдоль платформы, повинуясь, видимо, какому-то знаку, которого я не видел.

Незначительный эпизод этот на пригородной станции оказался тем последним кристаллом в насыщенном до отказа растворе,

после которого кристаллизуется весь раствор. Неожиданно я стал видеть технику со стороны, незаинтересованно, и она постепенно представляла передо мной совсем в новом и неожиданном свете.

Двадцать лет, посвященных истории техники и ее создателям, приводили меня день за днем к странным выводам, дивившим меня самого. Выводы мои были столь необычны, столь противоположны общему мнению, что если иногда близким людям я и высказывал их, то не только объявлять о них в печати, даже записывать их для себя самого я долгое время не решался.

События военных лет, 1941–1945 годов, убеждали, однако, что живая действительность вовсе не так далека от моих странных заключений. Наоборот, я повсюду находил новые и новые подтверждения моим выводам.

Тогда я решил записать свои мысли в виде ученого мемуара, разделенного на параграфы, предельно лаконичного. Придавая моему сочинению такую необычную для меня форму, я хотел, на всякий случай, скрыть свое авторство или, в крайнем случае, иметь возможность отречься от него.

Рукопись в несколько страничек я соединил с разными газетными вырезками и переплел все вместе в одну тетрадь, так, чтобы всегда можно было объявить автором какого-нибудь философа типа Шпенглера²¹⁰ или Бергсона²¹¹. Сталин научил нас предусмотрительности. Мемуар мой «О новом начале в мире» состоял из следующих параграфов:

«1. При грубом приближении, достаточном, впрочем, для заключений, можно считать, что развитие техники шло тремя последовательными этапами: первоначально техника заменяла мускульную силу человека и по этому пути пришла к созданию машин-двигателей, сделавших человечество безмерно сильным в работе; затем техника созданием исполнительных механизмов и станков пришла на помощь человеку как производителю предметов пользования, т.е. заменила руки человека, и, идя по этому пути, сделала возможным изготовление всевозможных предметов потребления в любом количестве; наконец, на третьем этапе, автоматика стала заменять человека и как организатора производства, или движения, или наблюдения.

2. При таком положении техники, казалось бы, человек должен был оказаться к нашему времени не только освобожденным от тяжелого физического труда и обеспеченным всеми материальными благами жизни, но и располагающим свободным временем

для пользования всеми благами цивилизации, культуры и природы. В действительности весь мир стонет от нищеты, голода, переутомления, непрестанного труда и неустройства во всех областях личной и общественной жизни.

3. Такое противоречие между колоссальными возможностями науки и техники и всеобщей неудовлетворенностью в самых простейших потребностях человека обычно объясняется тем, что техника работает на вооружение, на истребление человека, на разрушение созданных благ во время войны, которые и составляют истинное бедствие мира. Избавление же от этого бедствия возможно только принятием всем человечеством нового социального строя после разрушения старого, при котором войны неизбежны.

4. От христианского и утопического социализма до социализма научного, на протяжении двух тысячелетий, было немало попыток там или тут, тем или иным путем создать новый социальный строй. Все эти попытки, особенно последние — фашизм и национал-социализм — с особенной яркостью доказали, что движение человечества идет совсем не по пути социальных, моральных, этических или эстетических достижений.

5. Колоссальное движение человечества можно видеть только в непрестанном развитии науки и техники — это, очевидно, и есть основное движение человечества, которому войны, социальные неустройства, голод, бедствия, страдания не только не мешают, но в самой высокой мере способствуют.

6. Мы часто говорим, что человек переделывает природу, пользуясь средствами науки и техники, но правильнее говорить, что «природа сама себя переделывает», пользуясь нервной системой созданного ею человека. Наука и техника не есть нечто чуждое, постороннее природе, отдельное от нее — это есть сама природа, одна из бесконечного множества форм движения материи.

7. История развития науки и техники делится на два периода: в первый период наука и техника обслуживали человека, во второй — человек стал обслуживать технику. Этот период начинается с того момента, когда большая половина предприятий и производительных сил стала вырабатывать не продукты потребления человека, а продукты потребления техники. В силу известной стереотипности мысли огромное большинство людей и до сих пор убеждено, что техника служит человеку, не замечая того, что давно уже человек служит технике. Рабочий Форда, мчащийся в собственном автомобиле на завод, чтобы выпускать новые автомоби-

ли, вероятно, думает, что техника обслуживает его, в действительности, конечно, он со своим автомобилем обслуживает технику.

8. Техника чрезвычайно требовательна, в то время как человек уступчив. Человек может ходить без калош; автомобиль без покрышек не сдвинется с места. Авиационному мотору нужен высокооктановый бензин; человек может в крайности обходиться без сахара, без жиров, даже без картошки. Поэтому когда становится вопрос о том — употреблять ли картофель на гонку спирта для выработки синтетического каучука на автопокрышки или оставить его для потребления человека — вопрос решается в пользу техники.

9. Наука и техника являются самодовлеющим началом в мире, самостоятельным явлением природы. Я называю его новым началом в мире, исходя из возраста Земли».

Под мемуаром стоит дата: 9 июля 1946 года.

Через четырнадцать лет, приступая к работе над жизнеописанием академика В.И. Вернадского и впервые знакомясь с его сочинениями, я увидел, что мысли мои о новом начале в мире вовсе не были такими странными и страшными, как мне казалось. И Вернадский видел в науке «природное явление», и Вернадский писал много раз о новом начале в мире, которое видел в том, что с «человеком в мир пришла огромная геологическая сила». Об этом основном положении Вернадского гласит и надпись, высеченная на его надмогильном памятнике на Новодевичьем кладбище. Наука и техника являются лишь результатом, следствием деятельности геологической силы, а не самодовлеющим началом, как думал я.

Мое конкретное, образное, художественное мышление вело меня к правильным наблюдениям, но в конечном результате к совершенно иным, нежели у Вернадского, заключениям. Конечное заключение мое изложено во втором мемуаре «О новом начале в мире с той же датой и в том же переплете, что и новый».

Вот девять параграфов этого второго мемуара:

«1. В настоящее время техника, опираясь на теоретическую науку, все более и более становится наукой, а наука, опирающаяся на тончайший эксперимент и исследовательскую аппаратуру, все более и более становится техникой, так что различие между ними становится несущественным.

2. Техника как явление природы и новое начало в мире в своем развитии принимает все более и более ясное направление. Сейчас уже нет никакого сомнения в том, что наука и техника

подошли вплотную к решению проблемы атомной энергии, т.е. к проникновению в самую сущность мироздания.

3. Движение материи и вечность ее бесконечны, но формы, принимаемые ими, конечны, т.е. имеют начало и конец, рождение и смерть. Никто никогда не сомневался в том, что Земля некогда создалась и когда-нибудь умрет. Гипотезы об охлаждении Солнца, о столкновении Земли с другими планетами имели в виду предположить, как произойдет конец Земли.

4. Современные представления о происхождении планет и звезд исходят из учения об атомном строении вещества.

5. Вспышки звезд, за которыми следует их исчезновение, являются результатом высвобождения атомной энергии вследствие неизвестных причин.

6. Высвобождение атомной энергии идет по принципу цепной реакции, подобно горению, и эта реакция, раз начавшись, хотя бы в скромной лаборатории ученого, может сокрушить в несколько часов земной шар.

7. Сама по себе реакция такого рода не может начаться, и Земля, как и звезды, должны были бы существовать вечно в данной форме, ибо другого конца, кроме атомного взрыва, они не могут иметь. Но материя находится в вечном движении и существование вечных форм невозможно.

8. Техника как явление природы должна быть рассматриваема смертельной болезнью Земли.

9. Человек как создание природы должен быть уподоблен тем микроорганизмам, деятельность которых ведет к разрушению обитаемого ими организма».

Если в 1946 году конечный мой вывод казался фантастическим, то в 1961 году человечество с его запасом атомных и водородных бомб в любой момент способно уже было уничтожить если и не земной шар, то почти все живое на нем, в том числе и человека.

Вернадский умер в 1945 году, уверенный в том, что «исторически длительные, печальные и тяжелые явления, разлагающие жизнь, приводящие людей к самоистреблению, к обнищанию, неизбежно будут преодолены». Мой же мемуар заканчивался вопросом: может ли человечество, даже будучи глубоко и непреклонно убеждено в правильности изложенных в мемуаре первом и втором положений, предотвратить, остановить движение, принявшее столь ясное и определенное направление?

Отвечал я так: нет, поскольку человек не имеет свободной воли, в чем наука и философия давно уже не имеют никаких сомнений.

Все это, разумеется, чистейший пессимизм, с которым на люди и показаться немислимо.

Но подо всем этим какая-то глубинная правда несомненно есть.

В Москву подвели саратовский газ — щедрый и величественный дар природы. Приятно было об этом узнать, тем более что в годы войны газовое снабжение было из рук вон плохое.

Когда ко мне в обычный срок зашел монтер с газового завода, проверявший ежемесячно исправность горелок и кранов, я сказал:

— Это что же, теперь будут нам давать саратовский газ?

— Саратовский вам не дадут, — отвечал он. — Он бесцветный и запаха нет. Можно не заметить в случае неисправности — были уже и отравления и взрывы! Он на заводы идет. На трубопрокатный, например. Одних газовых труб сколько надо? Ведь до Саратова — верст шестьсот с лишним?

Монтер равнодушно смазал краны, поводит горячей спичкой вокруг счетчика — нет ли утечки — и, забрав свой чемоданчик, ушел. А я стоял перед плитой и думал:

«Газ идет на завод, делающий трубы, трубы идут на подводку газа к заводу... Какая же доля бесценного подарка природы придется непосредственно на прямые нужды человека?»

Что в этом заколдованном круге, на дне его лежит какая-то правда, я не сомневался. Но нашел ее не я. Ее нашел величайший естествоиспытатель нашего века Владимир Иванович Вернадский.

14

Не один Вернадский — все герои моих научно-художественных повестей и романов, высказывавшие новые идеи, пролагавшие новые пути в науке, технике или искусстве, неизменно сталкивались с ожесточенным сопротивлением среды. Редко кто из них выходил победителем в борьбе с людьми, материалом, несовершенством технических средств своего времени. Но те, кто шел вслед за ними по проложенным ими новым путям, обязательно достигали успеха и умирали в славе, почестях и богатстве.

Трагическое одиночество Лобачевского, Бутлерова, Сеченова, Вернадского я понимал и чувствовал как свое собственное, но мне никогда не приходило в голову, что и я окажусь в положении изобретателя, пролагателя новых путей в литературе и столкнусь с невероятным и необъяснимым сопротивлением среды.

Физиологическая канва творческого процесса у всех людей и на всех ступенях культуры одинакова. В сущности говоря, и каждая книга является результатом изобретательской мысли, и там, где автор высказывает свои мысли или по-новому толкует известные факты, сопротивление среды делало свое дело немедленно.

В 1953 году переиздавались массовым тиражом «Русские инженеры». Редактором был Виктор Давыдович Пекелис, молодой человек, быстро снискавший доверие и симпатии руководства «Молодой гвардии». <...>

Редакционная работа над переработанным для массового издания текстом «Русских инженеров» обратилась в непрерывный трехдневный спор мой с Пекелисом. И новый мой взгляд на роль и значение русских «самоучек» и мое понимание «чутья» и творческого процесса вызывали у редактора возражения. Он твердил:

— Неубедительно. Противоречит марксистско-ленинской теории. Давайте снимем!

Измучившись, мы наконец выработали приемлемые для обоих выражения. Согласились и на том, что больше никаких поправок вносить не будем.

— Это текст окончательный, будет прямо верстка! — твердил Пекелис, хлопывая по распухшей от постоянного листования взад и вперед рукописи. — Договорились?!

— Договорились!

Распространенная в советской деловой практике формула джентльменского соглашения иронических людей ни к чему не обязывает. И через неделю я получил гранки, освобожденные Пекелисом от всех спорных мест, несмотря на договоренность. Все, что составляло действительную ценность книги — собственные мысли и выводы автора, — исчезло. Взбешенный бесстыдством и глупостью поступка, я позвонил Пекелису:

— Послушайте, — не сдерживаясь сказал я, — то, что вы сделали, — подлость!

— Да, — отвечал он совершенно спокойно, — я бы даже выразился резче...

— Зачем же вы это сделали?

— Видите ли, Лев Иванович, — с полнейшей любезностью объяснил Виктор Давыдович, — у нас есть неписанный редакторский закон: выбрасывать все, что кажется сомнительным...

— А что вы считаете сомнительным?

— Все, что до сих пор никем не было разработано, нигде не было опубликовано!

Этот анекдотический диалог, буквально записанный, я передал главному редактору с требованием восстановить все изъятые страницы. Директор созвал совещание, текст был восстановлен, но неписанный редакторский закон решительно никого не смутил.

Когда кто-то заметил Пекелису:

— Как же можно говорить автору такие вещи, Виктор Давыдович?

Он ответил:

— Я пошутил!

И тем дело кончилось. Признаюсь, я почувствовал уважение к иронической откровенности моего редактора. Лучше уж признаться в существовании неписанных законов, чем расписаться в бездумной косности собственного ума и мышления. К сожалению, оглушенный собственным бешенством, я иронии Пекелиса сразу не понял и не оценил. Истребительный смерч Сталина заставлял каждого защищаться кто как мог и удесятерять силу сопротивления среды.

В 1950 году доработанную и заново переписанную работу мою о Павловском учении и литературе я одновременно направил в два адреса: академику К.М. Быкову²¹², директору Института физиологии имени И.П. Павлова, и К.А. Федину, руководителю секции художественной прозы Союза писателей.

Сначала ответил Федин:

«С великим интересом буду читать Вашу рукопись, тем более что уже письмо Ваше показалось мне очень заманчивым. Беда лишь в том, что крайне сейчас занят, и мне, волей-неволей, придется читать понемногу, короткими кусками. Правда, сам характер Вашей работы требует такого медленного чтения, Вы собрались в поход в такие сокрытые от глаз дебри, где до сих пор довольно беспомощно блуждали и плутали самые разнообразные и нередко смелые человеческие умы — и художники, и философы... Кажется, Вы в одном правы, о чем могу сказать, не читая рукописи, а только заглянув в нее: наверное, именно Павлов наметил

свою тропу в т.н. психологию творчества своим физиологически обоснованным делением высшей нервной деятельности на два типа, да и не только этим, конечно».

Однако уже через неделю, 10 октября 1950 года, Константин Александрович пишет мне второе письмо:

«Прочитал. Нахожу, что очень интересно. То есть и читается с интересом, увлекательно, и по существу ново, остроумно, просто. Наверное, ученые и художники найдут многое оспоримым, а критики поголовно обидятся. Но «риск» Ваш, кажется, окупился».

Строгий и едва ли не последний представитель русских литературных традиций, Федин пишет дальше:

«Мне хотелось бы повидать Вас, но на меня внезапно напали с одной, видимо неизбежной, поездкой, и я не представляю себе, как лучше сделать, чтобы встретиться. В крайнем случае просто позвоню Вам по телефону».

Этого мало.

«Я успел, — добавляет он, — коротко поговорить с Твардовским о рукописи и заинтересовать его — он главный редактор «Нов. мира». Не знаю — улыбается ли это Вам. Ну, да Вы мне скажете. Так или иначе, не позже 13-го с. м. протелефонирую Вам».

По телефону Константин Александрович только предупредил, что так или иначе, а он найдет время для встречи, и вечером зашел ко мне с рукописью в руках.

Федин, уроженец Саратова, как и я, провел детство на Волге, учился в одно время со мной, но в Коммерческом училище. Однако по Саратову я его не знал, познакомился с ним уже в Москве, встречался иногда на собраниях или в Клубе, но чисто формальным образом. Так что и письма по поводу моей рукописи, и встреча у меня полностью оставались в пределах русской писательской традиции... Константин Александрович вообще как-то писательски традиционен и в своих произведениях, и в отношениях с товарищами, и в жизни, и в быту, и даже во внешности, в манерах, в обращении с людьми.

Вместе с рукописью Константин Александрович положил на мое бюро несколько листочков с его замечаниями, вернее размышлениями во время чтения: тут были вопросы, и возражения, и подтверждение правильности выводов.

— Вы знаете, — сказал он еще не садясь, — все мне было так ново и неожиданно, а в то же время так убедительно, что я запо-

дозрел... нет ли тут подбора цитат, подтасовки... Тогда я стал свертывать цитаты из Толстого и Чехова...

Немного лукаво, по-актерски делая паузу, он посмотрел на меня. Я спокойно спросил:

— Ну и что же? Обнаружили передержки в цитатах?

— В том-то и дело, что нет! Все точно!

Я предложил ему сесть за стол и выпить вина. Он отказался, заметив, что должен еще сделать много дел, и добавил:

— К тому же ведь я пью только водку!

Усаживаясь, Константин Александрович вернулся к взятой уже на себя ранее заботе:

— Твардовский уже спрашивал у меня о вашей работе. Позвоните ему — он пришлет курьера за нею. Я думаю, что он возьмет...

Вспоминая свои первые попытки напечатать что-нибудь из моих «Заметок», я безнадежно покачал головой. Гость мой даже рассердился, когда я сказал: не напечатают!

— Да помилуйте, почему же это нельзя напечатать? Что тут неприемлемого? — протестовал он и затем, утихая, прибавил: — Я, между прочим, говорил и с Фадеевым о вашей работе. Он сказал, что знает вашу работу, но в ней много спорного!

— Что он может знать о моей работе? Он читал когда-то заметку в несколько страничек для «Литературной газеты». И больше ничего... — объяснил я с раздражением, вспоминая все, как было.

Входя в мою однокомнатную квартиру на улице Фурманова, Константин Александрович сказал, оглядывая мое жилище: «У вас тут как келья!» И вот в этой келье передо мной так странно встретились два писателя, два человека, два ума, две души: Фадеев и Федин. Для Фадеева теряют значение самые дельные, новые, интересные мысли, коль скоро они «спорны», то есть, быть может, не сойдутся со сталинским марксизмом. Для Федина все значительно и нужно, раз оно сходится с нуждами, с интересами, задачами литературы.

— Нападать на вас будет наша художественная критика, — возвращаясь к моему сомнению, продолжал Константин Александрович, — она пойдет против приложения учения Павлова к анализу творческого процесса...

— Почему?

— Да потому, что критики не могут, разумеется, признать неполноту своей способности воспринимать художественное! Они

просто обидятся за свою принадлежность к «умственному» типу, а не художественному!

Несомненно, Федин обладает настоящим пониманием людей. И то, что ученые найдут многое оспоримым в моей работе, и то, что критики поголовно обидятся, оправдалось полностью. Но если бы я обладал таким даром предвидения, то, наверное, не делал бы никаких попыток напечатать мое сочинение.

Институт физиологии имени И.П. Павлова в лице старейших учеников Ивана Петровича — проф. Ф.П. Майорова и академика К.М. Быкова — признал правильным мое положение о том, что «ни один работник слова не может игнорировать физиологию высшей нервной деятельности», и со своей стороны заявил, что физиологи павловской школы «должны приветствовать всякую попытку со стороны работников слова понять свою деятельность на основе физиологии высшей нервной деятельности».

В письме института от 26 ноября 1950 года указывался ряд неправильных применений учения Павлова к явлениям художественного порядка, но в общем признавалось, что «рукопись представляет интерес и заслуживает внимания» и что некоторые вопросы следует углубить и расширить, задача же, поставленная мной, характеризуется «большой и ответственной».

Я принял рекомендации К.А. Фебина и учеников Павлова. Немедленно взялся за исправление, углубление и расширение некоторых из вопросов, затронутых мной, а вместе с тем послал рукопись А.Т. Твардовскому.

Твардовский поручил просмотр моего сочинения своему критику Е.Д. Суркову²¹³. Законченный представитель критики, способной «жужжать когда угодно, о чем угодно», бездумно оперируя начетническим марксизмом, Сурков писал мне так: «Ваша работа «Художественное творчество в свете учения академика И.П. Павлова о второй сигнальной системе» представляется мне глубоко ошибочной, так как она ведет к деидеологизации художественного творчества».

После краткого экскурса в рукопись он наставительно заключил, что «вопросы литературы могут быть поняты только с позиций диалектического материализма, с позиций философских». Павлов, значит, еще оставался «непроверенным» с позиций философских и диалектического материализма!

На официальном письме «Нового мира» стоит дата: 2 января 1951 года... Писалось все это уже после научной сессии, посвященной проблемам учения И.П. Павлова, происходившей в Москве с 28 июня по 4 июля 1950 года. Сессия широко освещалась в печати, всем было известно, что за кулисами руководил ею сам Сталин. Во вступительном слове президент Академии наук СССР С.И. Вавилов торжественно заявил, что «Павлов воздвиг исключительно сильную опору материалистическому мировоззрению в кардинальном вопросе — взаимоотношений материального и психического».

Этого мало. В постановлении объединенной научной сессии Академии наук СССР и Академии медицинских наук говорилось:

«Выдающиеся научные достижения И.П. Павлова, установившие обусловленность всех форм жизнедеятельности сложного организма, в том числе и психической деятельности, условиями существования, выдвинули нашу отечественную физиологию на первое место в мире и открыли широкие горизонты для ее дальнейшего развития. Они создали твердый естественнонаучный фундамент для перестройки медицины и психологии на научных началах, дали много ценного для педагогики и физического воспитания и могут дать много ценного для учения о языке».

Казалось бы, что это постановление предоставляло моей работе, первой от сотворения мира, страницы всех журналов, содействие всех учреждений, раскрывало двери всех издательств.

Но кто-то вспомнил, что сочинение-то мое не что иное, как ревизия марксизма. И вот после предупредительного телефонного звонка приходит взволнованная и испуганная Вера Васильевна Буданцева. О гибели Сергея Федоровича она еще не знала, вернее, не хотела знать, не хотела верить. Верная жена не продавала его книг, не трогала его вещей, хотя жила в голоде и холоде тех страшных лет. Она надеялась, что муж вернется. Из прежних друзей мало кто не покинул ее. Но мы встречались, помогая в меру сил и нужды друг другу. Моей судьбой Вера Васильевна интересовалась как своей собственной, и я не удивился, что она пришла «по важному делу, касающемуся лично меня». Она потребовала папиросу:

— У меня очень плохие, не стану вам отравлять воздух...

Я еще курил тогда и сам. Окутывая себя дымом, Вера Васильевна начала рассказывать:

— Вы знаете, у меня есть подруга, Мария Николаевна, я говорила о ней вам. Так вот она была вчера у меня и просила, чтобы я передала вам обязательно следующее. Но это между нами...

Я кивал головой, курил и слушал.

— Один крупный работник ЦК к вам очень хорошо относится. Он знает мужа Марии Николаевны, что она знакома со мной, а я знакома с вами. Так вот он просил передать вам, что он советует вам ни в коем случае не печатать ваших заметок по Павлову.

— Почему?

— Он не объяснял ничего, он только сказал, что если вы напечатаете вашу статью, так вы себя погубите. Вас возьмут в штyki, вам будут загорожены все пути, и вы вообще больше ни одной строчки не напечатаете!

О таинственном моем доброжелателе я не имел понятия. Да и представить себе не мог, чтобы моя келья на улице Фурманова и я сам жили бы в чьей-нибудь чужой памяти.

— Кто же этот человек?

— Не знаю, она не назвала его.

Все это было похоже на мистификацию, но до тайной цели ее добраться мы не могли. Во всяком случае я продолжал работать. Замечания Института физиологии и К.А. Федина расширяли программу «Заметок». «Заметки к Павловскому учению о слове» превращались постепенно в «Заметки писателя к Павловскому учению об условных рефлексах».

Чем больше и глубже вчитывался я в Павлова, тем все чаще и чаще приходилось мне вступать в спор с редакторами моих книг. Следуя законам высшей нервной деятельности, я искал новых слов и выражений, на что тратил много времени и сил. Но, как правило, редакторская рука именно их метила вопросами и птичками на полях. Я ссылался на законы физиологии и предлагал вместо бесконечных дискуссий ознакомиться с моими «Заметками».

Так рукопись моя очутилась на столе редактора «Бутлерова». Нина Николаевна работала одновременно и в редакции «Вопросов философии». Здороваясь как-то с сотрудницей, заведующий отделом эстетики этого журнала, В.С. Кеменов²¹⁴, взглянув на рукопись, лежавшую на столе, сказал: «А, это интересно!» и забрал ее с собою.

Старый знакомый Нины Николаевны Виктор Семенович Виргинский рассказывал потом, что сама она по поводу «Заметок» высказалась весьма своеобразно:

— Такие проблемы под силу только гениям. Но так как Гумилевский не гений, то, очевидно, тут есть какая-то ошибка, что-нибудь, да не так!..

— Разве нужно быть гением, чтобы нож, предназначенный для хлеба, употребить для разрезывания бумаги, например? — напомнил я Виргинскому.

Через какое-то время В.С. Кеменов позвонил мне:

— Вы понимаете сами, что полностью вашу работу журнал наш не может поместить — она велика для нас, — сказал он. — Поэтому прошу вас сделайте нам статью в нашем объеме, то есть на тридцать — тридцать пять страниц на машинке!

— Вы сами будете решать вопрос о статье или кто-нибудь еще? — на всякий случай осведомился я.

— Только я, все вопросы эстетики идут через меня! — отвечал он.

— Хорошо, я попробую это сделать!

Кеменов много лет был председателем Всесоюзного общества культурных связей с заграницей, на его слово, кажется, можно было бы положиться. Но интеллигентская доверчивость становилась смешной. Я медлил. Неожиданно осенью помощник Кеменова В.И. Борщуков²¹⁵ напомнил мне, что в журнале ждут обещанную статью. Тогда я немедленно взялся за дело и представил часть моих «Замёток» в виде самостоятельной статьи.

Летом 1952 года Борщуков прислал мне рецензию, статью и просьбу внести соответственные исправления как можно быстрее.

Рецензия возбуждала надежды.

«Рецензируемая рукопись, — говорилось там, — посвящена исключительно важной и актуальной проблеме — связи учения И.П. Павлова с художественным творчеством писателя. Рукопись написана живо и интересно. Автор ставит остро и смело целый ряд весьма сложных и важных проблем современной эстетики. Бесспорным является утверждение тов. Гумилевского о том, что писатель должен знать основы учения И.П. Павлова о высшей нервной деятельности с тем, чтобы более правильно, умело, научно обоснованно пользоваться своим единственным оружием творчества — художественным словом. Помещение такой статьи в журнале «Вопросы философии» крайне необходимо и своевременно, после того как автор переработает ее, учтя все критические замечания».

В соответствии с духом времени рецензент в заключение восклицал: «Не может не вызвать удивления тот факт, что тов. Гуми-

левский совсем игнорирует труды товарища Сталина по вопросам языкознания!» А в сопроводительном письме редакции уже прямо требовалось: «Связать с трудами И.В. Сталина по языкознанию».

Труды Сталина по языкознанию я действительно игнорировал, как все вообще языковедческие и литературно-критические работы, не опирающиеся на объективные законы высшей нервной деятельности. Я послал Сталину свои «Заметки к Павловскому учению о слове», указывая в письме, что именно Павлов вручает ключ к тайнам мышления, литературы и эстетики.

Сталин не нашел ничего лучшего, как направить мое сочинение для обсуждения в критическую секцию Союза писателей. Он, верно, считал, что секция эта равнозначна литературной академии, но я, не дожидаясь обсуждения, попросил вернуть мне рукопись под тем предлогом, что работа «сделана до появления трудов Сталина по языкознанию» и потому нуждается в доработке. Товарищи и сами рады были таким способом выбраться из неприятного положения — указаний, в каком направлении обсудить рукопись, дано не было!

Для «Вопросов философии» я связал свою статью с трудами Сталина, ссылаясь на его положение о том, что «всякая наука имеет свои специфические особенности». Так делали все философы, так сделал и я, в наивной надежде, что под этим флагом статья пройдет.

Однако Кеменов меня обманул. Когда статья дошла до главного редактора — тогда это был Чесноков, — он сказал Кеменову: — Лучше воздержаться!

И Кеменов не стал возражать, полагая, что воздержаться от всяких высказываний лучше, чем защищать их.

Было бы скучно, хотя и поучительно, рассказывать шаг за шагом историю моих попыток так или иначе познакомить литературную общественность с моими «Заметками к Павловскому учению». Расскажу лишь о самых характерных эпизодах из этой истории.

Во всяком случае, признаюсь, что многочисленные отзывы, возражения, споры, предложения побуждали меня постоянно возвращаться к работе, исправляя, дополняя и поясняя основные ее положения. «Заметки» выросли в объеме и содержательности. Возрастало и сопротивление им.

В 1952 году я запросил академика К.М. Быкова, не согласится ли он ознакомиться с моей работой, исправленной и дополненной

по совету Института физиологии. Он отвечал согласием, и я послал рукопись.

Переписка между нами продолжалась вплоть до кончины Константина Михайловича, но существа дела она не касалась. Я запрашивал о мнении академика; он сам, а чаще его референт отвечали готовностью заняться моей работой. И после смерти К.М. Быкова, в июне 1959 года, его референт писал мне: «в связи с кончиной Константина Михайловича возвращаю Вам три ваши рукописи, присланные в разное время к нам в Институт и хранившиеся в секретариате К.М. Быкова. На последнюю рукопись, по поручению акад. К.М. Быкова, отзыв написала доктор наук М.М. Кольцова. С этим отзывом К.М. Быков не успел ознакомиться».

Невозможно не сказать тут же, что совершенно так же, до самой смерти своей не высказался по поводу моей работы и другой крупнейший ученик И.П. Павлова — Леон Абгарович Орбели²¹⁶.

Орбели, по удостоверению его секретариата, весьма интересовался моей работой, но по болезни не мог взяться за чтение, а в конечном счете рукопись у него пропала, и секретариат по его приказу искал ее вплоть до смерти Орбели, но безрезультатно.

Орбели получил рукопись лично от вице-президента Академии наук Ивана Павловича Бардина.

Незадолго до того, осенью 1954 года, ко мне явилась О.Н. Липская, секретарь Бардина. Она передала мне письмо Ивана Павловича и просьбу просмотреть рукопись его воспоминаний, а затем принесла и рукопись. Было условлено, что, прочитавши рукопись, я встречу с Иваном Павловичем и подробно выскажусь о достоинствах и недостатках его, воспоминаний.

Случилось так, что накануне встречи у меня произошел инфаркт миокарда. Вставать с постели мне запретили. Я продиктовал письмо с моими замечаниями, ссылаясь при этом не на свой личный вкус, а на законы высшей нервной деятельности. Упомянув о моей работе, я добавил, что если вопросы объективного анализа художественного произведения интересуют Ивана Павловича, я охотно пришлю ему рукопись своих «Заметок».

Иван Павлович немедленно прислал за рукописью. Вскоре О.Н. Липская сообщила мне, что Иван Павлович передал рукопись Орбели с просьбой прочитать ее и дать отзыв.

Человек необычайно деятельный, энергичный и отзывчивый, Иван Павлович, казалось, только затем и держался своего высокого положения, чтобы оказывать поддержку и помощь людям,

где и чем мог. Он часто и не дожидался просьб, а догадывался сам, что нужно было бы сделать. Узнав о моей болезни, он прислал своего врача, крупнейшего специалиста по болезням сердца. Когда-то он так же, без просьб издательства, прислал свое мнение о «Русских инженерах», помещенное предисловием.

Я, вместе с редактором моей книги, ездил в Президиум Академии наук, чтобы дать Ивану Павловичу на подпись это предисловие, и после того не искал никаких встреч с ним. Иван Павлович сам находил ту или иную возможность в чем-нибудь меня поддержать, и о том узнавал я всегда через других и случайно.

И лишь для того, чтобы попросить меня взяться за обработку его воспоминаний, приехал он ко мне. Вот тогда-то я и спросил его, напомнив о моих «Заметках».

— Скажите совсем откровенно, Иван Павлович, чем же объяснить, что несмотря на ваши письма и телефонные разговоры, не говоря уже о моих запросах, ни Быков, ни Орбели не хотят высказать своего отношения к моей работе?

— Да просто боятся, я думаю! — ответил он, слегка усмехнувшись.

Тень Сталина лежала на всех путях живой человеческой мысли. Иван Павлович был, очевидно, прав. С той же боязнью высказаться — по крайней мере, письменно — встретился я и в Москве. Петр Кузьмич Анохин²¹⁷, непосредственный ученик И.П. Павлова, получил рукопись от В.Г. Лидина, общего нашего знакомого.

Я спросил Анохина:

— Соответствуют ли мои выводы учению Павлова или я в чем-нибудь ошибаюсь, трактуя его по-своему?

Петр Кузьмич отвечал:

— Нет, у вас все это правильно понято, но мы, в наших академических работах, не можем идти так далеко...

Разговор шел по телефону. Я попросил Анохина написать мне только эти несколько строчек. Он обещал это сделать непременно. Я напомнил ему о своей просьбе письмом. Он ответил также письмом, очень любезным, сослался на свою занятость, просил извинения и обещал на какие-то праздники обязательно выбрать время и написать мне свое мнение о рукописи.

На это извинительное письмо у профессора ушло больше времени, чем на три строчки отзыва, уже высказанного ранее. И все же он предпочел отвечать извинениями, но не прямым отказом и тем более не отзывом, на что требовалось и времени не больше.

Разумеется, я не настаивал.

Александр Николаевич Студитский²¹⁸, знаток Павлова, о котором я написал биографическую повесть, радушно прочитал мое сочинение и сказал, пожимая, плечами, с долей презрения:

— Неужели кого-нибудь нужно уговаривать, чтобы напечатать вашу книгу? Невероятно!

— К сожалению, это так! — подтвердил я.

Студитский — ученый и писатель, физиолог и художник — в то время заведовал отделом науки в «Правде». Не сомневаясь в его поддержке, я отнес рукопись в «Советский писатель» Петру Ивановичу Чагину²¹⁹. Он досиживал там свою редакторскую карьеру в должности заместителя главного редактора. Конечно, он спросил:

— Кому дать на отзыв, как вы думаете?

Студитского он нашел самым подходящим рецензентом и предложил мне заручиться его согласием.

Александр Николаевич смутился:

— У меня совершенно нет времени, я так занят...

— Но ведь вы уже прочли рукопись, остается только написать отзыв, как угодно коротко...

— Представьте, и на это нет времени!

«Советский писатель» продержал рукопись месяца три и возвратил мне ее «как написанную на очень сложную тему, но не решающую ее» и потому неприемлемую для издания.

Это было в феврале 1953 года, а 5 марта умер Сталин. Нашлось немало людей, проливавших искренние слезы по этому поводу... Но когда рыдавшие вытерли глаза, живая человеческая мысль стала высвобождаться из-под тяжелого сталинского авторитета. Началось то, что Эренбург с фельетонной хлесткостью назвал «оттепелью».

На общегородском собрании московских писателей тогдашний редактор «Правды» Д.Т. Шепилов²²⁰, излагая программу нового правительства, пообещал даже, что с осени будет снижена влажность хлеба с 50 процентов до нормальной в 30–35 процентов. Программа возбудила надежды, наверное, потому, что произносил свою речь оратор без болванки. Так назывался подготовленный референтами и секретарями текст у ответственных товарищей в своем кругу. «Необолваненная» речь звучит всегда искренне и вызывает доверие.

Быть может, «Заметки к Павловскому учению» казались издателям и критикам просто ненужными. Мало кто видел, что

литература наша по несовершенству формы, по незнанию основных законов художественности не выполняет своего назначения. И казалось, что как только будет понято, что «беллетристика должна быть прекрасной, иначе она отвратительна», так тотчас же вспомнят о моей работе и ухватятся за нее, как за спасательный круг.

Я послал рукопись Н.С. Хрущеву с краткой историей книги. Отдел науки и культуры ЦК КПСС заинтересовался работой. Игорь Сергеевич Черноуцан²²¹ сообщил мне, что отдел рекомендовал мою статью «Литературной газете» и «Вопросам философии», а книгу — журналу «Октябрь», издательствам «Советский писатель» и «Молодая гвардия».

Я растроганно поблагодарил. Игорь Сергеевич ответил:

— Да за что же нас благодарить? Это мы должны вас благодарить за вашу работу.

Редакционная коллегия «Вопросов философии» обсудила вопрос о моей статье и благоразумно решила, что раз в статье речь идет о художественной литературе, то целесообразнее печатать ее в «Литературной газете».

М.Б. Храпченко²²², тогдашний редактор «Октября», сказал мне:

— Вы сами, конечно, понимаете все значение вашей работы. Это гигантский труд, вызывающий огромное уважение... Но он сделан как книга и, если бы речь шла об издании книги, я всецело был бы на вашей стороне. Но журналу она никак не подходит!

Мой знакомый А.Л. Лесс взялся переговорить с членом редакционной коллегии Казымовым. Казымов рассказал, что Храпченко, говоря о моей рукописи, выразился так:

— Это, конечно, эпохальная книга для советской литературы. Но я в журнале человек новый и, если будут ругать, отвечать буду я, а не Черноуцан!

Забавно, что, когда я вскоре попросил Храпченко как члена редакционной коллегии «Советского писателя» быть на заседании, обсуждавшем вопрос о моей книге, он не приехал и даже ничего не отвечал на мое напоминание о его желании поддержать издание моей книги.

«Советский писатель» отделался от моей книги тем, что книга уже рассматривалась два года назад и была отклонена.

Главный редактор «Молодой гвардии» С.В. Потемкин говорил так:

— Насколько я знаю, вы первым в мире поставили вопрос таким образом. Я не со всем согласен, но все-таки напечатал бы вашу книгу, если бы она была нашего профиля... Но она не наша. Это книга издательства Академии наук. Вот вам куда бы с ней.

Я со смехом рассказал, что с издательства Академии наук я и начал, предложив рукопись с отзывом К.М. Быкова и Ф.П. Майорова.

— Ну и что же?

— Председатель редакционного совета академик Волгин²²³ сказал: «Это, может быть, и очень интересно, но при чем тут Академия наук? У писателей есть свои издательства!»

Заместитель главного редактора «Молодой гвардии» Вера Александровна Морозова, умница и храбрец, сурово отчитала меня:

— Скажу вам прямо: держать такую вещь под спудом — преступление!

В дополнение к этой своеобразной оценке «Заметок» в мае 1954 года получаю письмо от руководителя Закарпатского отделения Союза писателей М. Тевелева²²⁴:

«С большим интересом прочитал вашу, не боюсь такого слова, замечательную книгу. Как она нужна писателям! Чувствую необходимость прочитать ее еще раз, а кроме того, познакомить с нею наш писательский коллектив Закарпатья. Уговорил слезными просьбами Александра Лазаревича оставить рукопись у нас на две недели. Она будет вам возвращена с благодарностью...».

Тевелев даже ездил с рукописью в украинское издательство, намереваясь добиться ее издания, но получил там сакраментальный ответ: «прежде батьки в пекло не лезть!»

К этому времени положительные оценки моей работы, при всеобщем сопротивлении ее публикации, не только не радовали меня. Нет, они приводили меня в бешенство. А тут еще предупреждение: держать такую вещь под спудом — преступление!

Я еще раз написал Н.С. Хрущеву. Все рекомендации отдела науки и культуры не достигли цели. Правда, оставалась еще «Литературная газета». Оттуда мне сообщили сначала, что статья будет напечатана, хотя она и велика по размеру. Через несколько дней со мной провели по телефону даже предварительную проверку цитат. Но в субботу 25 сентября 1954 года та же сотрудница сообщила, что Б.С. Рюриков — тогдашний редактор газеты — считает статью неподходящей для «Литературной газеты».

— Почему?

— Она трудна для наших читателей, — последовал нерешительный ответ. — Борис Сергеевич считает, что она будет уместна в «Вопросах философии».

— Но она уже была там. Именно там-то и решили, что лучше ее напечатать в «Литературной газете».

Тогда уже с полным смущением и растерянностью моя собеседница пробормотала:

— Да дело даже не в этом, а в том, что она велика для нас!

— Хорошо, — силясь оставаться спокойным, попросил я, — если вы не берете статью, то возвратите рукопись и, пожалуйста, напишите ясно, почему статья не годится!

— Я передам Борису Сергеевичу.

— Пожалуйста!

Это было в субботу 25 сентября 1954 года. А в воскресенье утром 26 сентября, выйдя из ванной, я почувствовал какую-то неловкость при повороте головы. Неловкость быстро перешла в боль, боль с шеи перешла на грудь, плечо, левую руку, бурно усиливаясь.

Это было первый раз в жизни. Никаких средств, обычно употребляемых при спазмах коронарных сосудов, у меня не было. Когда удалось вызвать врача, он осторожно предупредил о возможности инфаркта и приказал лежать неподвижно до электрокардиографического исследования.

Да, это был инфаркт, и так я пролежал три месяца.

Обязательная секретарша Б.С. Рюрикова позвонила через неделю и сообщила моей жене, что «Рюриков писать письма не будет, но желает говорить со мной». Я подойти к телефону не мог. Рукопись была возвращена на другой день, но без всякого письма, лишь с пометкой в левом углу сверху: «на собаку», то есть «переписать на бланке редакции», как принято для посылки в набор.

Кажется, в ноябре позвонил И.С. Черноуцан и торжественно сообщил, что, по указанию Н.С. Хрущева, рукопись направлена для окончательного и безапелляционного решения ученому совету Института психологии, а «Вопросам философии» предложено напечатать статью. Должно быть, письмо мое вышло убедительным.

В январе — это был уже 1955 год — Институт психологии прислал мне рецензию своего сотрудника И.Н. Жинкина²²⁵, а когда я смог выходить, состоялось 21 января обсуждение книги в Институте.

Институт психологии, входящий в состав Академии педагогических наук, помещался в незнакомых мне глубинах университетского двора на Моховой. Там лестницы были устланы приветливыми ковровыми дорожками. Это был мой первый самостоятельный выход после болезни, и я поднимался по ним с теплым чувством человека, возвращающегося к жизни. К тому же на лестничной площадке встретился мне Виктор Николаевич Колбановский, принимавший участие в обсуждении книги.

Докладчиком был И.Н. Жинкин. Он прочитал свой отзыв и, заканчивая, повторил, что «Заметки писателя к учению И.П. Павлова» представляют большой интерес и могут иметь огромное значение как первый опыт, но как научный труд книга вызывает ряд возражений, хотя читается с увлечением, как роман!

— Скажите, пожалуйста,— спросил я,— если бы моя книга была написана по всем канонам научного труда, вы читали бы ее с таким же увлечением?

— Не думаю, — просто и искренне отвечал он, и все засмеялись.

Подводил итоги обсуждению профессор Е.И. Игнатъев, проводивший заседание. Он подчеркнул при этом, что с «редким единодушием в институтской практике» совещание считает необходимым издание моей книги. Правда, когда я через месяц запросил Институт прислать мне выписку из протокола, ученый секретарь Института Ф.Н. Гоноболин, не присутствовавший на совещании, ответил мне уже более осторожно, но все же с уведомлением, что «совещание это признало желательным издание вашей книги, но при условии ее научного редактирования».

В Отделе науки и культуры ЦК КПСС решили предложить издание моей книги «Советскому писателю». Заведующая редакцией критики и теории литературы В.М. Карпова приняла у меня рукопись крайне сурово.

— Рекомендация ЦК для нас не обязательна, — предупредила она, когда я спросил, говорил ли с нею И.С. Черноуцан.

— А отрицательная рекомендация была бы обязательной? — осведомился я, но не получил ответа.

Вероятно, мне следовало бы забрать свою рукопись и уйти, но я этого не сделал.

По рекомендации Черноуцана, В.М. Карпова направила один экземпляр рукописи В.Н. Колбановскому, а другой, по своему

выбору, критику В. Новикову²²⁶. Колбановский дал исчерпывающе положительный отзыв. Критик Новиков, как и предсказывал К.А. Федин, встал на дыбы. Оговорившись, что он «не специалист в области естествознания» и не может судить, насколько правильно автор применяет и понимает учение И.П. Павлова, рецензент все же решил, что книга не может быть принята к изданию.

«Потому, — объяснил он, — что психологические свойства субъекта зависят не только от физических свойств организма, но определяются влиянием среды, зависят от субъективного фактора, в частности от сознания человека».

Давая общую характеристику работы, рецензент свидетельствовал, что книга «написана с блеском, присущим автору, имеет внутреннюю стройность, внутреннюю логику и систему доказательств». Но у «неспециалистов в области естествознания» «субъективный фактор» неодолим, как у религиозного человека — вера в Бога. Все аргументы от них отскакивают, как от стены горох.

Возник вопрос о третьей, решающей рецензии.

— Моя работа обижает критиков, — сказал я, — и посылать на новый отзыв критику можно, только желая получить отрицательный. Следовало бы дать теперь писателю.

— Кому? — спросила Валентина Михайловна.

Я не знал, кто входит в редакционный совет. Валентина Михайловна стала называть мне имена и первым назвала П.Г. Скосырева.

— Вот Скосыреву и пошлите! — предложил я.

— Очень хорошо, — отвечала она.

Я предупредил Скосырева. Петр Георгиевич со всегдашним расположением ко мне сказал:

— Буду читать с огромным интересом вашу рукопись. Я уже о ней слышал от товарищей...

В июле 1955 года происходило обсуждение рукописи на редакционном совете издательства. Увидев под третьим отзывом подпись критика Щербины²²⁷, я напомнил В.М. Карповой:

— Как же так? Мы договорились, что на третий отзыв дадим писателю. Вы обещали послать Скосыреву!

— Он отказался, — пробормотала она, глядя в сторону, и поспешно вышла из комнаты.

Я позвонил Скосыреву. Он отвечал:

— Ничего подобного. Никто мне не предлагал ничего, никто ничего не спрашивал! Я охотно взял бы вашу вещь на рецензию!

В.Р. Щербина написал в своем отзыве: «Гумилевский незаконно выключает физиологические раздражители из ряда всяких других факторов, определяющих эстетическое восприятие и творчество, как общественная жизнь, классовая борьба, культурные традиции и т.д. В этом главный недостаток исследования».

В своем заключительном слове я стал разъяснять, что общественная жизнь, классовая борьба, культурные традиции и т.д. — это и есть «физиологические раздражители», а моя работа лишь показывает, посредством какого физиологического механизма все эти факторы воздействуют на сознание читателя, бытие определяет сознание!

Критики мои явно не имели ни малейшего понятия об учении И.П. Павлова и под термином «физиологические раздражители» разумели элементарное физическое воздействие.

Стараясь добиться простого понимания, о чем идет речь, я пояснил, что и я, стоящий перед ними и произносящий слова, являюсь для них раздражителем, и Новиков и Щербина с хохотом отвечали:

— Нет, вы не раздражитель, а Лев Иванович Гумилевский, писатель, совокупность определенных общественных отношений...

— Но ведь если бы я не был прежде всего раздражителем, я бы не существовал в вашем сознании! Неужели непонятно?

Мои оппоненты отстояли от первых понятий физиологической и психологической науки примерно на полвека.

После заседания я с упреком заметил Новикову:

— Как же вы могли браться за рецензирование моей книги, не имея ни малейшего понятия об учении Павлова?

— Нас заставили в административном порядке, — угрюмо проворчал критик, — мы отказывались!

Это было то, что на нашем нынешнем языке называется организовать отзыв. С организованными выступлениями в печати, на собраниях я уже встречался не раз. С организацией внутрииздательского отзыва столкнулся впервые...

...Я обратился к Московскому отделению Союза писателей с просьбой представить рукопись «Заметок к Павловскому учению» в издательство Академии наук. Поводом служило выступление

непременного секретаря Академии наук и председателя Комиссии по научно-популярной литературе академика А.В. Топчиева на II съезде писателей. Он призывал к совместной работе академических институтов и местных организаций писателей...

В письме своем председатель Московского отделения К.А. Федин между прочим писал: «Выводы и заключения автора в этой работе, сделанные на основе учения И.П. Павлова, во многих отношениях оправдываются писательским опытом и находят подкрепление в писательской практике».

Топчиев согласился на рассмотрение рукописи в комиссии. Главный редактор издательства Академии наук Е.С. Лихтенштейн²²⁸, прочитав книгу, заявил мне:

— Это в высшей степени интересно. Отныне я энтузиаст издания вашей книги у нас.

Ефим Семенович Лихтенштейн знал меня давно, когда-то он был главным редактором «Энергоиздата», где с таким же энтузиазмом выпускал моего «Дизеля» и «Творцов паровых турбин». Но здесь энтузиазм его быстро угас. Вскоре он признался:

— У нас в издательстве все против вашей книги, против вас.

— Почему?

— Вы писатель, у вас свое издательство. Ведомственный антагонизм... Но посмотрим!

Сначала дали рукопись на отзыв академику Х.С. Коштоянцу²²⁹. Он ответил дипломатически, примерно так: вопрос должны решать писатели и психологи; если издательство Академии наук примет книгу для издания, необходимо подвергнуть ее редакции физиолога. Я хотел знать истинное мнение Коштоянца и попросил В.Н. Колбановского поговорить с ним по-товарищески. Разговор принял неожиданный оборот:

— Если не для издательства, — сказал Коштоянц, — то, конечно, книга должна быть издана, она оригинальна и ставит важные вопросы...

Помощники Лихтенштейна послали рукопись уже по своему выбору, профессору Немцовой, представленной мне ученицей Павлова. С истинно женской решительностью она написала:

«Интимная природа процессов, рассматриваемых в рецензируемой книге, не может быть раскрыта на основе этих закономерностей, свойственных как человеку, так и животным».

И в другом месте, после похвалы идеям автора:

«Запасы знаний о нервных механизмах, лежащих в основе сложных психических процессов, которыми располагает современная физиология, ни в коей мере не дают пока возможности осуществить идею автора».

Странная «ученица Павлова» к тому же искажила цитаты из высказываний своего учителя. Я указал на это издательству:

— Нет ли у вас рецензента, более осведомленного в павловской физиологии?!

— Не беспокойтесь, найдем! — грозно ответил назначенный книге редактор.

И действительно, нашли. Фамилию его от меня скрыли. Этот аноним, в сущности, повторял предшествующего, но в десять раз более пространно доказывая, что вся работа построена на совпадении установленных Павловым закономерностей с художественной практикой классических русских писателей.

«Разве только в порядке самой общей аналогии можно говорить о какой-то близости этих понятий, но с такими ограничениями и оговорками, что сближение это теряет смысл», — заключал рецензент.

Физиологи второго разбора не допускали мысли о возможности расширения павловских понятий для приложения их в той или иной области духовной жизни человека. Там, где обнаруживалось совпадение павловских закономерностей с закономерностями художественной практики, они не имели иного выхода из положения, как объявить эти совпадения механическими, случайными, надуманными.

Дело же сводилось все к той же оскорбленной гордости человечества: нельзя собачьи законы применять для раскрытия интимных процессов, таинственных законов творчества!

Решение редакционного совета мотивировалось тем, что «книга не является научно-популярной и содержит много спорных положений».

Как же счастлив был Константин Эдуардович Циолковский, столь прославленный теперь пионер космонавтики. Его идеи, выводы, доказательства, расчеты — все признавалось спорным, а он шел в калужскую типографию и за счет своего невеликого учительского жалованья печатал одну брошюру за другой.

Типография в Калуге, против наших, теперешних, была убогой и ничтожной. Там не было математических знаков, употребляемых в ученых сочинениях. Константин Эдуардович сам де-

лал их из типографских линеек или уголков, а многообразованные рецензенты, которым он посылал на отзыв свои брошюры, брезгливо отбрасывали сочинения автора, казавшегося им математически безграмотным.

В ранней юности, еще до гимназии, я любил выписывать всяческие каталоги, прейскуранты и проспекты, высылаемые бесплатно по требованию. Требование обходилось мне в три копейки — цена почтовой открытки. Не помню, откуда я узнал, что из Калуги, от учителя гимназии Циолковского так же бесплатно может получить сочинения о межпланетных путешествиях каждый, кого этот вопрос интересует.

И очень скоро после посылки открыточки я получил две или три брошюры в тонких цветных обложках. Идей автора, вероятно, я не понял и запомнил только эти цветные обложки.

К несчастью, у нас автор и за свой счет напечатать ничего не может, даже визитных карточек. Право непосредственного обращения в типографию предоставлено только служителям культа — попам и архиереям, а не писателям.

Что же случилось бы с гениальными сочинениями Циолковского, если бы он вынужден был иметь дело с рецензентами и редакторами?

Неутомимый К.А. Федин сделал еще одну попытку помочь мне и рассказал о моем сочинении Эммануилу Генриховичу Казакевичу. Он был в 1956 году редактором альманаха «Литературная Москва»²³⁰.

В ответ на посланную ему рукопись Казакевич писал мне:

«Я прочитал вашу работу внимательно, с большим удовольствием и большой для себя пользой. Это блестящая и многогранная работа, являющаяся, по моему мнению, ценным и единственным в своем роде пособием для литераторов и молодых и старых. Скажу Вам просто — после чтения ее хочется писать, и притом — хорошо».

Таких писательских признаний было много, но, к сожалению, не они решали вопросы издания. Для альманаха книга моя была велика, издательство «Современник», в план которого Казакевич ее включил, не осуществилось.

Я утешился выпиской из Герцена: «Людям свободным остается одно сознание своей правоты и надежда на будущие поколения».

За эти годы, впрочем, оставался еще не законченным вопрос о статье для журнала «Вопросы философии». Несколько раз меня приглашали в редакцию, требовали уточнения формулировок и

доработок. Я все это выполнял. В конце декабря 1955 года я присутствовал на обсуждении статьи, фигурировавшей уже в виде верстки для очередного номера...

Но и после новых исправлений статья не была напечатана. Тогда, рассердившись, я написал ответственному секретарю язвительное письмо, по случаю пятилетнего обсуждения и редактирования моей статьи.

«Таким образом, — писал я, — мы установили несомненно мировой рекорд на продолжительность, который так же несомненно не будет никем и никогда превзойден. Отмечая это обстоятельство, прошу Вас, ввиду столь исключительного, поразительного даже в наших условиях события, или наконец напечатать статью, или сообщить, почему ее нельзя напечатать, но так или иначе решить этот колоссальный вопрос, с которым, по-видимому, редакция журнала связывает не только судьбу журнала, но и судьбу Вселенной, чем меня как автора заставляет гордиться, но который кажется все-таки несколько преувеличенным».

Статью решили не печатать, и мне возвратили ее в виде верстки. Эту верстку, в горький час бешенства, вместе с лаконичным письмом я отправил в марте 1957 года секретарю ЦК КПСС Д.Т. Шепилову. Мне казалось, что бывший редактор «Правды» скорее разберется во всем этом деле.

Не знаю кто, Шепилов или его помощники, но кто-то все-таки разобрался и направил статью в только что организовавшийся журнал «Вопросы литературы».

Год мы торговались и спорили с редакцией, но в конце концов статья появилась в № 6 «Вопросов литературы» за 1958 год!

В следующих номерах появились отклики и письма, большей частью признававшие своевременность и ценность предложенного мной совершенно нового метода объективного анализа художественного произведения.

Итак, понадобилось ровно двадцать лет постоянной, упорной борьбы с удручающим и бессмысленным сопротивлением среды, чтобы добиться первого признания.

Постоянный и близкий свидетель этой двадцатилетней борьбы, моя жена, как-то сказала с горечью:

— Ужаснее всего будет думать, если ты умрешь, что тебе не удалось напечатать самого главного, что ты сделал в жизни!

Случилось так, что она умерла раньше меня и всего за месяц до выхода в свет июньской книжки «Вопросов литературы».

16

Вот уже много дней или недель перемежаются над Москвой мгновенное солнце, короткий дождь и долгое небо; по небу стелятся холодные сухие облака.

Я хожу из комнаты в комнату и не знаю, как быть. Я никого не жду, и мне некуда идти. На мне нет никаких обязательств, и мне никто ничего не должен. Если бы я умер, меня не хватились бы день, два, неделю, а может быть, месяц и год.

Я совершенно и безнадежно одинок...

Нынче весной, не поздно вечером, лежа в постели с грелкой от головной боли, совершенно неожиданно для всех и для себя самой, умерла моя жена.

Я сидел против нее на диване, говорил о том, что вечером хотел зайти Зенкевич, что по рассеянности он, вероятно, придет послезавтра утром, и мы оба смеялись. Когда мне показалось, что она засыпает, я тихо встал и ушел в свою комнату. Через несколько минут я услышал неестественный вздох, похожий на стон.

Зажигая на ходу свет, я быстро вошел и увидел упавшую голову, ресницы померкнувших глаз и в полуоткрытых губах ровный ряд ее все еще девичьих зубов.

Когда-то она сказала мне в отчаянии:

— Знаешь, мне кажется, что если ты умрешь, я буду так тебя звать, так трясти, кричать, что ты встанешь!

Я звал ее, устанавливал ее падающую, как у новорожденного, голову, она не вздохнула, не сказала слова и на глаза ее ни на одно мгновение не возвратился блеск жизни.

Незадолго до того, уже весною, она читала Блока. Я зашел в ее комнату о чем-нибудь поговорить, как это обыкновенно бывало. Она сказала:

— Вот слушай-ка, что я нашла у Блока.

Непосредственность поэтического восприятия говорила ей больше, чем любые доводы ума.

И она прочла:

Похоронят, зароят глубоко.
Бедный холмик травой порастет.
И услышим: далёко, высоко
На земле где-то дождик идет.
Ни о чем уже больше не спросим,
Пробудясь от ленивого сна.

Знаем: если негромко, там — осень;
Если бурно — там, значит, весна.
Хорошо, что в дремотные звуки
Не вступают восторг и тоска,
Что от муки любви и разлуки
Упасла гробовая доска!²³¹

Она прочла это тихо, спокойно и с какой-то веселостью, точно сделала вдруг для себя большое и счастливое открытие. Так хорошо лежать неподвижно и слушать, как наверху идет — то негромко, то бурно — дождь, наступает и проходит то весна, то осень!

Закрывая книгу, она сказала:

— Правда, хорошо?

И трудно было понять, что хорошо: стихи Блока или вот так просто принять смерть и могилу? Я ответил и на то и на другое вместе:

— Очень хорошо. Да нет! Просто чудесно!

Потом не раз она повторяла, улыбаясь, как будто вспоминая о сделанном открытии:

— Если негромко, то — осень, если бурно — там, значит, весна!

Ей было тяжело жить в нашем грубом мире, она не могла к нему привыкнуть, а Блок мирил ее с могилой. Смерть не пугала ее: она боялась только одиночества.

Если кто-нибудь, засидевшись у нас, уходил поздно вечером, она вставала со стула на наше большое окно, выходящее во двор, и выглядывала в фортку. Когда гость выходил из дверей, она вполголоса окликала его, а затем быстро шла в мою комнату. Мое окно, старинное, небольшое, выходит на улицу, и здесь она становилась коленями на подоконник, с трудом протискивая в небольшую фортку голову. Когда гость выходил из двора, она опять окликала его, чтобы тот не чувствовал себя одиноким...

В нашем грубом мире детская непосредственность взрослого человека внушает недоверие. На людях моя жена боялась своей непосредственности и старалась из всех сил быть вровень со всеми. Тогда она теряла все свое, не получая ничего взамен, и становилась домашней хозяйкой.

Но я любил ее непосредственность, она знала это и не стыдилась быть собою, когда мы оставались одни.

Наши комнаты расположены одна против другой. В ее комнате много солнца; в моей рано темнеет, и лишь в редкие утра ран-

ним летом заглядывает солнце. Поэтому она озабочена в солнечный день не пропустить тех нескольких минут, когда прямые лучи солнца из ее комнаты проникают в мою и вдруг осветят ее всю, отразившись от пола и потолка.

Если в эту четверть часа перед вечером я сижу за столом и работаю, она открывает дверь и говорит:

— Я впущу тебе немножечко солнца!

Мне нравилось, что она с детской доверчивостью отрывала меня от работы, что бы я ни делал и кому бы я ни понадобился.

Она знала, как я ненавижу писательское генеральство и как боялся хотя бы в чем-нибудь на него быть похожим.

Мне нравилось, что она не восторгалась моими книгами, как жены моих друзей. За полвека нашего знакомства и общей жизни у нее выработался хороший литературный вкус, и потому она ничего не говорила о моих вещах.

Незадолго до ее смерти я начал писать свои воспоминания.

...Как раз в это время — в январе 1958 года — К.А. Федин прислал мне свою книгу «Писатель, искусство, время». Там у него был кусочек детских воспоминаний. Он воскресил во мне собственное детство, тот же Саратов, те же пушкинские торжества. И я легко и свободно начал писать свои воспоминания.

Я писал честно, искренне, ничего не выдумывая и не заботясь о том — будет ли напечатано все это. Ни на одну минуту не забывал я о выработанных мной правилах художественной арифметики, и материал сам шел мне навстречу: детские впечатления всегда конкретны, зримы, чужды отвлеченных рассуждений и потому всегда художественны...

Как-то по просьбе М.А. Зенкевича я прочел ему несколько первых глав. Был тихий весенний вечер. Зенкевич внимательно слушал, а моя жена в другой комнате делала что-то свое, но также слушала, что я читал.

Когда Михаил Александрович стал хвалить меня, она подошла к нам и сказала:

— А хорошо!

Это было сказано просто, серьезно и искренне, а для меня и неожиданно.

Я поднял глаза на нее с долей недоумения и вопроса. Она поняла и повторила еще проще и серьезнее:

— Нет, правда, хорошо!

Это была, как я помню ее, первая похвала моим художественным притязаниям.

Когда кто умирает, он начинает жить по-новому в памяти других. Память, минуя последние дни, возвращает нас ко всей его жизни, и тогда он возникает в нашем представлении очищенный от всего случайного, лишнего, пошлого и мелкого, нанесенного течением жизни. Он становится сам собою.

Наш сборник «Война и Жизнь», вышедший на второй год Первой мировой войны, открывался стихами. Одно из стихотворений — «Сестра милосердия» — принадлежало моей жене. Оно начиналось так:

Я тихая, я нежная
И в платье простом,
Под белою косынкою
Отмечена крестом.

Так она себя видела и так о себе написала. Мне кажется, что поэтическое восприятие не обмануло ее: свою характеристику она пронесла нетронутой через всю нашу жизнь.

И я не думал, что эту смерть так трудно пережить.

В Петрограде, лет сорок тому назад, у дверей какой-то столовой я встретил Вениамина Осиповича Португалова. Иногда то тут, то там я с ним встречался и о чем-нибудь, подходящем к случаю, говорил с ним.

Увидев меня, он поспешно подошел, как к старому знакомому, и стал говорить о том, что у него умерла жена и вот уже несколько месяцев или год он не находит себе места, не знает, как жить, что делать. Он весь дрожал и жалко плакал, постоянно сморкаясь, кашляя, мигая и вытирая глаза. У него уже был грязен воротник рубашки, косо повязан галстук и от рук, от одежды его пахло хлебом и щами, как в столовой, откуда он только что вышел.

Я говорил сочувственные слова, а сам смотрел на него и удивлялся, почему этот старый человек, похоронив жену, с которой прожил сорок лет, значит, тоже старуху, так быстро опустился, так дрожит и задыхается от слез, когда так естественно, закономерно было его жене умереть!

Мне было тогда 28 лет.

Я хожу взад и вперед по моим двум комнатам, и все это мне не кажется естественным.

Иногда я останавливаюсь у окна. В окно вижу — в доме напротив — покойник. У ворот крышка гроба, на дороге — темно-серый автобус с черною полосой вокруг. Подходят поспешные люди.

Гроб с покойником вытаскивают через подвальное окно, чтобы сократить путь и неудобства. Мы живем так, что умирая, думаем, сумеют ли вынести гроб через наши двери и коридоры?

Прохожие останавливаются. Много детей. Дети перебрасываются мячами и смеются.

Если мы продолжаем вызывать из небытия поколение за поколением новых людей для мук жизни и смертной казни, значит, еще есть радость и счастье.



Часть третья

1

Говорят, что душа человека еще сорок дней после его смерти не покидает дома, где он жил. Это очень древнее и очень прочное поверье. В основе его лежит реальное физиологическое состояние — настроенность механизмов коры головного мозга на восприятие определенных, привычных раздражений. В этом состоянии ощущение невидимого присутствия умершего где-то рядом, сзади, в соседней комнате — совершенно непреодолимо, безразлично — верим ли в раздельность души и тела, в загробное существование или не верим...

Многовековой опыт показывает, что в среднем, при нормальных условиях этот процесс длится около сорока дней; об этом косвенным образом и свидетельствует древнее поверье.

Ясное понимание физиологической сущности процесса не избавило меня от страданий, неразрывно с ним связанных.

Приносят счет за квартиру — нечаянно вижу: «за воду с одного человека» — и плачу.

Ставлю на стол сирень, простую сине-лиловую, которой каждую весну цветет весь Саратов, — и плачу.

Открываю двойные окна, слышу запах зноя, пыли, ушедшего дня и — плачу.

Ночью в улицах темно, во всех окнах погашены огни. Я мечусь по дому, из комнаты в комнату, заглядываю то в окно на улицу, то в окно во двор, только бы не ложиться спать.

И так за весь день не выдается и часа, когда бы тени жизни и смерти ее не терзали мне ум и сердце...

Солнечная тишина над могилой бывшего немецкого кладбища в Лефортово, зеленые тени у ног на песке претворяют отчаяние в простую печаль и бурное горе в тихую грусть. Я возил корзины цветов, менял гортензии на астры, астры — на хризантемы, и в тени могильного холмика живая память должна была умереть...

Памятник ставили без меня, чтоб я не видел, как открывают могилу и выкладывают фундамент под тяжкий гранит. Деревья уже сбрасывали листья, и сквозь просветы их я еще издали увидел его и опять не мог удержаться от слез.

Гранитный камень над могилой стоял тяжело, твердо, непоколебимо, сверкая золотым именем моей жены...

Говорят, что не смерть близкого человека, особенно когда она внезапна и мгновенна, заставляет нас страдать, а наш грубый, человеческий эгоизм: ведь умерший ничего не чувствует, ничего не сознает, погружен в вечный покой и потому счастлив.

Это не так.

...Я сожалел не о себе, не о том, чего лишился. Я сожалел о том, что она не слышит новых концертов Ван Клиберна, не пьет кофе, не ест куличей, не радуется вещам, весне, солнцу.

Вспоминают, что, встречая в Москве гроб Чехова, его мать рыдая говорила:

– И не поешь ты теперь любимого своего варенья...

Когда я прочел об этом много лет назад, я был внутренне оскорблен этими причитаниями матери над гробом такого сына.

Теперь я понимаю, что из всего того, что было сказано на могиле Чехова, причитания его матери были самым искренним выражением безмерного горя...

2

...В 1917 году я напечатал в журнале «Жизнь для всех» В.А. Поссе статью «Искусство литературной живописи»; в 1958 году в «Вопросах литературы» — «Заметки писателя к Павловскому учению о слове».

Сорок лет между этими датами я писал романы, повести и рассказы, читал лекции по литературе, руководил литературными кружками, выступал с критикой произведений, участвовал в журнальных редакциях, потом писал о науке и технике, о жизни великих людей. И все это, как теперь я вижу, с неумолимой последовательностью вело меня к одному и тому же — к проникновению

в закономерности творческого мышления, к постижению объективных законов научного и художественного творчества.

Огромное, необозримо широкое поле Жизни привело меня в конце ее к скромной, но всего меня поглотившей заботе об издании «Заметок»...

С публикацией в «Вопросах литературы» отрывка из книги связывалось много надежд. Они не оправдались. Дискуссия, правда, возникла. Однако редакция поспешила противопоставить письмам читателей статью психолога П. Якобсона²³². В статье говорилось, что я забегаю вперед, что учение И.П. Павлова не дает возможности даже «думать, что в физиологии высшей нервной деятельности писатель сможет найти критерии художественности».

«Толстой и Достоевский, Чехов и Короленко не знали учения И.П. Павлова, однако были великими художниками», — напоминал он, подсказывая легчайший способ аргументации против всякого нового течения в науке и искусстве.

Статью П. Якобсона напечатали через номер после моей. Читательские письма, в подборке и с примечаниями редакции, появились в апрельской книжке следующего 1959 года, да и то после моего письма в ЦК КПСС, протестовавшего против явного желания редакции умолчать о них. При таком положении дела журналу пришлось призвать «к серьезной разработке сложных и важных вопросов, связанных с учением И.П. Павлова», заключая свою статью так: «Пора начать исследовательскую работу. Литературная общественность безусловно будет с интересом следить за ней и примет необходимое участие в этой работе».

Казалось бы, что после такого заявления «Вопросам литературы» следовало продолжить печатание моих «Заметок».

В рукописи редакционной статьи, между прочим, я видел сноску: в ней журнал выражал свое удивление по поводу того, что книга моя не издана до сих пор. Но в печати сноска не появилась, и интереса к моей работе не проявило ни одно издательство.

Характерен и тот факт, что искренние друзья моей работы и моих идей Ю.П. Фролов, В.Н. Колбановский, В.Б. Шкловский не приняли участия в дискуссии, открытой журналом.

Юрия Петровича Фролова, непосредственного ученика И.П. Павлова, работа моя интересовала с первых моих шагов. В те давние годы он работал в каком-то институте, исследуя условные рефлексy у рыб и кошек.

Я написал ему как ближайшему ученику Павлова: вправе ли мы говорить о «технологическом инстинкте» животных и человека?

Дело в том, что сам Иван Петрович Павлов считал нужным подразделять основные безусловные рефлексы или инстинкты на отдельные прирожденные рефлексы. Так, он специально писал о «рефлексе свободы», о «рефлексе цели». Я считал, что таким же прирожденным рефлексом является инстинкт плавания, мгновенно пробуждающийся у всех животных в воде, и назвал его «технологическим инстинктом», подсказывающим животному технику плавания. Технологическим инстинктом, по моему мнению, объясняется и точность прыжка зверя на добычу, падение орла или ястреба, целесообразность некоторых «разумных поступков» животных в неожиданных обстоятельствах.

Юрий Петрович ответил мне быстро, но не письмом, как я просил, а по телефону, видимо, из осторожности, чтобы не впутаться в какую-нибудь историю.

То были жестокие времена сталинской диктатуры, накануне сплошных арестов и казней, организованных Ежовым.

— Я думаю, что вы правильно поняли Павлова, — сказал мне Фролов, — и не вижу возражений против введения в литературу понятия технологического инстинкта.

Я в своих книгах не один раз развивал свое представление о технологическом инстинкте и возражений ни от кого не встречал...

Юрий Петрович всегда откликался на мои приглашения, участвовал в моих заботах и написал мне однажды большое критически положительное письмо о моих выводах и заключениях. В письме он выражал уверенность, что публикация моей работы сдвинет дело с мертвой точки, чему все физиологи павловской школы будут рады.

С Юрием Петровичем мы были знакомы лет двадцать, нередко он бывал у меня, читал свои драмы и повести, советовался со мной и неизменно интересовался моими делами. Приготовив ему экземпляр «Вопросов литературы» с дружеской надписью, я перепечатал и его старое письмо.

— Я понимаю, что специально писать у вас нет ни охоты, ни времени, но вы прочтите это ваше письмо, исправьте, если надо, и пошлите «Вопросам литературы», — пояснил я, вручая ему журнал и письмо.

Потом мы говорили о моей жене...

Под влиянием этих воспоминаний мы расстались как-то особенно дружелюбно и, неожиданно для меня, надолго: Юрий Петрович письма «Вопросам литературы» не послал, а когда мы случайно через год на улице встретились, выяснять, почему мы так долго не виделись, было бы бестактностью.

Мрачные тени сталинской диктатуры еще витали над нашими головами, и чеховский человек в футляре с его классическим «как бы чего не вышло» подспудно жил, вероятно, в каждом из нас.

Колбановский возмущался статьей своего собрата по науке, сказал, что он уже говорил с ним и непременно напишет в «Вопросы литературы».

Но так же, как и Фролов, ничего не написал.

Шкловскому незадолго до того я послал только что вышедшую свою книгу «С Востока — свет!» с надписью: «Практическое применение моих теоретических размышлений». Виктор Борисович, как это ему свойственно, взяв трубку и узнав меня по голосу, начал с ответа на вопрос, какой я еще не успел ему задать:

— Статью вашу видел. Мне было очень приятно прочитать о себе. Мне звонили, чтобы я принял участие в дискуссии, и я напишу им...

— А как «С Востока — свет!»?

— Ну, это уже настоящая вещь!

— Так как же, Виктор Борисович, можно выучиться писать или нельзя? Как вы думаете?

— Я думаю, что можно! — ответил он подумав.

Независимость суждений и смелость высказываний всегда отличали Шкловского. Скорее, он уклонился от участия в дискуссии, слишком хорошо зная, что журнал «спустит ее на тормозах» после предупредительной статьи Яacobсона и отпустит каждому участнику по три строчки в редакционном обзоре писем...

3

Под Новый год я отвез на могилу корзину цветов. Зенкевич испуганно прокричал в телефонную трубку:

— Дурак, ведь они же замерзнут!

Поэзия и проза, поэтическая душа и трезвый ум удивительно цепко переплетались в его натуре. Недалекое, полузабытое и сча-

стливое мальчишество откликнулось во мне на этот ребяческий оборот речи. В словаре саратовцев «дурак» — слово не бранное, а скорее ласкательное, снисходительное, дружеское и участливое. И мне стало весело.

Резкая перемена образа жизни, перенастройка механизмов высшей нервной деятельности, причиняя боль, подчас невыносимую, ведут в то же время к психологическому обновлению организма, а может быть, и — физическому...

Я приводил в какой-то выдуманный мной порядок свои дела, раздавал деньги и вещи, выходил на улицу, как в чужой город, никуда не спеша, никуда не направляясь, и мне было везде хорошо, как в гостях. Вероятно, все это непонятным образом отражалось на мне, в глазах, на лице.

Если бы в те дни кто-нибудь заинтересовался, я вынужден был бы, положа руку на сердце, сказать:

— Я ничем не занимаюсь!

На самом деле, как это теперь я вижу, упорно, хотя и бессознательно, я занимался перестройкой усвоенного мной отвлеченного мышления на образное, художественное, конкретное мышление.

Павловское деление всех людей по типу мышления на художников и мыслителей привело меня к простой истине:

— Мысли как художник и пиши, как хочешь!

Классически строгая проза Пушкина, и вычурная речь Гоголя, и корявый язык Толстого неопровержимо доказывали эту истину.

Чтобы не мешать образам внешнего мира свободно действовать, я ходил, слушал, смотрел, жил, ни о чем не думая, и стал видеть мир беспечными глазами художника...

К непреоборимой уверенности в том, что можно научиться хорошо писать, прирастала уверенность, что можно научиться образно мыслить.

Как-то в дни работы над воспоминаниями зашел Я.С. Рыкачев. На машинке у меня лежала только что дописанная глава первой части. Там говорилось о девочке, показывавшей мне в Зарядье подвал башни и стены Китай-города, где в те годы ютились еще беспризорники.

— А что это вы писали? — спросил Яков Семенович, усаживаясь в уголке дивана.

Я сказал.

— Почитайте! — попросил он.

Я снял с машинки последний лист и, подложив его под прежде написанные, стал читать. Весь рассказ занимал четыре странички.

— Вот вам и новая форма! — вдруг сказал Яков Семенович, едва лишь я кончил чтение. — Прекрасно. Это — Россия. И эта девочка, меняющая платье... И яблони на стене, и зной, и ветер... И как она бросает камешки в подвальное окно, прислушиваясь... Нет, все прелестно. Я мог бы говорить об этом час и скажу... Но сначала вы мне ответьте на один вопрос.

— Какой?

— Скажите, почему же вы раньше так плохо писали?

Я усмехнулся и твердо ответил:

— Господи боже! Да потому, что не знал Павлова!

— Нет, не может быть... Тут что-то другое...

И сколько я ни уверял, ни доказывал моему другу, что все дело только в том, что я неуклонно следую правилам грамматики литературного искусства, он не верил и не соглашался со мной...

4

...«Судьба и Жизнь» могла нравиться Зенкевичу, Рыкачеву, Симорину, Ципель-зону, таким же старикам, как я сам. Но для полного оправдания созданной мной эстетической системы нужно было признание вполне современного, советского читателя и критика.

Среди посещавших меня в те дни родных и друзей были два молодых образованных человека: лингвист Таня Николаева²³³, племянница моей жены, и ее муж, литературовед Андрей Дмитриевич Михайлов²³⁴.

— Слушайте, товарищи, я хотел бы почитать вам свои воспоминания, — сказал как-то я им за чайным столом.

Мы сошлись в четверг, не собираясь уделять слишком много времени чтению. Вкус вина определяет первый глоток, и, чтобы увидеть художника в произведении, достаточно нескольких страниц. Усаживаясь за стол, я перебирал страницы, выбирая главу, и думал вслух:

— Что бы вам прочитать? С самого начала или что поинтереснее? Разговор с Горьким или революция?..

— Читайте с начала!

Я прочитал первые две главки о днях раннего детства и хотел перескочить к рассказу о Петрограде.

— Нет, нет, читайте все подряд, — остановили меня. — Очень интересно.

Через пятьдесят страниц я сам решительно закрыл и отодвинул рукопись.

— Как же быть? Мы хотим слушать дальше! — говорила Таня.

Принято щадить авторское самолюбие в разговоре с писателями, и желающим знать истинное мнение слушателей остается ограничиваться догадками по косвенным признакам.

— Соберемся в другой раз и продолжим чтение, если хотите, — предложил я.

— Когда же?

— Ну, в следующий четверг, например?

Протягивая мне руку на прощанье, Таня сказала за всех с подчеркнутостью:

— Мы обязательно придем, Лев Иванович!

Так начались наши литературные четверги. Они защитили меня от угрюмой старости и заштатности, возвратив к ощущениям собственной юности...

5

Между нашим саратовским «Многоугольником» и нашими московскими «четвергами» лежит пропасть времени, бездна событий.

Тогда над литературой довлел величественный гений Толстого. Нынешнему обитателю нашей планеты трудно понять и представить себе, какое влияние на человечество оказывал Толстой. «Гений действует на современность самым присутствием, независимо от своего сознания: это не страх, не стыд, но неизъяснимое», — писал по этому поводу Александр Блок...

Мне было двадцать лет, когда умер Толстой. На вечере в нашем кружке я говорил речь и плакал. Теперь я спрашиваю себя: «Чья смерть, какого писателя, философа, художника, вождя сможет вызвать слезы любого из участников наших «четвергов»?..»

Я читал главу за главой свои воспоминания, слушатели были внимательны, однажды потребовали даже повторить читанное в прошедший раз. Но тех бурных чтений, критик и споров, которые бывали на вечерах «Многоугольника», в Москве не случилось ни разу. В Саратове все вопросы решались с высшей точки зрения.

— Ну что вы опять написали, рассказ с комариный нос величинной? Разве это литература? — каждый раз выговаривал мне Иван Юрьевич Борисов-Извековский, бывший актер, во имя литературы оставивший сначала сцену, а потом и семью. — Стыд и срам!..

Однако здравствовали «четверги» недолго. К весне из моих воспоминаний все было прочитано. Напрасно я пытался заинтересовать моих молодых друзей «Заметками к Павловскому учению о слове», а затем философией Вернадского, которого начал изучать в то время. Высокая мысль Павлова и Вернадского мало трогала их.

Время от времени Таня дарила мне с милыми автографами свои первые работы по лингвистике...

Андрей держался твердо намеченной программы жизни и приносил свои, испещренные ссылками, датами, оттиски работ по французской литературе. Не радуют ли ум и сердце литературоведа эти даты, ссылки под текстом, как охапки полевых цветов — глаза возлюбленной?

Олег Михайлов²³⁵, специализировавшийся на литературе моего же времени, первый автограф свой сделал для меня на оттиске со статьей «Проза Бунина», а затем последовательно писал о Шмелеве, Куприне, Аверченко.

...Дружеские отношения между нами не прерывались. Олег сделал несколько попыток напечатать мои воспоминания, хотя бы не полностью. Но речь Н.С. Хрущева на XX съезде о культе Сталина оставалась неопубликованной, и казалось всем, что этим разоблачением дело кончится, ничего практически не изменив в отношении к истории тех лет. Воспоминания хвалили, но находили идеологически невыдержанными.

Попытка Андрюши соединить «четверги» с преферансом была отвергнута. Несколько вечеров мы посвятили собранию автографов столь известного теперь Эммануила Филипповича Ципельзона.

Этот семидесятилетний человек, исполненный какой-то необыкновенной энергии и жизнеспособности, был прилежным посетителем «четвергов», да и раньше он часто бывал у меня в поисках новых приобретений для своей коллекции, которую я охотно пополнял...

Время от времени и раньше Эммануил Филиппович приносил с собой какую-нибудь редкую книгу, документ, автограф из своего собрания и рассказывал о своих находках. Рассказывал он страстно, непрерывно перескакивая с центральной темы на боковые, волнуясь и торопясь, но все было интересно, неожиданно, красиво. Когда ему давали слово, остановиться он уже не мог. Я думаю, что он молчал только в парикмахерской, когда его брили. Кстати, в это время единственно он и слушал радиопередачи.

Специально посвятить себя слушанию радиопередач у него не хватало терпения.

В четверг, посвященный целиком редкостям и рассказам Эммануила Филипповича, мы наконец возмутились.

— Послушайте, — говорили мы, — отчего же вы не напишете своих воспоминаний, отчего не займетесь публикацией ваших находок, описанием редких книг, автографов, документов из вашего собрания? Ведь это же интереснейший материал, черт возьми!

— Не могу, не умею... — отвечал он. — Не выходит у меня. Я так горю всем этим, что говорить еще кое-как могу, а сяду писать — все рассыпается...

Это было действительно так. И даже чем глубже затрагивало что-нибудь душу старого букиниста, тем меньше находил он слов для выражения своего восторга или тем более гнева. Тут он сжимал кулаки, и, точно поднося их к лицу врага, мог только гудеть:

— У... у... у...

В тот посвященный Ципельзону вечер Таня сказала:

— Ну, если сам Эммануил Филиппович не решается писать, то я вот что сделаю. У меня есть в «Огоньке» знакомый журналистик, я расскажу ему об этой коллекции, пусть он побывает у вас, посмотрит и напишет заметочку...

С этого момента Ципельзона начали преследовать удачи. В тринадцатый наш «четверг», 18 декабря 1958 года, Эммануил Филиппович вклеил в наш альбом заметку из «Огонька» под заглавием «2500 автографов» и сверху над ней написал: «Спасибо Тане».

Талантливый человек везде талантлив — собирает ли он автографы, пишет стихи или играет на скрипке. Достаточно было заметкой в «Огоньке» показать Ципельзону, как надо писать о собранных им редкостях, и он начал сам в «Заметках букиниста» рассказывать на страницах московских газет о том, что у него есть и как это было найдено.

Успех приходит не к тому, кто его ищет, а к тому, кто о нем не думает, поглощенный страстью всей своей жизни. Автор «Заметок букиниста» одержим прекрасной, благородной страстью. Она-то и порождает в его коротких рассказах неповторимый лаконизм и глубокую насыщенность конкретностями: его рассказы всегда историчны и всегда современны, потому что благородные страсти вечны, а люди, одержимые ими, растут вместе со своим временем.

Этот эпизод может служить иллюстрацией к основной идее, проводимой мною в «Заметках к Павловскому учению о слове»... Он лишний раз доказал мне, что если писателем, художником, скрипачом нельзя человека сделать, то и тем и другим и третьим сделаться может каждый, кто захвачен страстью на всю жизнь.

Ципельзон послужил хорошим живым примером для моей статьи «Воспитание таланта», напечатанной в «Литературной газете».

Но самый яркий, самый убедительный факт воспитания таланта был у меня впереди.

6

...Я проходил мимо каменной ажурной ограды какой-то церкви, и когда увидел икону с лампадкой над воротами, железную кружку для сбора пожертвований, я вдруг поднял голову и, глядя на золотые кресты и сияющие звезды на голубых куполах церкви, прошептал совсем по-детски:

— Господи, пусть она придет сегодня ко мне!

Еще зимою, в серое бесснежное утро женский, почти детский голос в телефонной трубке спросил меня — не соглашусь ли я написать небольшую рецензию для журнала «Юный техник».

— Это говорит Валерия Васильевна, — услышал я дальше, — вы меня помните? Я работала в «Молодой гвардии», в научно-популярной редакции...

Я не помнил ее по имени, но когда она пришла с книжками для рецензии, я увидел хорошо знакомую девушку. В тесной редакционной комнате она редко поднимала голову от стола, за которым работала, и только случаем можно было увидеть ее прекрасные серые глаза, большие и внимательные...

Я со скукой перебирал принесенные ею книжки. То были крикливые брошюрки, тонкие, посвященные новому семилетнему плану; авторов их я знал и не любил за дутый энтузиазм и вздернутый на дыбы язык. Но, бросив их на стул, я сказал:

— Хорошо, я напишу. Когда вам это нужно?

— В субботу, если можно, я вам позвоню!

— Приезжайте без звонка. Статья будет готова!

Я не знал, чем заинтересовать мою гостью. Она обратила внимание только на книги, фотографии, развешанные на стене, и пластинки возле электрограммофона. Мы послушали второй концерт Рахманинова в исполнении автора. Она сказала, что любит только классику...

— Я музыку могу всегда слушать, сколько хотите!

Мы слушали «Струнную серенаду», потом еще что-то. В перерыве я предложил, кивнув на развешанные по стенам фотографии:

— Хотите, я сделаю ваш портрет? Я могу хорошо сделать!

Она ответила без малейшей тени жеманства:

— Сделайте. Я люблю сниматься!

Портрет вышел хорошо. Я вставил его в изящную золотую рамку и повесил на стену, ожидая, что заказчица вспомнит о нем и придет. Но... снова сам позвонил ей:

— Портрет ваш получился недурно, может быть, вы зайдете взглянуть?.. Буду вас ждать!

Уже в тот день я с удивлением заметил, что, ожидая свою гостью, считаю: сколько остается до ее прихода — час-два, — оттого ли, что вся жизнь поглощена ею, или оттого, что в жизни моей нет ничего, кроме этих встреч?..

...Я приготовил белые как снег левкой к ее приходу, и когда она сказала: «Мне пора, меня дома будут ждать», — я обломал тугие свежие стебли растений и подал ей пышно распустившиеся цветы со словами:

— Это в честь окончания работы над книгой вашей!

И то, что я понимал чувство редактора, сдавшего наконец надоевшую чужую книгу, не забыл подчеркнуть цветами праздничное ее настроение, растрогало ее. Всю дорогу она молчала, и, прощаясь, я почувствовал теплоту чувства в ее холодных руках...

...Мы сидели за круглым столом, друг против друга и разговаривали через край сирени, высившейся на столе и освещенной солнцем.

У моей гостьи влажные зрачки кажутся зелеными, это красиво и необыкновенно. Она что-то рассказывает о весне на ее родине, в Брянске. Я плохо понимаю, едва слушаю, думая о ней самой, и вдруг слышу:

— И знаете, повсюду сокрушающие ручьи, все сверкает...

Изумленный, спрашиваю:

— Скажите, честно, в какой-нибудь рукописи вы как редактор допустили бы такое выражение?

— Сокрушающие ручьи? — смеется она. — Едва ли!

— Господи, а ведь это так хорошо сказано, так выразительно, так неожиданно...

И мы начинаем говорить о художественных словах. Мне говорить легко, у меня хорошая зрительная память, и я, в сущности,

читаю — страница за страницей — главу из моих «Заметок», иногда лишь объясняясь подробнее и проще. У моей собеседницы вырываются то и дело возражения. В них нет ничего нового, я к ним привык.

— Значит, по-вашему, каждого можно научить хорошо писать? — неожиданно заключает она.

— Научить — нельзя, а научиться можно, если по-настоящему захотеть, не считаясь ни с чем!

— Я хотела бы научиться, чтобы написать что-нибудь значительное... Вы будете мне помогать?

— Я только и мечтаю о том, чтобы отдать кому-нибудь свой опыт, свои знания, доказать правильность своих теоретических выводов... — говорю я, отодвигая в сторону сирень. — Я проверил их на себе, теперь хотел бы проверить на другом...

Она начинает говорить о моей книге, и вдруг я вижу, что нынешний читатель, выросший на советской беллетристике, уже не принимает действительности, если под изображением ее не стоит четкая надпись: «Он готов был отдать жизнь за счастье народа, за любимую родину, за родную партию».

«Что ж, — думаю я, — тем лучше, тем убедительнее будет результат опыта!»

Мы встречались уже не только в творческие дни, не только у меня в доме, и в моих стихах отражались не встречи, а тоска по ним, и тогда я писал:

И тот же час, и та же медь заката
На облаке из тяжкого свинца,
Но вот Вас нет, и сердце сжато
Предчувствием безмолвного конца...

7

На титульном листе первого издания «Вернадского» значится: «В.В.Н. посвящается».

Скромными инициалами посвящение ограничено по крайнему настоянию самой «В. В. Н.». На рукописи же было написано так: «Валерии Васильевне Носовой посвящает автор эту книгу, всецело ей обязанную своим существованием».

Так оно было в действительности. Я тогда считал свою литературную деятельность законченной «Заметками к Павловскому учению о слове» и работой над автобиографическими воспоминаниями, о публикации которых я и не думал...

Первым и единственным побудительным поводом для работы над «Вернадским» было желание Валерии Васильевны видеть, как «пишутся настоящие книги, присутствовать при их создании»...

Нет, вероятно, ни одного моего знакомого, а тем более близкого человека, которого бы я не призывал к литературным занятиям...

Валерия Васильевна согласилась попробовать, доверяясь моему убеждению, которое я так часто высказывал и в печати и в разговорах, неизменно поясняя, конечно:

— Научить вообще ничему никого нельзя, но научиться может каждый всему тому, что любишь, к чему влечешься... Разумеется, не считаясь с трудностями и преодолевая препятствия!

И вот на моей неожиданной ученице оправдалось это мое убеждение. Ей было трудно, не обходилось без слез от своей беспомощности и моей критики, не раз она решалась все бросить и не садиться больше за стол, но затем возвращалась к работе, которая отнимала у нее законные отпуска и дни отдыха.

Победа осталась за нею, и через три года на своей первой книге «Комиссаржевская» она написала мне почти то же самое, что писал я ей на книге о Вернадском...

А теперь — почему именно Вернадский?

Несколько лет назад при встрече с О.Н. Писаржевским, только что получившим Государственную премию, я спросил его:

— О ком теперь будете писать?

— О Вернадском! — твердо сказал он.

Однако при следующей встрече, через год или полгода, когда я поинтересовался: «Ну, как ваш Вернадский?» — он ответил:

— Нет, я пишу другую книгу.

— А Вернадский?

— Там дело очень сложно... И отношение к нему разное. Я пишу о Ферсмане!

Хронологическая близость к нашему времени не делает труда над биографией гениального человека более легким: наоборот, еще не улегшиеся страсти вокруг его имени, не установившиеся оценки делают или недоступными, или недостоверными многие документы и свидетельства. Но зато вы входите в творческую лабораторию, в ход его мысли и душевную жизнь без всякой предвзятости и вооружась собственным, независимым взглядом на вещи, можете заново открыть замечательного человека, как это не раз и случалось в исторической науке.

Именно эта сторона дела более всего привлекала меня в биографии Вернадского, как и в работе над книгами о жизни других замечательных людей.

С Вернадским я никогда не встречался, о научных трудах его мало что знал: ведь для ученого так же опасно слишком опережать свой век, как и отставать от него. Популярность Вернадского не только в широких кругах, но и в ученом мире никак не соответствовала, да и не соответствует, его роли и значению в науке. Совсем недавно профессор Н.В. Лазарев²³⁶ в посвященном В.И. Вернадскому сборнике статей «Введение в геогигиену» признавался, что, только столкнувшись с последствиями геологической деятельности человека, он и его сотрудники «впервые обратились к известным нам ранее лишь понаслышке трудам В.И. Вернадского, которые затем сильно отразились на всей нашей дальнейшей работе, на всем нашем мышлении». А сборник этот вышел в 1966 году!

Так же и я только понаслышке знал о трудах Вернадского и обратился к ним и к его биографии по счастливому случаю. Один из сотрудников Вернадского биогеохимик А.М. Симорин был не только учеником Вернадского, но и моим учеником: когда-то я, будучи гимназистом, готовил его к поступлению в нашу гимназию, и отношения наши сохранились на всю жизнь...

Вот от него-то я и услышал впервые о В.И. Вернадском... Вернадский оказался более величественным и громадным, чем даже представлялся восторженному своему ученику. Симорину отдано должное в моей книге, как и другим ученикам и сотрудникам Вернадского, с которыми я встречался потом не один раз. От них-то я и узнал те художественные подробности, которые в научной литературе обыкновенно опускаются, а в художественной составляют главное, если не единственное средство изобразительности и жизненности.

Ценнейшими в этом отношении оказались вечера, проведенные со старейшим учеником Вернадского — К.А. Ненадкевичем²³⁷. Ему было тогда уже более восьмидесяти, он почти не выходил из дому и не мог говорить о своем учителе без слез, может быть, отчасти и старческих, но придававших особенную эмоциональную окрашенность каждому его воспоминанию. Художественной стороной мое повествование о Вернадском в значительной мере обязано Ненадкевичу и Симорину. В этом авторитетным судьей, думаю, надо считать Георгия Владимировича Вернадского, профессора истории в Нью-Хэйвенском университете, который мне

писал: «В Вашей книге Вы дали яркий образ моего отца, полета его научной мысли, его отношений к ученикам и друзьям. Дороги для меня упоминания о моей матери. Хорошо, что есть краткие эпизоды и черты семейного и житейского характера. Кое-что для меня было неизвестно, это и многое другое читал с волнением».

Дать с известной степенью живости «яркий», как говорится обычно, образ человека — прямая обязанность каждого писателя, и тут, конечно, еще нет открытия. Но открытие все-таки произошло, совершенно неожиданно и совсем в иной области.

Проспект Вернадского в Москве начинается с института имени В.И. Вернадского. Он называется так: Институт геохимии и аналитической химии имени В.И. Вернадского. И в разговорах с работниками института, и в статьях, посвященных Вернадскому, речь шла о геохимии, генетической минералогии, радиогеологии, космической химии, реже — о биогеохимии — создателем всех этих новых дисциплин был Вернадский. И в кабинете-музее В.И. Вернадского при институте, оказывающем огромную помощь каждому исследователю научной и общественной деятельности ученого, Владимир Иванович представлен как геолог, геохимик, минералог, автор «Биосферы» и «Геохимии», академический деятель и выдающийся естествоиспытатель.

Все это так и есть, конечно. Но когда я обратился непосредственно к трудам самого Вернадского, стал читать без всякой предвзятости статью за статьей, книгу за книгой, я увидел не только геолога и геохимика. Ведь и Иван Петрович Павлов был знаменитым хирургом, удостоился Нобелевской премии за работы по физиологии пищеварения, но Полярной Звездой над миром сияет все-таки его «Учение об условных рефlekсах» — синтез долгого, опыта и знаний, ума и характера. Так же и Вернадский вознесен над миром его синтетическим учением о ноосфере, учением о биогенной миграции атомов как принципе эволюционного процесса, учением о геологической деятельности человечества, о живом веществе, о биогенном происхождении атмосферы — всем тем, что покрывается одним необыкновенным именем: Вернадский.

Потрясающие, как революция, умы биогеохимические идеи Вернадского естественно и невольно заняли главенствующее положение в моей книге, и когда К.А. Ненадкевич прочел ее, он сказал задумчиво:

— А мы Владимира Ивановича таким, как вы его показали, и не знали вовсе!

Блестящий мастер химического анализа К.А. Ненадкевич отрицал как «выдумку» и геохимию, и биогеохимию, считая, что химия — одна.

Но вот что писал мне другой ученик Вернадского профессор И.И. Шафрановский²³⁸ из Ленинграда:

«Для нас, минералогов и геохимиков, а также и кристаллографов, появление Вашей книги — очень большое и важное событие. Облик Владимира Ивановича (которого все мы буквально обожествляли) стоит как живой. Вместе с тем Вы сумели его осветить по-новому, даже для нас, специалистов, хорошо знакомых с его трудами (хотя и беспрестанно перечитывающих их снова). Быть может, с Вами будут спорить, но то, что Вы во главу угла поставили биогеохимию, делает Вашу книгу особенно интересной и оригинальной».

Я получил много читательских писем по поводу первого издания моей книги, вышедшей в 1961 году в серии «ЖЗЛ». Но наша печать обошла «Вернадского» молчанием, вероятно, в силу тех же соображений, которые заставили помянутого в начале моей заметки писателя отказаться от Вернадского и писать о Ферсмани.

При обсуждении книги моей в институте имени Вернадского один из выступавших сотрудников заметил, что «Гумилевский пишет о Вернадском как влюбленный». Это пошлое слово я не люблю, но действительно, все в Вернадском мне было близко и дорого так, как будто это мое собственное. В выборе темы, в отборе материала сказывается личность автора, и, в сущности, рассказывая о других, реальных или вымышленных людях, он рассказывает о самом себе.

Задолго до знакомства с идеями Вернадского, как я уже и говорил, после многих лет работы в области истории техники и науки, я пришел к фантастическим выводам, о которых боялся не только писать, но и разговаривать. Но однажды я все-таки записал их, запрятал и сохранил в этой моей автобиографии. Речь шла о том, что современное развитие техники становится бессмысленным, ибо уже не наука и техника обслуживают человека, а человек обслуживает их.

В разговорах на эту тему с друзьями я приводил факты и не встречал дельных возражений, а когда меня спрашивали, куда же ведет нас такое развитие науки и техники, я, руководясь логикой, отвечал:

— К абсолютной автоматизации всех производств: машины и механизмы будут добывать руды, получать из них металл, делать машины из металла, словом, поддерживать запущенный человечеством круговорот...

— А что же будут делать люди?

— Они и вымрут постепенно, за ненадобностью! — твердо заключал я.

Получалась страшная фантастика и, написав на эту тему страшный рассказ, я подарил его Рыкачеву с просьбой прочесть и уничтожить: бессмысленная фантастика сначала пугала, а потом вызывала смех. В самом деле, ведь должен же быть какой-то, пусть объективный, непонятный нам, смысл в таком развитии науки и техники!

И вот, оказывается, стоило мне тогда почитать труды Вернадского, чтобы получить ответ на мой вопрос. Вернадский открыл механический принцип или закон постоянного усиления биогенной миграции атомов элементов, лежащий в основе эволюционного развития всего живого и геологической деятельности человечества. Развитие техники и связанной с нею науки и вызывается усилением ими биогенной миграции атомов элементов...

Еще когда мы думали, что вселенной управляет Бог — как бы он ни назывался, — жизнь имела какую-то значительность. Но сейчас... оказывается, что бог этот — механический принцип усиления биогенной миграции атомов элементов...

Вернадский обладал гениальным умом и равным ему мужеством. В декабре 1942 года в своем дневнике он писал: «Готовлюсь к уходу из жизни. Никакого страха. Распадение на атомы и молекулы».

Открыв истинного Бога, создавшего все живое в процессе эволюции, Вернадский не зовет поклоняться ему, но выражает твердую уверенность, что «исторически длительные печальные и тяжелые явления, разлагающие жизнь, приводящие людей к самоистреблению, к обнищанию, неизбежно будут преодолены».

Установив тесную связь грандиозных процессов природы и культурного роста человечества, Вернадский ни на одно мгновение не сомневается, что «направление этого роста — к дальнейшему захвату сил природы и их переработке сознанием, мыслью, — определено ходом геологической истории нашей планеты, оно не может быть остановлено нашей волей».

Тем же ходом геологической истории определен и переход человечества в Ноосферу, в царство Разума, неизбежность преодоления обнищания и самоистребления.

Несомненно, что ускорению и усилению биогенной миграции атомов элементов вполне отвечает современное развитие техники и науки. Как нельзя более, впрочем, отвечает им и вся история человечества с ее бесконечными войнами и гонкой вооружений. Быть может, народы, достигшие высокой культуры и потом исчезнувшие или выродившиеся — Египет, Греция, Рим, Византия, — гибли потому, что культура и техника их жизни не отвечали ускорению и усилению биогенной миграции атомов. Вернадский указывал, что советская культура идет в унисон с геологическим процессом и потому, «очевидно, мы выживем в любых условиях, в том числе и атомных».

О биогенной миграции атомов элементов очень сильно и выразительно говорил еще у Шекспира Гамлет на могиле Офелии с черепом Йорика в руках:

Могучий Цезарь ныне прах и тлен,
И на поправку он истрачен стен:
Живая глина Землю потрясала,
А мертвая — замазкой печи стала!

Миграция элементов, производимая жизнью, понятна была и ранее: «земля еси в землю и отыдеши», — читаем мы в Евангелии.

Но истина не в том, что жизнь производит миграцию атомов элементов, а в том, что миграция атомов элементов производит жизнь — это и есть тот механический принцип, который открылся Вернадскому. Как истинный мудрец, Вернадский не связывал с ним вопросов морали и этики, он принимал его как установленный и независимый от нашей воли факт, так же спокойно и мудро, как принимал и собственное «распадение на атомы и молекулы». Вся жизнь, признается он, научные искания его шли в одном и том же направлении — выяснении геологического процесса изменения жизни на Земле как на планете, «конца, размеров и значения чего мы не знаем».

Но значение введенных им в науку биогеохимических идей он видел ясно и писал: «Изучение биогеохимических явлений в своем возможно глубоком подходе вводит нас в область неразрывного проявления явлений жизни и явлений физического строения мира, в область новых построений научной мысли будущего. В

этом глубокий и научный и философский, жгучий современный интерес проблем биогеохимических».

В сущности, Вернадский первым в мире и в истории человечества объяснил, кто мы, для чего и почему существуем на планете.

После неудачных попыток разных религиозных деятелей и философов ответить на этот вечный вопрос, Вернадский отвечает на него впервые строго научно и убедительно, основываясь на эмпирических фактах, а не на вере и откровении.

Понадобится много времени и жестокой борьбы с привычным мышлением, прежде чем идеи Вернадского станут всеобщим достоянием. Я же счастлив тем, что сделал едва ли не первый шаг к ознакомлению широких кругов с этими идеями, которые несомненно победят и умы и сердца человеческие.

«Нужно сто лет для того, чтобы прийти к истине, — писал Н.Г. Чернышевский, повторяя слова Гумбольдта, — и еще сто лет для того, чтобы начать следовать ей».

Так было с учением И.П. Павлова. Так будет и с учением В.И. Вернадского...

8

Три основных фактора до неузнаваемости изменили мир на моих глазах: культурный рост человечества, крушение гуманизма и необратимый разгром природы.

Мой первый школьный год в 1899 году закончился участием в Пушкинских торжествах, по случаю столетия со дня рождения великого поэта. Это было первое всенародное, открытое и бесспорное чествование Пушкина. Нам роздали книжки с его стихами и вступительной статьей. Она начиналась так: «Пушкин и Гоголь, Гоголь и Пушкин — вот два имени, которые знает каждый русский человек».

Потом нас водили в сад Сервье, где доживал свой век старый деревянный театр с дощатой галереей. В театре нам показывали «Бориса Годунова», а в галерее поили чаем с булками и конфетами. Француза, строившего театр, давно уже не было в живых, да и сам театр скоро сгорел. На месте пожарища развели цветник, а затем, в глубине сада, построили новый каменный театр. Он назывался Общедоступным и принадлежал «Обществу трезвости». Этот театр поглотил мою юность и сделал в душе актером, а еще больше мечтателем.

Начальную школу я оканчивал в 1901 году, тогда отмечалось сорок лет со дня освобождения крестьян. Нам опять роздали книжки, пожертвованные попечителем училища графом Нессельроде. Когда служили молебен, граф стоял впереди наших ученических рядов: он был в белых штанах, расшитом золотом мундире и с треугольной шляпой в руках. На книжной обложке художник нарисовал простую девочку в платке, и я до сих пор еще умею нарисовать женскую головку, покрытую платком.

В том же году я поступил в Саратовскую вторую гимназию, за год-два до того только что открытую. Помещалась она в старом духовном училище, возле Старого собора. Но через год нас перевели уже в собственное, новое и великолепное здание гимназии на Царевской улице, совсем близко от домика, где мы жили.

Пока я восемь лет переходил из класса в класс, Саратов необыкновенно быстро культурно рос, строился, украшался, приобретая черты европейского города. Построились здания Консерватории, Технического училища, открылось второе реальное училище, несколько женских гимназий, фельдшерские курсы и наконец, за год до моего окончания гимназии, открыт был Саратовский университет.

Асфальтировались улицы, проводилась канализация, вместо конки начал ходить трамвай, засветились окна обывательских домиков электричеством. На том самом базаре, где ночами караулил со своей Милкой и неизменной трубкой наш сосед по двору, возвысился превосходный Крытый рынок по европейскому образцу. Появились первые синемаграфы, над ипподромом, превращенным в аэродром, кружили первые аэропланы, по городским улицам загромыхали первые автомобили. По Волге пошли первые пассажирские теплоходы, без красных хлопающих колес, стройные и сильные, как ласточки или чайки. Я сидел на Зеленом острове, у кромки воды на песчаном берегу, когда мимо проходил «Бородино». Волга устремилась под киль теплохода, с такой быстротой обнажая берег, что на песке оставались крошечные рыбешки, не успевшие убраться вслед за волной.

День ото дня Саратов хорошел, выбиваясь в первые ряды русских губернских городов. Уже, кроме пяти местных газет, можно было покупать «Русское слово» по московской цене, за 3 копейки, и знаменитый московский булочник Д.И. Филиппов открыл на Немецкой улице булочную с сайками и пирожками.

Кончая курс гимназии, я был завзятым урбанистом. Я любил город с его освещением, чистыми улицами, постоянно движущимися людьми, открытыми магазинами, с его возможностью в любой момент пойти и купить, что нужно...

Огни, толпы людей, театры, афиши, все напоминало о том, что жизнь не стоит на месте и все движется — открыто, сильно, шумно — вперед.

Но куда?

На этот вопрос отвечает величайший естествоиспытатель нашего времени академик Владимир Иванович Вернадский.

«Появление на Земле культурного человечества, овладевшего благодаря земледелию, основным субстратом живой материи — зеленым растительным веществом, начинает менять химический лик нашей планеты, конца, размеров и значения чего мы не знаем».

К концу моего долгого жизненного пути химический и физический, геологический и политический лик Земли прояснился окончательно.

Вернадский неустанно повторял: с человеком на Землю пришла огромная геологическая сила. По энергетической мощности своей она вполне может быть сравниваема с энергией земных недр, производящих землетрясения, извержения вулканов, сдвиги почв и материков. Установлено, что добыча руд, угля, нефти, газа, подземных вод уже привела к заметному оседанию поверхности. Под действием собственной тяжести оседают некоторые города. Так, столица Эстонии Таллин опускается на несколько сантиметров в год, а Москва на несколько миллиметров. Добывая полезные ископаемые, производя строительные работы, человек перерабатывает и перемещает миллиарды тонн горных пород. Трагедия небольшого шахтерского городка Аберфана в Южном Уэльсе еще жива в памяти человечества. Здесь много лет выбрасывались из шахт и скапливались угольный шлак и пустая порода. Образовалась гора высотой 300 метров. И вот утром 21 октября 1966 года подмытая дождями поползла вниз основная масса породы весом свыше двух миллионов тонн. Сокрушая все на своем пути, она разрушила сельскую ферму, пятнадцать шахтерских домов и, наконец, местную школу, где только что начались занятия. Бросившиеся на помощь шахтеры успели спасти всего несколько взрослых и детей. Оставшиеся в развалинах погибли все: из-под обломков было извлечено 196 трупов, главным образом детских.

В основе геологических процессов лежит передвижение атомов элементов или переход их из одного состояния в другое, названный Вернадским «миграцией атомов элементов». Такую миграцию производят землетрясения, извержения вулканов. С появлением на Земле жизни большое значение приобретает биогенная миграция атомов элементов, то есть производимая силами самой жизни: переход из почвы в растительность, из растительной пищи в организм животного, а со смертью его возвращение в почву. К биогенной миграции атомов элементов относится и миграция атомов, производимая «техникой жизни» растений и животных: растения разрыхляют землю корнями, дождевые черви проделывают с еще большим успехом подобную же работу, пронизывая почву своими ходами.

Биогенная миграция атомов элементов легла в основу эволюционного процесса и на данном этапе привела к созданию разумного человека, к появлению культурного человечества. Техника жизни современного человечества со всем тем, что нужно для его существования — автомобилями, самолетами, телефонами, телевизорами, вооружениями, машинами, путями сообщения, городами и деревнями — имеет огромное, колоссальное, непредставимое по размерам и властности значение для усиления и убыстрения миграции атомов химических элементов.

Атомы элементов — не разумные и даже не живые существа, одаренные хотя бы инстинктом. В основе миграции атомов лежит механический принцип, тот самый механический принцип, на котором зиждется Космос. «Сходство планетной системы и строения атома не кажется случайным совпадением — оно является проявлением единства Вселенной», — писал Вернадский.

Если принять атомы элементов как бы чувствующими или мыслящими, можно было бы, для понятности, сказать, что они не заинтересованы в развитии гуманизма — в сохранении живой природы. Они заинтересованы только в усилении биогенной миграции и во всем том, что содействует ему. Бесперывные войны, сбрасывающие в общие могилы тысячи, миллионы людей в расцвете сил, кровавые расправы, преступления, голод, нищета, эпидемии, производственные катастрофы естественно усиливают, ускоряют миграцию атомов: пусть рождается людей как можно больше и пусть умирают они как можно скорее, освобождая место другим.

И действительно, несмотря на миллионы жертв бесперывных войн, болезней и голода, население Земли непрерывно возра-

стает... Сейчас оно составляет три с половиной миллиарда, а к 2000 году составит семь миллиардов человек.

Когда я только начинал учиться, случилось мне, после какого-то детского вечера, заночевать у моих двоюродных братьев. Отец их был пьяница и, как все офицеры, бездельник, вскоре умерший от белой горячки, но у него был денщик, молодой мужик, любивший детей. Он постелил нам на полу в гостиной, и, когда мы улеглись, сам лег возле нас и стал вспоминать деревенскую жизнь. Но мы как-то свели разговор на войну, и вдруг в нем заговорил солдат:

— А знаете, почему бывают войны? — спросил он.

Мы, конечно, не знали, и тогда он шепотом стал говорить:

— А дело-то вовсе не хитрое. Вот сойдутся два царя, и пойдет у них такой разговор-жалоба. Один говорит: расплодилось народу у меня уймаща, голодовать скоро будем. Не знаю, как быть! А другой отвечает: у меня тоже народу лишнего много, давай воевать. И начинают они воевать друг с другом и воюют до тех пор, пока не убавится народу у обоих. Тогда, конечно, заключают мир, и опять все, как ни в чем не бывало, один к другому в гости едут и во дворцах балы устраивают!

Примитивно-сказочное объяснение происхождения военных столкновений запомнилось мне на всю жизнь, как многие другие сказки. Но и теперешние объяснения историков, политиков, экономистов мне кажутся не менее наивными. Только у Вернадского я вижу строгое научное и совершенно объективное основание к тому, что главы государств и правительств, не будучи полными идиотами, с музыкой и знаменами идут навстречу самоистреблению отдельных людей и целых народов, не исключая и самих себя.

Казалось бы, что после екатеринбургской трагедии Николая II и многих других подобных трагедий, после Нюрнбергского процесса, закончившего существование гитлеровской Германии, остановится и ход геологической истории нашей планеты. Но он действительно, «не может быть остановлен нашей волей», как утверждает Вернадский.

И дело не в том лишь, что преждевременная смерть организмов в несколько раз ускоряет, усиливает возвращение атомов — через почву, растительность — в кругооборот биогенной миграции атомов химических элементов. Вспомним, что культурный рост человечества начался с добывания кремневых камней и обработки их в оружие — топоры, ножи, наконечники стрел. Воен-

ная техника во все времена, начиная с древнейших, во всех странах и у всех народов была передовой техникой. Легко понять причины, побуждавшие людей заботиться о своей мощи. Но я думаю, что существуют и внутренние силы, обеспечивающие военной технике и промышленности передовое положение. Ведь военная техника, совершенствуя средства нападения, должна в то же время готовить и средства защиты от них. Диалектика развития и направляет военную технику на правильный путь к достижению основной цели, к новому дальнейшему развитию.

Последнее десятилетие военная промышленность людей усиленно занималась изготовлением атомных бомб и средств доставки их к цели. Теперь идут поиски средств защиты от ракет, несущих атомные заряды. Идиотизм нашей сегодняшней жизни и деятельности нельзя понять, не зная, не понимая или не принимая учения о биогенной миграции атомов элементов.

В одном и том же номере газеты я читаю о том, что в результате гидротехнических сооружений гибнет рыба на Дону и Волге, а рядом сообщение о том, что пущены новые гидроагрегаты на Каме и Волге.

Бурное развитие производительных сил уничтожает природу, загрязняет водоемы, отравляет воздух, сводит леса. Фотосинтез уже не справляется с восстановлением кислорода, расходуемого на сжигание топлива промышленностью и транспортом.

Глядя на развертывающееся по всему миру строительство заводов, фабрик, водопроводов, нефтепроводов, мостов, станций, начинаешь думать: когда же кончится строительство и начнется жизнь.

И начинает казаться, что дело уже не в том, нужен ли этот мост, водопровод, канал, а в том, что строительства уже нельзя остановить, и, едва стаял снег, как начинают снова гроыхать бульдозеры, экскаваторы, устанавливаться краны, сносятся старые здания, вновь поднимается асфальт.

Трудно не принять твердого эмпирического обобщения, сделанного Вернадским: «Законы культурного роста человечества теснейшим образом связаны с теми грандиозными процессами природы, которые открывает нам геохимия, и не могут считаться случайностью, — говорит он. — Направление этого роста — к дальнейшему захвату сил природы и их переработке сознанием, мыслью — определено ходом геологической истории нашей планеты, оно не может быть остановлено нашей волей».

Сейчас, когда мы стоим лишь в начале научно-технической революции, когда наука и техника стали непосредственной производительной силой, трудно найти другой пример такого великого открытия и научного предвиденья, которое с такой силой оправдали и подтвердили бы последующие события.

Перед домом, в котором я живу, стоит вереница автомобилей. Мимо них проходит высокая молодая женщина: она провожает мальчика в школу и на ходу чем-то кормит его, достает куски из бумажного пакета и всовывает их прямо в его рот. Мальчик жует не сопротивляясь. Он весь поглощен своим делом: обходит каждую машину, заглядывает внутрь через дверные стекла, называет марку автомобиля, если рот свободен, и спешит к следующей машине.

Это уже не те громахающие рыдваны, которые когда-то поражали мое воображение в Саратове. Теперь это тихие, изящные, скоростные машины. Они лишают сна и покоя моих современников, ими увлечен весь мир детей и взрослых. Сегодня в мире насчитывается 200 миллионов автомашин и общая протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием перевалила за 10 миллионов километров. Самое поразительное в том, что из пристрастия к этому механическому созданию люди без колебания уродуют красивейшие пейзажи, разрушают города, тишину и аромат сельских местностей, садов и полей.

Самый страшный идиотизм, порожденный автомобилизмом, заключается в том, что на всех этих дорогах и городских улицах при постоянных автомобильных катастрофах гибнут уже не тысячи, а миллионы людей, чаще всего молодых. В Европе ежегодно жертвами автомобильных катастроф становятся 50 тысяч человек и почти 2 миллиона получают ранения. В Америке эти цифры еще более значительны. Забавно то, что переполненные автомобилями улицы городов не позволяют осуществлять основное преимущество авто — скорость передвижения. Машины должны двигаться черепашьям шагом. Пешеходы их обгоняют без малейших усилий. Тем не менее повсюду в мире конструкторы стремятся к повышению скоростей автомашин и заняты поисками средств сделать их безопасными.

Один из героев моих книг шведский инженер Густав де Лаваль писал в начале нынешнего века: «Большие скорости — вот истинный дар богов!»

Богами больших скоростей оказались атомы химических элементов или, точнее говоря, механический принцип, лежащий в

основе их миграции. Биогенная миграция атомов определила направление эволюционного процесса. Палеонтологическая летопись показывает, что в ходе геологического времени на всем животном царстве наблюдается усвершенствование центральной нервной системы и мозга, начиная от ракообразных и моллюсков и кончая человеком, причем раз достигнутый уровень развития мозга в процессе эволюции не идет уже вспять, но только вперед. Мощь человека связана с его мозгом, с его разумом, направляющим и его творческий труд.

«В геологической истории биосферы, — говорит Вернадский, — перед человеком открывается огромное будущее, если он поймет это и не будет употреблять свой разум и свой труд на самоистребление».

В своем будущем человечество никогда не сомневалось и не сомневается, но, понимая это, может ли оно остановить тот самый геологический процесс, о котором сам же Вернадский писал, что он «не может быть остановлен нашей волей»?

Известный польский писатель-фантаст С. Лем в своей книге «Сумма технологии» в итоге своих размышлений и познаний спрашивает: «Все дело в том, кто кем повелевает? Технология нами или мы ею? Она ли ведет нас, куда ей вздумается, хотя бы и навстречу гибели, или же мы можем заставить ее покориться нашим стремлениям?»

Мой долгий, долгий жизненный путь привел меня к убеждению, что повелевает нами технология, точнее биогенная миграция атомов, создаваемая техникой нашей жизни, «конца, размеров и значения чего мы не знаем» и что остановить не в нашей воле. Она повелевает жизнью и смертью каждого человека, она организует войны, эпидемии, стихийные бедствия, содействует всему, что усиливает миграцию атомов, и отвергает то, что не ведет к ее усилению.

Несколько тысячелетий религиозный гуманизм и христианский аскетизм стояли на пути усиления биогенной миграции атомов.

Человечество создало новые религии: футбол и хоккей с шайбой. Никогда ни одна церковь, мечеть, синагога, ни сам Папа Римский не собирали столько молещиков, сколько собирает болельщиков одно футбольное или хоккейное поле.

Когда я называю футбол и хоккей религией современного человечества, многие считают, что я сильно преувеличиваю значение футболизма. Однако, как показывает текущая действитель-

ность, уже начинаются религиозные футбольные войны. В прошлом 1969 году такую войну вели два американских государства — Гондурас и Сальвадор. Начало войне положил футбольный матч между ними, и было все: сосредоточивание войск на границе, убитые и раненые и наконец мирный договор.

Один из великих писателей мира Чарльз Диккенс, побывавший не раз в Североамериканских Соединенных Штатах, писал: «Самый ужасный удар, который когда-либо будет нанесен свободе, придет из этой страны. Удар этот явится следствием ее неспособности с достоинством носить свою роль мирового учителя жизни».

Приводя эту цитату в своей книге о Диккенсе, Честертон замечает: «Хотя предсказание Диккенса еще до сих пор не сбылось, все же нельзя отрицать, что в нем много справедливого».

Теперь предвидение Диккенса вполне оправдалось.

В Северную Америку переселялись из Европы люди наиболее энергичные и решительные, жаждавшие свободы и наживы, отнимавшие с оружием в руках земли индейцев, коренных жителей этой страны. Пришельцы, дорвавшись до свободы и нетронутых богатств природы, стали вводить на отнятых землях свои порядки, свою промышленность, свой моральный кодекс. В исторически короткий срок они вывели Соединенные Штаты в передовые страны мира и стали учить человечество американскому образу жизни как идеалу для всех.

На могильном памятнике Вернадского золотом высечено как величайшее и значительнейшее его открытие: «С человеком несомненно появилась новая огромная геологическая сила на поверхности нашей планеты».

Трудно отыскать на Земле другой такой уголок, где геологическая деятельность человека проявилась бы с такой силой, а биогенная миграция атомов поднялась бы на такую высоту, как в Соединенных Штатах. Не являются ли Соединенные Штаты прообразом будущего и для других стран, для других народов, идущих по тому же пути? Невольно спрашиваешь себя: неужели человечество миллионы лет совершенствовало свой мозг и нервную систему только для того, чтобы изобрести футбол и атомную бомбу?

Год назад экраны всего мира обошел американский фильм «Этот безумный, безумный, безумный мир». Название его обратилось в поговорку и сентенцию сегодняшнего дня, предупрежда-

ющую об опасном направлении геологической деятельности человечества и усилении биогенной миграции атомов химических элементов.

С легкой руки американского сенатора Фулбрайта, назвавшего вторжение американских войск в нейтральную Камбоджу «политическим безумием», газеты Соединенных Штатов под этим заголовком напечатали уйму всяких комментариев к решению президента Никсона. Среди них не было только одного — напоминания о том, что Никсон, в сущности, выполнил свою геологическую функцию, как выполняют ее все человечество и все земляные черви.

Трудно представить, чтобы такое напоминание побудило Никсона вернуть свои войска из Камбоджи. Учение Вернадского о том, что мировой характер социально-политических процессов в ходе человеческой истории исходит из более глубокого субстрата истории человечества, из геологического субстрата — миграции атомов химических элементов — совершенно противно всем традиционным представлениям — религиозным, политическим, экономическим, гуманитарным — идеалистической философии. Оно отвечает, однако, марксистско-ленинской теории: «человек в своей практической деятельности имеет перед собой объективный мир, зависит от него, им определяет свою деятельность».

В послании Академии наук Вернадский в 1924 году писал из Сорбонны: «Вся история науки доказывает на каждом шагу, что в конце концов постоянно бывает прав одинокий ученый, видящий то, что другие своевременно осознать и оценить не были в состоянии».

В меру своих сил и возможностей я старался в своих книгах, посвященных Вернадскому, сделать доступным и понятным гениальное учение крупнейшего естествоиспытателя нашего времени.

9

Последние годы, а может быть, и дни моей жизни совпали с пятидесятилетием Советской власти и дальнейшей серией пятидесятилетий — Советской милиции, Советской Армии, комсомола и бесчисленного множества других советских учреждений и организаций.

Таким образом, начиная с первых дней и кончая пятидесятилетиями органов Октябрьской революции, я жил и действовал среди революционных событий, побед и поражений, падений и

возвышений, удач и неудач, находок и ошибок. При всем этом, как и до революции, я оставался лицом «свободной» профессии, не связанным ни государственной службой, ни партийностью, ни даже простой благодарностью, так как не получал ни орденов, ни квартир, ни даже путевок в дома отдыха или санатории.

Для революционной действительности и советского образа жизни мой случай совсем не характерен, скорее он исключение. Объяснить его трудно. В отдельные моменты я пытался и служить, и входить в интересы коллектива, работать на началах общественности, — словом, пытался жить и делать все так, как делали другие.

Но жизнь выталкивала меня отовсюду, и я оставался все тем же одиночкой, каким был и до революции. Почему это так происходило? В одной рецензии на мою книгу я прочитал вот что: «Гумилевский принял революцию, но не сроднился с ней».

В другой рецензии, относящейся к тем же моим рассказам, наоборот, говорилось так: «Гумилевский, несомненно, идеологически — наш писатель, который не только черпает из революции материал для своих произведений, но и мыслит и чувствует вместе с революцией»...

В 1917 году мне было 27 лет. Это значит, что я был уже человеком со строгим мировоззрением, твердыми намерениями, ясным путем жизни и деятельности. Со школьного обучения по толстовским «Книгам для чтения» (и вплоть до «Отца Сергия», «Дьявола» и «Фальшивого купона») я жил и мыслил под влиянием великого писателя, влиянием, о котором теперь человечество уже не имеет представления...

Только дураки не признают фактов. Но как же бы я мог сродниться с самой формулой, непостижимой для моего семинарского мышления, формулой диктатуры пролетариата, излагавшейся в «Вопросах ленинизма» так: «Диктатура пролетариата есть никем и ничем неограниченная власть рабочего класса...».

Октябрьская революция начиналась бескровно и такую она вошла в историю человечества, но такой не осталась: тысячелетний гнев, тайный и страстный, искал выхода, и вряд ли мог кто-нибудь предотвратить нашествие четверки матросов в Мариинскую тюремную больницу, где лежали члены Временного правительства А.И. Шингарев²³⁹ и Ф.Ф. Кокошкин²⁴⁰. Они были застрелены в своих постелях, на глазах беспомощных сестер и нянек. Матросы не были разысканы, да никто их и не искал — стихия была неотвратима, и она шла по всей Русской земле. Если

этот гнев мог обрушиться на голову двенадцатилетнего гимназиста, то как бы он мог не пасть на голову царя и всяческих министров!

Все это можно принимать, но как мог бы я сродниться с формулой диктатуры, с разгоном Учредительного собрания, с расстрелами заложников, бессудными казнями, с политическим безумием Сталина, теперь, в дни 50-летия революции, отражаемым, как в зеркале, таким же безумием Председателя Мао в Китае?!

Чтобы сродниться с Октябрьской революцией, надо было стать с детских лет профессиональным революционером, а я стал профессиональным литератором. И как я не мог сродниться с революцией, так профессиональные революционеры не могли и не могут по сей день сродниться с литературой. Они принимают ее как факт, как необходимость, всячески помогают ей, как я революции, но профессиональными писателями не становятся, как я не мог стать профессиональным революционером, будучи в 1917 году уже литератором.

Больше того. Я не мог сродниться, свыкнуться с революционным языком, с советским общепринятым словарем и писал все 50 лет так, как писал, и по сей день ощущаю отвращение, почти физическое, когда слышу или читаю «бензобак», «оперсводка», «сопромат», «зачетка», «Дзержинка», «Ленинка» — слова, столь же оскорбляющие русский язык, как и людей, к которым они относятся, хотя бы только по форме.

Как-то, проходя по Пассажу, я заметил вывеску с крупной надписью: МЕТИЗЫ. Слово это я слышал, но мне не пришло в голову, что это тоже сокращенное соединение двух слов. Я просто не знал, что оно значит, и отнес его к терминам специального характера.

Поэтому я зашел в магазин посмотреть на эти самые метизы. На полках магазина ничего необычного я не увидел: ножи, вилки, замки, щипцы, клещи, отвертки.

— Покажите мне пожалуйста, где тут метизы? — спросил я продавца, дремавшего за прилавком.

Он с некоторым недоумением развел руками на обе стороны...

— Вот это все метизы... — пояснил он.

Я вышел, ничего не понимая, и, только снова взглянув на вывеску, вдруг сообразил, что метизы — это металлические изделия...

Герцен с уважением вспоминает собеседника, обратившего его внимание на то, что слово обладает способностью обратно воздей-

ствовать на человека. Теперь мы знаем, что словом можно поднять температуру тела у любого из нас. Вот почему со словом надо обращаться не только честно, но и осторожно.

«Метизы» никак не воздействуют — ни прямо, ни обратно. Таких слов в нашем словаре за полвека накопилось немало, так же как и готовых стандартных выражений, без которых моя речь и кажется чужой, не советской.

Яков Семенович Рыкачев говорил мне:

— У вас все правильно, Лев Иванович. Одна беда — словарь не тот!

Общепринятого советского словаря, как он сложился за полвека, действительно в моих книгах нет, да и не могло быть. Речь идет, конечно, не об отдельных словах, а о системе словоупотребления, распространенных мыслительных категориях, о системе выражений. Политическое лицемерие изгнало из слова прямое его значение, и слова уже не чувствуются, а просто нанизываются одно на другое. В «Комсомольской правде» 30 апреля 1959 года печатается, например, заметка под ответственным заголовком «Высокая мерка» о героизме матроса подводной лодки, погасившего пожар в люке. Описание подвига заключается так: «Когда Иван поднялся наверх, его буквально задушили в объятьях».

Одного героя задушили, а о другом я читал, что он «буквально разрывался на части», но тем не менее остался жив.

Бездумное словоупотребление переходит в бездумный, бездушный разговор.

Случилось мне как-то слушать выступление по радио представителя учреждения Министерства торговли Прохоровой. Начала она свою речь так:

— Москвичи уже в прошлом году получили немало подарков — новые продовольственные магазины, столовые, кафе. Новые подарки готовим мы и в наступающем году...

Получается, что Прохорова или учреждения, которые она представляет, не обязанности свои по службе выполняют, а занимаются благотворительной деятельностью, одаривая москвичей магазинами, столовыми, овощными палатками и прочими подарками, за которые, естественно, и ждут благодарности от московских жителей.

Как это ни странно, но такие взгляды на исполнение своих служебных обязанностей свойственны нашим деятелям. Они достались в наследство от культа Сталина и поддерживаются идущими им навстречу восхвалениями и благодарностями.

Впрочем, когда Лион Фейхтвангер, беседуя со Сталиным, указывал ему на «безвкусное, преувеличенное преклонение перед его личностью», Сталин пожал плечами и высказал предположение, что «это люди, которые довольно поздно признали существующий режим и теперь стараются доказать свою преданность с удвоенным усердием».

«Подхалимствующий дурак, — сердито сказал Сталин, — приносит больше вреда, чем сотни врагов».

Благодарить Сталина «за счастливую жизнь, за счастливое детство» — значит культивировать бездумное употребление слов, превращающихся в бездумный и бездушный разговор.

С таким бездумным употреблением слов воевал еще Горький, и война эта временами снова вспыхивает, но побед не одерживает. Наоборот, побеждает бездумный разговор. Теперь уже можно различать своеобразные правила, по которым развивается разрушение русской речи и литературного языка. Прививается употребление глагола без дополнения: «ах, как я переживала, как переживала», без дополнения, что именно переживала, и постепенно глаголы действительного залога, переходят в соседнюю группу среднего залога.

Так начинают употребляться бог знает что означающие слова: «повышаем, повышает!», «вкальваем вовсю»... Теперь с молниеносной быстротой возникло употребление цифр без определения, к чему они относятся. Начало положила реклама Экспо-67, а теперь уже любой редактор покачает головой, если увидит: «В тысяча девятьсот семнадцатом году...» — и лишнее, само собой разумеющееся слово выбросит.

Сложносокращенные слова, обгрызенные глаголы, прилагательные, числительные, существительные ни в какой мере не прививают лаконизм речи, изящество — выражениям. Послушаем несколько часов дикторов радио:

— Трансляция передачи из Ленинграда...

— Вечерний отрезок времени можно посвятить театру, кино, чтению...

— Опыт нашей практики свидетельствует о возможности повысить выпуск метизных изделий почти вдвое...

Академик Л.В. Щерба совершенно правильно указывал на то, что «когда чувство нормы воспитано у человека, тогда-то он начинает понимать всю прелесть обоснованных отступлений от нее».

И тогда-то, добавим мы, он начинает чувствовать отвращение к необоснованным отступлениям от нее...

Необоснованные отступления от норм языка свидетельствуют об отсутствии чувства нормы. Вот почему борьба с порчей языка оказывается бесплодной. Сколько уж раз в статьях, лекциях, спорах убедительнейшим образом доказывалось, что грамотный русский человек не может говорить «пара лет», «пара слов», «пара минут», и тем не менее я все чаще и чаще слышу это нестерпимое соединение несоединимых по природе слов!

И.А. Бунин пишет в своей автобиографической повести, что при виде слова «чреватый» в газете, у него вспыхивало желание убить автора. У писателя, проводящего всю жизнь в поисках точного, выразительного, потрясающего слова, такая нетерпимость к необоснованным нарушениям языковых норм понятна, естественна, даже обязательна.

Я не Бунин, но и у меня появляется желание если не убить, то хотя бы ткнуть носом автора в его рукопись, когда я читаю или слышу:

— Очень здорово голова болит!

— Дал согласие... выражаю надежду... хочется сказать...

— Девушки наседали на него, но он еще не выпалил всего, что хотел...

— Седина полновластной хозяйкой распоряжалась в его волосах.

Все это не оговорки в обычной болтовне, а та самая беллетристика, о которой Толстой говорил: «Беллетристика должна быть прекрасной, иначе она отвратительна!»

Дело не только в беллетристике, но и в беллетристах.

Беллетристы вообще считают хорошим литературным тоном пренебрегать нормами языка. Не воспитав еще чувства нормы, они обращаются к Далю или к тем самым выкрутасам, которыми забавляются десятиклассники, только что научившиеся читать...

Сто тысяч первых раз повторяется одна и та же схема литературного лженоваторства, и все так же сто тысяч людей, лишенных чувства нормы, беснуются от восторга и восхищения!

Но предложите любому из них вместо Даля обратиться к И.П. Павлову, и он сочтет вас за сумасшедшего.

— Какое же отношение он имеет к литературе?..

Учение об условных рефлексах способствует воспитанию чувства нормы родного языка. Мне Павлов помог понять, что в литературе хорошо и что плохо, и найти «новую форму», нормы своего языка.

Основа его — простота, та простота, которая не имеет ничего общего ни с уличным или кухонным разговорным языком, ни с грубой упрощенностью, ни с надуманной, выработанной по Далю изящностью. Моя простота в лаконизме выражения, в лаконизме выразительных средств, в строгости и ясности мысли.

Не многим дано, как Толстому или Тургеневу, Гоголю или Пушкину, Чехову или Бунину, Платонову или Зоценко, взявши впервые в руки карандаш и бумагу, действовать с удивительной верностью чутья и вкуса, «угадывать детской душой, что хорошо, что дурно, что лучше и что хуже, что нужно ей и что не нужно», как о том, дивясь на самого себя, вспоминал в автобиографической повести Бунин.

Мне пришлось идти до такого угадывания долгим и трудным путем, призывая на помощь науку. Дошел ли я до него? Не знаю!

Но Рыкачев определил верно:

— Словарь не тот!

— И локти не те, — добавил к этому Федор Маркович Левин²⁴¹.

В этой формуле есть меньшая доля истины.

Ведь в те годы, когда я учился справляться с нуждами жизни, не было длинных очередей, переполненных трамваев, набитой людьми и жуликами Сухаревки, где бы требовались локти в прямом смысле слова. Не было надобности в локтях и в переносном смысле. Не только расталкивать людей локтями нигде не приходилось, но даже и просить о чем-нибудь считалось предосудительным: окружающие сами должны были догадываться, в чем нуждаются люди возле них. Просили только нищие. Даже обитатели ночлежных домов, называвшиеся в Саратове «галахами», никогда не просили ничего, а шли на базар и там предлагали перегруженным хозяйкам свои услуги:

— Донесу, хозяйка, а?

Ни в детстве ни в юности мне не приходилось просить. Мать наша считала зазорным попросить у соседки хотя бы щепотку чая или горсть соли. Если бы пришлось обратиться за такой малостью мне, я, наверное, сгорел бы со стыда. Просить нас не приучили. Нас учили скрывать свою бедность. К счастью, с пятнадцати лет я стал зарабатывать деньги уроками и до последних лет жизни не выучился ни брать взаймы, ни взывать о помощи.

Никогда мне не приходило в голову назначать гонорар за напечатанное. Я получал то, что платили. Руководителям уч-

реждений полагалось заботиться о своих сотрудниках, не дожидаясь просьб.

В 1917 году я напечатал в газете «День» несколько фельетонов. Через месяц или два редактор Кугель сказал мне:

— Зайдите в нашу контору на Невском. Будете получать жалованье сверх построчных.

Само положение дела обязывает руководство заботиться о нуждах своих работников, будь то социалистический или капиталистический строй государства.

В дни подготовки к пятидесятилетию Советской власти секретарь Московского отделения Союза писателей В.Н. Ильин спросил меня по телефону, в чем я нуждаюсь, и объяснил:

— Создана комиссия по обследованию быта ветеранов советской литературы. Комиссия желает знать, не нуждаетесь ли вы в чем? В лечении? Санатории? Пособии?

Я ответил:

— Пока выходят мои книги, я ни в чем не нуждаюсь, кроме как в улучшении жилищных условий: я живу в самодельной квартире — без кухни, без ванны, без лифта, в старом, аварийном доме... Вот в квартире, такой же площади, но со всеми удобствами, теперь уже обычными для новых домов, я нуждаюсь...

— Эту квартиру вы сдадите при получении новой?

— Конечно.

Собеседник мой с явным сочувствием обещал доложить о моем жилищном неустройстве. Я искренне поблагодарил и стал ждать.

Когда я чуть ли не через год после разговора с В.Н. Ильиным решился у него узнать, что решила комиссия, Виктор Николаевич спросил с долей недоумения:

— А по какому поводу у нас был с вами разговор?

Вовсе не ожидавший такого вопроса, я кое-как разъяснил, о чем и почему идет речь. Тогда он спокойно сказал:

— Вам надо подать заявление в нашу жилищную комиссию.

Я послал заявление на имя председателя Союза писателей СССР К.А. Фебина. С присущей всем старым русским писателям отзывчивостью он сам отвез мое заявление секретарю Союза К.В. Воронкову и объяснил ему мое положение.

— Но, конечно, — добавил Константин Александрович, сообщая о предпринятых им шагах, — вам придется еще не раз напомнить о себе...

— Это как раз то, чего я не умею делать и стыжусь делать,— ответил я. скорбно сознавая свою непригодность к житейской борьбе.

Пригибаемый к земле необходимостью, болезнями, старостью, я трижды пытался напомнить о себе и каждый раз вспоминал маленький эпизод, давно-давно мелькнувший в моей жизни. Это было в Саратове, в 1921 году. Я сидел у окна в чужом доме, разговаривая с А.М. Симориным. Створки окна, выходящего на улицу, были неплотно притворены, и я вдруг услышал, как кто-то их стал раскрывать. Я быстро оглянулся и увидел черную от пыли, большую руку, отодвигавшую створку окна. Я встал и выглянул в окно. Под окном стоял человек, давно не бритый, без шапки, суровый и строгий. Увидев меня, он сказал глухо:

— Хильф мир!

Он не просил, хотя по-русски *Hilf mir* значит «помоги мне». Он напоминал о вымирающем от засушливого лета Поволжье, о смертельной тоске людей, еще год назад подмазывавших свои телеги сливочным маслом вместо колесной мази, которой не было.

Напоминать о себе не лучше, чем прямо просить.

Детские и юношеские годы не только «счастливая, счастливая невозвратимая пора детства», но и самая важная пора жизни, ибо она определяет всю дальнейшую жизнь человека, все, что дано ему совершить.

Чтобы сродниться со своим веком, надо в нем и родиться.

Я родился в прошлом веке, в девятнадцатом веке, когда С.Т. Аксаков писал свои «Записки об уженьи рыбы».

Теперь, в середине двадцатого века, он должен был бы назвать свою книгу «Записки о рыбалке».

С удивительной верностью своему времени наш век выбирает и выдумывает слова, выражающие неуважение к тому, что они обозначают.

Утром встаю, одеваюсь, завтракаю, включив радио. Так, между делом, слушал чей-то военный рассказ и вдруг, как будто отсыревшая штукатурка упала с потолка на голову:

«Заплатанный, залатанный, вернулся он из госпиталя в свою часть...»

Будь я на каком-нибудь собрании, завопил бы:

— Товарищи редакторы, помилосердствуйте, ведь это не мешок с костями, ведь это воин, офицер, человек наконец!..

10

Через несколько месяцев — 1 марта 1970 года — мне будет 80 лет. Воли к жизни я не утратил, работоспособность не потерял: две недели назад подписал к печати новую книгу мою в серии «ЖЗЛ» о Чаплыгине²⁴² и вот возвращаюсь к воспоминаниям.

Сколько же можно...

Владимир Иванович Вернадский говорил, что, дожив до 80-ти лет, человек уже не вправе требовать от жизни большего. Он писал об этом на 81-м году, в годы войны, похоронив свою жену...

Мне всегда казалось, что в старости мы обязаны перед Богом и людьми отчитаться в том, как мы жили, что делали и, главное, какой вывод сделали из пережитого, виденного и слышанного.

Иван Петрович Павлов говорил твердо: «В сущности, интересует нас в жизни только одно: наше психическое содержание»...

Самые прекрасные вымыслы надоедают. Потребность в истине влечет неодолимо — от первого дыхания до последнего вздоха.

Анатолий Франс написал однажды: «Я охотно удержал бы некоторых друзей от писания драм и эпопей, но никогда не стал бы удерживать того, кто задумал бы диктовать свои воспоминания»...

Людей пенсионного возраста следует выслушивать уже по одному тому, что они знают историю своего времени.

Мемуары правдивые, честные, искренние — неоценимы даже и тогда, когда в них записаны только цены на продукты или погода каждого дня. Все в свое время будет значительным, нужным и важным.

«Для того чтобы писать свои воспоминания, — говорит Герцен, — вовсе не надо быть ни великим мужем, ни знаменитым злодеем, ни известным артистом, ни государственным деятелем — для этого достаточно быть просто человеком, иметь что-нибудь для рассказа и не только хотеть, но и сколько-нибудь уметь рассказать. Всякая жизнь интересна: не личность, так среда, страна занимают, жизнь занимает. Человек любит заступать в чужое существование, любит касаться тончайших волокон чужого сердца и прислушиваться к его биению. Он сравнивает, он сверяет, он ищет себе подтверждений, сочувствия, оправдания...»

Сколько-нибудь умения рассказать — у меня было. Но я предпочитал писать драмы и эпопеи, повести и рассказы, а не воспо-

минания, предпочитая заступать в чужое существование, а не рассказывать о своем собственном.

Мы не выбираем наших профессий — само течение жизни направляет нас к ним. Эту формулу я вывел из своего и чужого опыта. Я не родился писателем, я им стал. Я не мечтал быть ученым, исследователем, тем более инженером, техником, химиком, изобретателем. Но вот всю вторую половину жизни пишу научные, хотя бы и художественные книги об изобретателях, инженерах, ученых.

О всем этом я уже рассказывал раньше. Остается добавить немного...

Двадцать лет — с 1938 по 1958 год — я пытался опубликовать, хотя бы частями, мои «Заметки к Павловскому учению о слове», продолжая в то же время работу над ними. Собранная мной переписка по этому поводу составляет четыре тома. О содержании их уже говорилось. В целом же они только подтверждают закон В.Д. Пекелиса, заслуживающий права носить его имя. Закон этот он сформулировал мне так: «Существует неписанный редакторский закон — воздерживаться от публикации всего, что кажется сомнительным; сомнительным же мы считаем все, что до сего времени нигде не было опубликовано, никем не было разработано».

Сформулированный таким образом неписанный редакторский закон можно было бы принять за шутку, если бы он не обернулся ко мне своей драматической стороной.

...В силу «закона Пекелиса» остались неопубликованными полностью «Заметки к Павловскому учению о слове», да и частичные публикации в «Вопросах литературы» и в сборнике «С Востока — свет!» появились благодаря вмешательству Центрального комитета КПСС.

Особенный урон нанес «закон Пекелиса» моей работе в области научно-художественной литературы.

Я привязался до конца жизни к биографическому жанру главным образом потому, что он не только требует самостоятельного мышления, но и дает возможность высказывать свои мысли, собственный взгляд на вещи. Конечно, разговаривая от лица своего героя, точнее — разговаривая за него, я отказался от своего авторства, но иначе мои мысли, мои взгляды никогда не увидели бы света.

Возможность думать за своего героя, высказывать свое отношение к нему, раскрывать «те пути, которыми шли великие умы

человечества для уяснения истины», я назвал счастливыми трудностями жанра. Они-то и определяли для меня выбор темы, выбор имени.

Уже в первой своей книге «Рудольф Дизель» я обращал внимание читателей на высокое состояние русской техники и передовой ее характер, хотя бы только к области дизелестроения. Позднее эта тема была широко разработана в «Русских инженерах». Но «Дизель» был конфискован и весь тираж уничтожен: непривычное у русских авторов восхваление русской науки и техники было посчитано за «восхваление капитализма». В «Русских инженерах» даже при повторном издании редактор книги В.Д. Пекелис повычеркивал «все сомнительное», не отвечавшее традиционным представлениям об отсталости русской науки и техники...

За «Дизеля» вступился Г.М. Кржижановский, и книга была трижды переиздаваема. Руководство «Молодой гвардии» восстановило текст первого издания в «Русских инженерах». Но моя аргументация в пользу того, что А.М.Бутлеров не был спиритом, а его увлечение явлениями медиумизма было только «случайностью», сопровождающей все великие открытия, не было принято, к полному моему недоумению. Правда, впоследствии при работе над книгой о Зинине²⁴³, учителе и друге Бутлерова, мне удалось высказать свою точку зрения и назвать Бутлерова предшественником Эйнштейна в учении об эквивалентности массы и энергии. Но в моих книгах о самом Бутлерове до сих пор распоряжается «закон Пекелиса».

Более или менее основательно высказаны мои мысли о закономерности случайностей («Зинин», «Создатели двигателей»), о далеких связях («Чаплыгин»), о новом начале в мире («Вернадский»), о национальном характере русской науки и техники («Вернадский», «Русские инженеры»). Однако собранные в книгу «Воспитание таланта» («Далекые связи») они лежат под гнетом «закона Пекелиса».

Мне кажется, что все эти мысли и рассуждения вполне отвечают замечанию, сделанному В.И. Лениным по поводу Гегелевой «Науки логики». Владимир Ильич писал: «Продолжение дела Гегеля и Маркса должно состоять в диалектической обработке истории человеческой мысли, науки и техники».

Мои мысли, доводы и заключения в книгах, посвященных жизни и деятельности замечательных людей, естественно, приписываются источникам, которыми я пользовался в своей рабо-

те. Мое авторство остается скрытым. Даже А.П. Виноградов²⁴⁴, ученик В.И. Вернадского, говоря о моей книге, заключил:

— Конечно, надо бы больше сказать о нем как о геохимике. Но тут уж виноваты не вы, конечно, а ваши информаторы!

Но, выдвигая на первое место космические и биохимические идеи Вернадского, его учение о ноосфере и геологической деятельности человека, я следовал как раз не моим информаторам, а лишь собственному критическому уму. Ученики Вернадского, в том числе и А.П. Виноградов, биогеохимические идеи учителя считали заумными, и К.А. Ненадкевич прямо твердил мне:

— Нет никакой геохимии и биогеохимии... Есть одна химия!

Впрочем, более прозорливые редакторы и критики догадывались о моем вмешательстве в жизнь и творчество героев моих книг.

Редактор моей книги «С Востока — свет!» Михаил Антонович Зубков, получив прочитанную мной корректуру, вызвал меня к телефону, чтобы сказать:

— Спасибо за вставку о Гоголе!

Вставка была сделана в дискуссии Бутлерова с Н.П. Вагнером²⁴⁵ о художественном творчестве и принципах художественного обобщения. Говорил за обоих я сам, представляя от их имени основы моей эстетической системы, построенной на основах Павловского учения об условных рефlekсах. Вставка оказалась действительно очень удачной, авторство мое — установленным.

Нетрудно установить, конечно, мое авторство и в других случаях, ибо в каком бы жанре ни работал писатель, он, в сущности, рассказывая о других, говорит о самом себе.

Для авторского самолюбия важнее, когда его произведение, отдельная мысль, выражение действуют сами собой, независимо от того, кому они принадлежат.

На первый взгляд может показаться и казаться, что «закон Пекелиса» стоит на страже марксизма-ленинизма, предохраняет от идеологических ошибок, борется с враждебной нашему строю идеологией. Но на деле получается так, что он борется со всем новым, хотя бы не только вредным, но и прямо полезным для развития тех или иных, высказанных основоположниками марксизма-ленинизма идей.

В последнее время не только Главлит, по и редакции журналов, издательства предлагают авторам снабжать на всякий случай рукописи справками о том, где та или иная «сомнительная» мысль, или факт, или данные были опубликованы, кем разрабатываются.

В 1960 году Детгиз выпустил в свет мою книгу «Создатели двигателей». В рукописи был рассказ об одном инженере, предлагавшем проект электродвигателя, берущего энергию из атмосферы. Редакции рассказ показался сомнительным, и издательство обратилось с запросом — можно ли печатать этот очерк или нет?

Министерство ответило чисто соломоновым решением:

— Если предложение изобретателя научно обосновано, то печатать нельзя. Если же оно научно несостоятельно, то писать об этом не следует.

Конечно, такого рода соломоновы решения можно, и это я не раз делал, обжаловать в Центральный комитет КПСС, единственному авторитетному судье для всех и каждого.

Но вот «Заметки к Павловскому учению о слове» опубликованы при содействии Центрального комитета, преодолены стены препятствий, возражений... И что же? Рецензенты шепотом приносят извинения за резкие отзывы, писатели и ученые, до учеников Павлова включительно, коротко говорят:

— Для нас это — клад!

Л.Н. Толстой, просматривая газеты, нередко ловил себя на том, что он ищет в газетных столбцах свою фамилию. Этот «соблазн славы людской» преследовал писателя до конца жизни, и он справедливо считал его наиболее стойким, последним из других соблазнов, покидающих человека.

Собственный мой литературный и житейский опыт убеждает меня в том, что слава приходит не к тому, кто ее ищет, а к тому, кто о ней не думает. Я о ней мечтал, пожалуй, слишком остро и потому торопливо писал и печатался, не представляя себе даже, что это не самый верный и не самый лучший путь.

«Соблазн славы людской» давно уже не тревожит меня. Не волнует меня и утрата приоритета на ту или другую мысль, на то или иное высказывание. Литературоведческие кроты роют неустанно и глубоко. Шесть лет назад в № 7 за 1963 год ленинградского журнала «Нева» неожиданно появляется статья «Саратовские психофутуристы». Автор вспоминает о проделанной нами полвека назад литературной мистификации. Даже в моих воспоминаниях я уделил этому эпизоду несколько строчек, а он живописует, например, так: «Посреди огромного зала стоял маленький столик. К нему подошел тонкий человек в черном фраке, в белой манишке, с бледным, живым лицом. Оглядев собравшихся, назвал себя:

— Лев Гумилевский!..

А дальше произошло такое, что уже никто не ожидал. Лев Иванович Гумилевский объявил, что он и присутствующие вместе с ним литераторы — вовсе не футуристы и никогда таковыми не были...»

Всю жизнь я собирал газетные и журнальные вырезки, где так или иначе упоминалось мое имя или мое произведение. Теперь я вижу бесплодность такого занятия: многое проходило мимо меня, собранное потом терялось. Оказывается, живет на свете прекрасное племя критиков, литературоведов, исследователей, краеведов, которое в свое время предъявит потомкам заслуживающие внимания факты вашей жизни и работы. И в этом я убеждаюсь тем чаще, чем становлюсь старше. Появляется со многими, забытыми уже мною, подробностями статья биографического и критического характера в сборнике «Русские писатели в Саратовском Поволжье». Выходит сборник «Рожденные Революцией» в том же Саратове, и там я нахожу в «Хронике литературной жизни Саратова» точный перечень всего того, что я печатал и издавал в Саратове в послереволюционные годы. Публикуются архив А.М. Горького, воспоминания Бонч-Бруевича, и повсюду я нахожу какую-то новую информацию о самом себе.

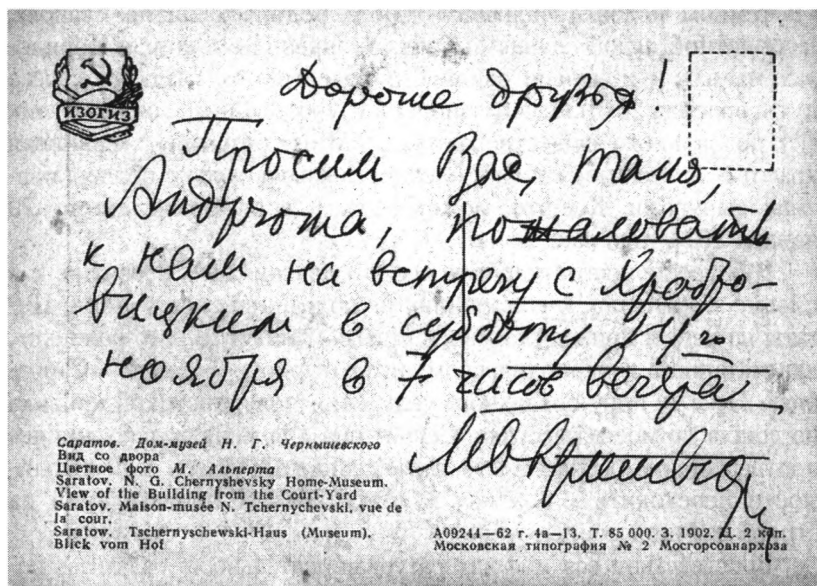
И все это случайно становится мне известным. Надо думать, что о многом я не знаю, как не знал, например, о моих книгах, издаваемых в наших республиках, за границей, не говоря уже о статьях.

Возвратившийся из Ленинграда крайне обязательный литературовед А.В. Храбровицкий²⁴⁶ сообщает мне, что в архиве Пушкинского дома АН СССР, в фонде Н.К. Пиксанова²⁴⁷ имеются мои рукописи «Глебучев овраг», «Горы», «За городом». Как они попали к Пиксанову, с которым я никогда не был знаком, как они вообще могли сохраниться и что это за рукописи? Это все из какого-то смутного далека, и я никогда в жизни не вспомнил бы о том, что они существуют.

И тот же Храбровицкий вдруг сообщает, что сотрудник того же Пушкинского Дома А.Д. Алексеев за много лет неустанных розысков составил картотеку произведений, публиковавшихся в русских журналах с 1901 по 1918 годы.

— А вы, оказывается, очень много печатались и до революции! — сказал он мне с долей удивления.

Какое счастье узнавать, что существуют невидимые труженики, из одной любви и привязанности к литературе, к искусству,



*Открытка-приглашение на встречу
с А. Храбровицким, посланная Л. Гумилевским
племяннице его первой жены Т. Николаевой
и А. Михайлову*

делают в одиночку то или другое дело, чтобы по завершении его оно стало бесценным вкладом в истории страны. К этому удивительному племени человечества принадлежит и Александр Вениаминович Храбровицкий.

Человек большого роста и немалой нравственной силы, принципиальный до грубой прямолинейности Александр Вениаминович всю жизнь занимается исследованием творчества В.Г. Короленко. Через мою маленькую статью о Владимире Галактионовиче мы познакомились, и в архивах писателя Александр Вениаминович разыскал запись Короленки о моем рассказе в памятной редакционной книге за 1912–1921 годы.

Вот эта запись:

«19 сентября 1913 года. «Дети города» Льва Ив. Гумилевско-го. Недурной замысел. Азаров и Леночка — дети города, жадные на удовольствия и блеск. Бедное существование, служба их томят. Он почти сходит с ума, крадет в банке золото и сыплет перед женой. Выполнение «модернистское» — туманное, выпренное.

«В темном подвале большого города родилась жизнь Азарова. Непонятной игрой случая выросла и окрепла в длинных коридорах гимназии и нелепо сойдя с определенного, гладкого своего пути, бросила 20-тилетнего юношу в изуродованный гримасой лик (!!) подвального существования...» «Миги безумия», «извивная красота» — «новые» слова и бледность языка, только подчеркиваемая вычурами. Кое-что, может быть, и есть. Возвр. автору 20 января 1914 года зак. б.».

В более деликатной форме все это повторялось, вероятно, и в письме Короленко, к сожалению, не сохранившемся у меня. Цитаты из него я приводил в своей статье «Памяти В.Г. Короленко», напечатанной в периодическом литературном сборнике «Саррабис». Но в ту пору повального увлечения модернистской критика не дошла до моего рассудка. Сейчас она для меня только лишнее подтверждение бесплодности субъективных доводов и необходимости переходить к анализу художественных произведений на строго научной основе.

Впоследствии вся моя литературная деятельность оказалась посвященной поискам этой научной основы и установлению объективных законов художественности. Сорок лет с 1917 по 1957 годы продолжалась работа — от первой журнальной публикации до последней.

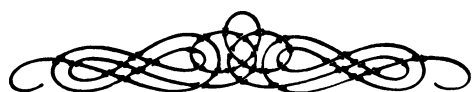
За эти четыре десятилетия я стал понимать, как бывает в литературе плохо и как бывает хорошо. Я научился писать, я научился чувствовать «наслаждение, читая произведение человека, умеющего писать». Но в конечном счете восторжествовал во мне не художник, а критический ум.

Впрочем, не буду объяснять самого себя.

На «заре туманной юности» в дореволюционном «Огоньке» или «Солнце России» я увидел портрет старого русского малоизвестного писателя Н.Н.Златовратского. Под портретом помещено было его факсимиле: «Служение искусству, хотя бы в качестве последнего жреца его, идеал всей моей жизни, который надеюсь нести до могилы, кстати уже весьма близкой».

Это гордое credo старого писателя так поразило меня, что и через 60 лет я помню его наизусть от слова до слова и провозглашаю как свое собственное.

<1969>



ПРИЛОЖЕНИЕ



ТРИ ПОСЛАНИЯ М. ЗЕНКЕВИЧУ

Первое послание

Сквозящий солнцем куст сирени
Через окно, в моем углу,
Играет нежно в свет и тени
На желтом крашеном полу...
И вот весь сон! Какою ж силой
Мой мозг так зло опустошен,
Что провожает до могилы
Меня, как счастье, этот сон!

* * *

Стихами начал и кончаю
Мой невеселый путь...
Забавой к утреннему чаю
Прочти их как-нибудь!

Февраль, 1957

Второе послание

Как хорошо от шумных споров
И от чудовищной молвы,
От бед, несчастий, разговоров
Сбежать на улицы Москвы,
Забраться в глушь чужого сада
Где среди Дерев, цветов и трав
Несет золотая колоннада

Легко свой тяжкий архитрав,
А у ворот, как тумбы, пушки
В земле зарыты на покой...
Здесь, говорят, встречался Пушкин
С цыганкой Сашею порой!
Идем без цели... Сивцев Вражек,
Где каждый встречный старожил
Нам обязательно укажет:
— Вот в этом доме Герцен жил!
Арбат, бульвары, площадь... Много ль
Осталось нам с тобой идти
До дома, где угрюмый Гоголь
Дошел до крестного пути!

Москва, 2 марта, 1957

Третье послание

Метель навевает сугроб на сугроб,
Метель заметает асфальтовый гроб
И каменный город под снежной фатой
Встает предо мной Златоглавой Москвой,
Где каждый прохожий опять московит,
Заиндевав, принял медвежий свой вид.
И чудится — нынче взберется, как встарь,
На звонницу в черной одежде сам Царь
И будет трезвонить, сзывая родню
В метельную ночь ко прощенному дню...

* * *

Кто лжет, под сенью свинцовых небес,
Никогда и нигде не бывает чудес?

Москва, 3 марта 1957

Прощенный день

Метель

Комментарии

- ¹ *«Мальтийская цепь»* — один из многих исторических романов М.Н.Волконского (1860–1917); впервые опубликован в №№ 1–16 журнала «Нива» за 1891 г.
- ² *«Нива»* — еженедельный иллюстрированный журнал, выходивший в Петербурге в 1870–1918 гг. До 1904 г. издателем был А.Ф. Маркс. В 1891–94 гг. издавался «Сборник «Нивы»», в 1894–1916 гг. выходили «Ежемесячные литературные приложения к журналу «Нива»». Журнал имел рекордный для России тираж (в 1904 г. — 275 000 экз.). В журнале и приложениях печатались наиболее известные писатели России.
- ³ *«Стрекоза»* — русский еженедельный «Художественно-юмористический журнал», издавался в Петербурге в 1875–1908 гг. Издатель — Г.К. Корнфельд (до 1904 г.). Журнал придерживался либерального направления; в 1879 г. с № 17 редактором стал И.Ф. Василевский (Буква), активно выступавший на страницах журнала со статьями и фельетонами против идеологов реакции (в том числе М.Н. Каткова, В.П. Мещерского).
- ⁴ *Саратовский Радищевский музей* — художественный музей им. А.Н. Радищева основан и открыт в Саратове в 1885 г. художником А.П. Боголюбовым (о нем см. ниже).
- ⁵ *«Урок анатомии»* (полное название «Урок анатомии доктора Тюльпа») — картина Харменса Ван Рейна Рембрандта (1606–1669), групповой портрет, написанный великим голландским художником в 1632 г. и принесший ему широкую известность. Картина находится в музее Маурицхёйс в Гааге.
- ⁶ *Боголюбов Алексей Петрович* (1824–1896) — русский живописец,

- маринист и пейзажист: писал на пленэре, во многом определив поворот к пленэрizmu в русской живописи 1870-х гг.
- ⁷ *«Мюр и Мерилиз»* — большой универсальный магазин в Москве на Театральной площади: построен в 1906–1908 гг. по проекту архитектора Клейна. В 1922 г. в нем был открыт Центральный универсальный магазин (ЦУМ).
- ⁸ *Циммерман Юлиус Генрих* (1851–1922) — музыкальный издатель, владелец фабрики музыкальных инструментов в России (1876–1914). В 1875 г. открыл в Петербурге нотный магазин и издательство, а в 1882 г. — его отделение в Москве.
- ⁹ *...Второй жене Шаляпина Марии Валентиновне...* — М.В. Шаляпина (урожденная Элухен) скончалась в 1964 г. в Риме в возрасте 82 лет.
- ¹⁰ *Варламов Константин Александрович* (1848–1915) — актер. Сын композитора А.Е. Варламова. Популярный комик-буфф («дядя Костя»), был наделен и самобытным драматическим талантом, исполнял роль Варравина в «Деле» А.В. Сухова-Кобылина, Юсова в «Доходном месте» А.Н. Островского и др.
- ¹¹ *...Нет, вы не Байрон, вы другой...* — парафраз первой строки стихотворения М. Ю. Лермонтова «Нет, я не Байрон, я другой...».
- ¹² *Лебедев Иван Иванович* (1859–1945) — поэт, прозаик, драматург; прошел тяжелую школу жизни. Упомянутая мемуаристом пьеса «Божья коровка» (в скобках «Народный учитель», тут Гумилевский ошибся) написана в 1905 г., имела успех на провинциальной сцене.
- ¹³ *«Русское богатство»* — литературный, научный и политический журнал; издавался в 1876–1918 гг. Основан Н.Ф. Савичем в Москве, в середине 1876 г. издание перенесено в Петербург. С 1880 г. журнал издавался артелью писателей народнического направления (Н.Н. Златовратский, Г.И. Успенский и др.). После убийства народовольцами 1 марта 1881 г. Александра II артель распалась, в журнале под руководством писателя и философа Л.Е. Оболенского возобладал научный отдел. Роль журнала в литературной и общественной жизни возросла с 1893 г., когда его идейно возглавили Н.К. Михайловский и В.Г. Короленко. Журнал стал центром легального народничества, вел полемику с марксистами. После революции 1905–1907 гг. «Русское богатство» стало органом «народных социалистов», группы, занимавшей промежуточное место между эсерами и кадетами. В 1914–1917 гг. журнал выходил под названием «Русские записки»; в 1918 г. был закрыт декретом советской власти как издание, выступавшее против диктатуры пролетариата.

- ¹⁴ «*Просвещение*» — легальный теоретический большевистский журнал; выходил с декабря 1911 г. по июнь 1914 г. Закрыт правительством.
- ¹⁵ *Журналов издавалось множество...* — мемуарист перечисляет несколько из действительно многочисленных в то время изданий. «*Огонек*» — еженедельный иллюстрированный общественно-политический и литературно-художественный журнал; выходил в Петербурге в 1899–1918 гг. Был возобновлен в 1923 г. в Москве и продолжает выходить сегодня. «*Биржевка*» — обиходное название газеты «*Биржевые ведомости*» умеренно-либерального направления. Годы издания 1880–1917 (с 1885 — ежедневно). «*Солнце России*» (1910–1917 гг.), «*Всемирная панорама*» (1909–1918 гг.), «*Родина*» (1879–1917 гг.) — так называемые «тонкие» журналы.
- ¹⁶ *Рославлев Александр Степанович* (1883–1920) — писатель, поэт и прозаик, автор сборников стихов «*Карусели*» (1910), «*Цевница*» (1912), нескольких сборников рассказов. Стихотворение «*Новогодняя песня*» послужило основой для народной песни «*Над полями да над чистыми...*».
- ¹⁷ *Сологуб* (наст. фамилия Тетерников) Федор Кузьмич (1863–1927) — поэт и прозаик; как поэт принадлежал к символистам «старшего» поколения. Из написанных им романов наибольшую известность приобрел «*Мелкий бес*» (1907), имя героя которого, учителя Передонова, стало нарицательным для обозначения подлеца, обывателя-шкурника и доносчика.
- ¹⁸ «*Речь*» — еженедельная газета, центральный орган партии конституционных демократов (кадетов); выходила в Санкт-Петербурге (Петрограде) в 1906–1917 гг.
- ¹⁹ *Гессен Иосиф Владимирович* (1866–1943) — политический деятель, адвокат, публицист. Член «Союза освобождения». Один из создателей (1905) партии кадетов, член ее ЦК. С 1919 г. в эмиграции. Издавал газеты «*Руль*», «*Слово*», в 1921–1937 гг. — «*Архив русской революции*».
- ²⁰ *Миллюков Павел Николаевич* (1859–1943) — политический деятель, историк, публицист. Один из создателей и идейных лидеров партии кадетов (1905). Министр иностранных дел Временного правительства первого состава. После октября 1917 г. в эмиграции. Автор трудов по истории России XVIII–XIX вв., Февральской и Октябрьской революций, а также мемуаров (см. его «*Воспоминания. 1859–1917*», М., 1990, т. 1–2).
- ²¹ «*Лукоморье*» — еженедельный литературно-художественный и сатирический журнал, выходивший в Петрограде в 1914–1917 гг. Из-

- датель-редактор М.А. Суворин, сын издателя «Нового времени» А.С. Суворина. В журнале активно сотрудничали писатели и поэты Ф. Сологуб, С. Городецкий, Г. Нарбут, В. Катаев, художники М.А. Кузьмин, С.Ю. Судейкин, С.В. Чехонин.
- ²² *«Сатирикон»* — еженедельный сатирический журнал, выходил в Санкт-Петербурге в 1908–1914 гг. Издатель М.Г. Корнфельд, редактор А.А. Радаков, а с № 9 — А.П. Аверченко. Журнал возник из упоминавшегося выше юмористического еженедельника «Стрекоза», реформированного группой сотрудников. Далее мемуарист перечисляет наиболее известных и постоянных авторов журнала: Тэффи (Н.А. Лохвицкая, по мужу Бучинская; 1872–1952), А.А. Радакова (1877–1942) и Сашу Черного (А.М. Гликберга; 1880–1932).
- ²³ *Зозуля Ефим Давыдович* (1891–1941) — писатель, журналист, автор сатирических новелл и философски-сатирических сказок. Погиб на фронте Великой Отечественной войны.
- ²⁴ *Судейкин Сергей Юрьевич* (1882–1946) — живописец, график, театральный художник. В 1897–1902 гг. учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, в 1908–1911 гг. — в Петербургской академии художеств. Член объединений «Голубая роза» (1907) и «Мир искусства» (с 1911). В своих работах объединял изысканные мотивы искусства рококо с примитивизмом, лубочностью, яркой красочностью народного искусства. Участник «Русских сезонов» С.П. Дягилева в Париже. С 1920 г. жил во Франции, с 1923 — в США.
- ²⁵ *«Новое время»* — одна из крупнейших российских газет, выходила в 1868–1917 гг. в Санкт-Петербурге (с 1869 г. — ежедневно). Первоначальное либеральное направление газеты сменилось консервативным с переходом издания к А.С. Суворину в 1876 г. С 1905 г. газета стала органом черносотенцев, чем и объясняются слова Гумилевского о «тени» этой газеты, легшей на «Лукоморье».
- ²⁶ *Городецкий Сергей Митрофанович* (1884–1967) — поэт, один из организаторов «Цеха поэтов», группы русских поэтов-акмеистов, в которую входили также Михаил Кузьмин, Николай Гумилев, Анна Ахматова и Осип Мандельштам.
- ²⁷ *Орешин Петр Васильевич* (1887–1938) — поэт, в основном бытописатель деревни; инициатор создания секции крестьянских писателей при Московском Пролеткульте. Выпустил более пятидесяти книг, в том числе четырехтомное собрание стихов. В 1938 г. незаконно репрессирован, реабилитирован посмертно.
- ²⁸ *Миролюбов Виктор Сергеевич* (1860–1939) — литератор, издательский деятель. Учился в Московском университете, за политичес-

кую неблагонадежность был выслан в Самару. Уехал в Италию, где учился пению; в 1892–1897 гг. пел на сцене Большого театра, но оставил артистическую деятельность ради занятий литературой. В 1898 г. возглавил рассчитанный на широкого читателя «Журнал для всех». С 1910 г. редактировал выпускаемые Горьким сборники «Знание». В советские годы работал в Центральном кооперативном издательстве.

- ²⁹ *Потебня Александр Афанасьевич* (1835–1891) — филолог-славист, член-корреспондент Петербургской академии наук (1875), глава харьковской лингвистической школы, основатель психологического направления в русском языкознании.
- ³⁰ *Горнфельд Аркадий Георгиевич* (1867–1941) — литературовед, занимался вопросами поэтики под руководством А.А. Потебни. Искусство писателя рассматривал как извечную мучительную борьбу художника со словесным материалом (книга «Муки слова», 1906). Сотрудничал в ряде журналов, в том числе и в «Русском богатстве».
- ³¹ «*Современный мир*» — литературный, научный и политический журнал, преемник закрытого цензурой журнала «Мир Божий»; выходил в Санкт-Петербурге (Петрограде) с 1906 по январь 1918 г. Редакторами были А.И. Богданович, Ф.Д. Батюшков, Н.И. Иорданский. Тяготевший к легальному марксизму, журнал после поражения революции 1905–1907 гг. стал органом меньшевиков.
- ³² *Иорданский Николай Иванович* (1876–1928) — журналист и публицист легального социал-демократического направления. Журналистская работа была связана с журналом «Современный мир», где он с 1905 г. был членом редакции, а с 1909 по 1917 г. главным редактором. Меньшевик, позднее сблизился с большевиками. Во время Первой мировой войны — ярый оборонец, член плехановской группы «Единство». После Октябрьской революции — член ВКП(б), в 1923 г. — полпред СССР в Италии.
- ³³ *Бестужевские курсы* — одно из высших учебных заведений для женщин, разрешенных правительством с 1869 г. и существовавших до 1917 г. Бестужевские курсы открыты в Санкт-Петербурге в 1878 г.; названы по имени их официального руководителя историка К.Н. Бестужева-Рюмина.
- ³⁴ *Чириков Евгений Николаевич* (1864–1932) — писатель, автор пьес, автобиографического романа «Жизнь Тарханова» (1906); печатался в горьковских сборниках «Знание». В 1920 г. эмигрировал. Вышедший в 1926 г. роман «Зверь из бездны» вызвал не только осуждение тогдашней советской критики, но и резкие нападки критики эмигрантской за изображение морального краха белого движения.

- ³⁵ *Бонч-Бруевич Владимир Дмитриевич* (1873–1955) — революционный деятель, историк, литератор. Участник революционного движения с 1895 г., член РСДРП со дня ее основания; в 1903 примкнул к большевикам. Жил в эмиграции в Швейцарии, занимался изданием большевистской литературы в Женеве, сотрудничал в «Искре» и «Правде». С 1908 г. в России, в 1908–1917 гг. руководил легальным большевистским издательством «Жизнь и знание». В 1917–1920 гг. — управделами Совета народных комиссаров, в 1920–1936 гг. возглавлял кооперативное издательство «Жизнь и знание». Организатор и первый директор (1933–1939) Государственного литературного музея в Москве.
- ³⁶ «*День*» — ежедневная буржуазная леволиберальная газета, выходила в 1912–1918 гг.; с 1917 г. — орган меньшевиков.
- ³⁷ *Ремизов Алексей Михайлович* (1877–1957) — писатель. Учился в Московском университете, в 1897 г. был арестован за участие в студенческих беспорядках и провел в ссылке и тюрьмах 6 лет. В литературе начинал как переводчик (в 1902 г. опубликовал перевод книги А. Роде «Гауптман и Ницше», выполненный совместно с В.Э. Мейерхольдом). В оригинальной прозе ориентировался на архаичный язык допетровской Руси. Автор романов «Труд» (1905), «Слово о гибели Русской земли» (1918) — «историософия» России, осмысление событий Первой мировой войны и Февральской революции. В 1921 г. эмигрировал. Опубликовал «летописную» повесть «Взвихренная Русь» (1927), автобиографическую книгу «Подстриженными глазами» (1951), книгу «Огонь вещей. Сны и предсонье. Гоголь. Пушкин. Лермонтов. Тургенев. Достоевский» (1954).
- ³⁸ *Поссе Владимир Александрович* (1864–1940) — общественный и политический деятель, публицист. В конце 1890-х годов близок к социал-демократии, с 1905 г. — анархо-синдикалист, деятель кооперативного движения. В 1909–1918 гг. — редактор-издатель журнала «Жизнь для всех». В 1918 г. работал в Наркомземе, затем перешел на педагогическую работу. Автор мемуаров «Мой жизненный путь» (1929), «Пережитое и передуманное» (1933).
- ³⁹ «*Жизнь*» — литературно-политический журнал; издавался в Санкт-Петербурге в 1897–1901 гг., в Лондоне и Женеве — с 1902 г. С 1898 г. орган «легальных марксистов».
- ⁴⁰ *Шмелев Иван Сергеевич* (1873–1950) — писатель. В 1898 г. окончил юридический факультет Московского университета, служил в провинции. Как писатель печатался с 1897 г. (очерки «На скалах Валаама»). Позднее опубликовал ряд рассказов и повестей, отмеченных интересом к жизни «маленького человека»; наибольшую

известность принесла ему повесть «Человек из ресторана» (1911). После Октябрьской революции эмигрировал. Активным неприятием большевистской России проникнуты написанные в эмиграции рассказы и повести («Солнце мертвых», 1923, и др.). Ностальгией по православному быту и патриархальным отношениям дореволюционной России полны более поздние произведения Шмелева («Лето Господне», 1933–1948, «Богомолье», 1935; «Куликово поле», 1947).

- ⁴¹ *Португалов Вениамин Осипович* (1835–1897) — участник революционного движения 1860-х годов; член Казанского кружка «Земли и Воли»; в 1863 г. был выслан в Пермскую губернию. С середины 1860-х годов работал земским врачом. Публицист, сотрудничал в журнале «Дело» и др. изданиях демократического направления.
- ⁴² *Родзянко Михаил Владимирович* (1859–1924) — политический и государственный деятель, лидер партии октябристов, в 1911–1917 гг. председатель 3-й и 4-й Государственных дум; в 1917 г. возглавлял Временный комитет Государственной думы, был в числе тех, кто склонил Николая II отречься от престола. С 1920 г. жил в эмиграции. Автор воспоминаний «Крушение империи» (1929).
- ⁴³ *Ксеньинский институт благородных девиц* был назван так по имени жившей в Санкт-Петербурге во второй половине XVIII в. набожной женщины, раздавшей после смерти мужа все имущество бедным; она ходила по бедным кварталам, утешая страждущих. Ее считали святой, в честь ее была построена часовня.
- ⁴⁴ *Батюшков Федор Дмитриевич* (1857–1920) — филолог, историк литературы, последователь сравнительно-исторического метода А.Н. Веселовского. Печатался и как журналист, в 1902–1906 гг. редактировал журнал «Мир Божий».
- ⁴⁵ *Философов Дмитрий Владимирович* (1872–1940) — литературный критик, публицист. Один из ведущих критиков журнала «Мир искусства», руководитель его литературного отдела. В 1901 г. отошел от художественной критики. Редактировал в 1904 г. орган так называемых «религиозно-философских собраний» журнал «Новый путь»; выступал в кадетской газете «Речь» с религиозно-философскими и литературно-критическими статьями в духе христианского социализма. Сблизившись с З.Н. Гиппиус и Д.С. Мережковским (так называемый «триумвират»), опубликовал совместно с ними в Париже книгу статей «Царь и революция» («Le Tsar et la revolution», 1907) и драму о русской интеллигенции в период революции 1905–1907 гг. «Маков цвет» (1908). В 1920 г. эмигрировал, обосновался в Варшаве, печатался в эмигрантской прессе.

- ⁴⁶ *Кугель Иона Рафаилович* (1873–1929?) — журналист, один из братьев упоминаемого ниже А.Р. Кугеля.
- ⁴⁷ *Лядов Анатолий Константинович* (1855–1914) — композитор, ученик Н.А. Римского-Корсакова, мастер симфонической и фортепианной миниатюры.
- ⁴⁸ *Заславский Давид Иосифович* (1880–1965) — журналист, один из влиятельнейших партийных функционеров и идеологов сталинской эпохи. Член РСДРП с 1902 г., меньшевик. В 1917–1918 гг. член ЦК Бунда. Член ВКП(б) с 1934 г. Сотрудничал в революционной печати с 1904 г. С 1924 г. печатался как фельетонист, автор политически острых фельетонов главным образом на международные темы. С 1928 г. стал сотрудником и членом редколлегии «Правды». Публицист О. Лацис пишет в статье «Перелом. Сталин против Ленина» (см. сборник «Суровая драма народа», М., 1989, с. 162): «Заславский, один из главных сотрудников самого ненавистного Ленину издания — меньшевистской газеты “День”, стал при Сталине одним из видных сотрудников “Правды”. По свидетельству старых правдивов, в 20-е годы коммунисты “Правды” трижды отказывали Заславскому в приеме в партию. Он был принят только тогда, когда принес рекомендацию Сталина». После смерти Сталина Заславский сохранил влияние в партийных кругах, был выразителем официальной линии партии при Н.С. Хрущеве. Возглавил кампанию по травле Б. Пастернака после присуждения писателю Нобелевской премии.
- ⁴⁹ *Туфанов Александр Васильевич* (1877–1941?) — поэт, теоретик искусства. Выходец из крестьян, считал себя потомком новгородских ушкуйников. В 1900 г. окончил Петербургский учительский институт; зачислен вольнослушателем в Петербургский университет, но не окончил его, так как был привлечен к суду за распространение нелегальной литературы; в 1907 г. был арестован вторично за революционную агитацию. В общей сложности провел в одиночном заключении полтора года. В промежутке между арестами начал печататься как репортер в газете «Сын Отечества». Первые стихи опубликовал в 1915 г. в студенческом журнале «Северный гуслир». После Октябрьской революции с 1919 г. жил в Архангельске, затем в Галиче, в 1922 переехал в Петроград, где примкнул к группе художника М. Матюшина «Зорвед» («Зоркое ведание»), в 1925 г. создал свою творческую организацию «Орден заумников DSO», а затем — «Левый фланг» при Ленинградском союзе поэтов. В первой книге стихов и прозы «Эолова арфа» (1917) призывал к демократизации искусства через освобождение в человеке интуитив-

ного начала. Его теория «зауми», основанная на композиции фонем вне смыслового значения слова, выводилась из поэтики фольклора. Следуя как поэт традиции В. Хлебникова, Туфанов после его смерти провозгласил себя «Велемиром вторым» и «Председателем Земного Шара Зауми». Наиболее значительное его произведение, поэма «Ушкуйники», вышедшая в юбилейном для Октябрьской революции 1927 г., включала строки: «Коли власть не ко двору / Выйдем с кличем: — К топору!». Арестованный в 1931 г. вместе с группой сотрудников ленинградского отделения Детгиза по обвинению в контрреволюционном заговоре, Туфанов был приговорен к заключению в концлагере на 5 лет. Освобожден в 1933 г. по инвалидности, до 1936 г. жил в Орле, затем в Новгороде, где занимался педагогической деятельностью, и, поступив в заочную аспирантуру филологического факультета ЛГУ, готовился к защите диссертации по древнерусской литературе. С декабря 1940 г. следы Туфанова теряются; достоверных сведений о его смерти нет.

⁵⁰ *Тихонов Александр Николаевич* (псевдонимы А. Серебров и Н. Серебров; 1880–1956) — писатель, литературный деятель. Окончил Петербургский горный институт в 1908 г., работал инженером в Сибири и на Урале. С 1905 г. печатал статьи и рассказы. Был близок М. Горькому, в 1915–1917 гг. редактор журнала «Летопись» и издательства «Парус», а также газеты «Новая жизнь» в 1917–1918 гг.; после Октябрьской революции заведовал издательством «Всемирная литература». В 1930–1936 гг. возглавлял издательство «Academia». В 1949 г. опубликовал мемуарную книгу «Время и люди. Воспоминания 1898–1905» (2-е, исправленное издание вышло в 1955 г.).

⁵¹ «*Новая жизнь*» — первая легальная большевистская газета, фактически центральный орган РСДРП; выходила с 27 октября по 3 декабря 1905 г., закрыта правительством. Последний, 28-й номер вышел нелегально.

⁵² *Прудон Пьер Жозеф* (1809–1865) — французский социалист, теоретик анархизма, экономист.

⁵³ «*Горнило*» — журнал Саратовского пролеткульта, основан после революции, выходил в 20-е годы.

⁵⁴ *Кириллов Владимир Тимофеевич* (1890–1943) — поэт. Служил в Черноморском торговом флоте; за участие в революционном движении моряков был предан военному суду, избежал смертной казни из-за несовершеннолетия; три года находился в ссылке. Участник Февральской и Октябрьской революций. Печатался с 1913 г., в 1918 г. выпустил сборник «Стихотворения» в основном революционной тематики. В годы НЭПа пережил творческий кризис, с

1929 г. выступал в печати редко. В 1937 г. незаконно репрессирован, реабилитирован посмертно.

⁵⁵ *Зенкевич Михаил Александрович* (1886–1973) — поэт, переводчик. Родом из Саратова, как и автор мемуаров. В 1900-е гг. жил в Берлине, занимался на философском факультете Йенского университета. В 1915 г. окончил юридический факультет Петербургского университета. Печатался как поэт с 1906 г.: стихотворение «Казнь», отклик на расстрел лейтенанта П.П. Шмидта, было напечатано в № 3 саратовского журнала «Жизнь и школа» (номер был конфискован полицией). С 1908 г. Зенкевич печатался в петербургской периодике, в 1910 г. Н. Гумилев помещает его стихи в «Аполлоне», а в 1911-м привлекает Зенкевича в Цех поэтов. Сборник его стихов «Дикая порфира» (1912) — одна из первых книг, опубликованных этим кружком. Зенкевич вышел из Цеха поэтов вместе с группой акмеистов и считал себя и В. Нарбута «левым крылом акмеизма». В конце 1917 г. Зенкевич уехал в Саратов, печатал в «Художественных известиях Саратовского отделения искусств» статьи о поэзии и поэтах. В романе Л. Гумилевского «Эмигранты» (1922) он выведен под именем Вденкевича. В 1921 г. в Саратове вышел сборник стихов Зенкевича «Пашня танков», в котором машина выступает в демонической ипостаси. Поэт участвовал в Гражданской войне, в 1922 г. возглавлял Саратовское отделение РОСТА. В том же году перевел 19 из последних стихотворений казненного французского поэта А. Шенье, посвятив перевод памяти Н. Гумилева. До конца жизни писал и печатал стихи (поэма «Пять декабристов», 1925; сборник стихов «Набор высоты», 1937, и др.), но главным образом занимался переводами стихов В. Гюго, У. Шекспира, У. Уитмена и др. Зенкевич по праву считается одним из основателей советской школы перевода.

⁵⁶ *Антимонов Сергей Иванович* (1880–1954) — драматург начала XX в., блестящий комедийный актер, в 1902–1908 гг. выступал в провинции. Один из премьеров театра «Кривое зеркало» (см. ниже) в Санкт-Петербурге. В 1918 г. играл также в литературном кабаре «Привал комедиантов», в 1922–1924 гг. — в московских театрах «Кривой Джимми», «Вольный ветер», «Театр на площади», с 1924 г. — в театре им. В.Ф. Комиссаржевской, с 1926 г. — в театре Сатиры, с 1933 г. — в Камерном театре. С 1934 г. перешел на работу в кино. Снимался в комедиях Г.В. Александрова «Волга-Волга», «Цирк», «Весна».

⁵⁷ «*Кривое зеркало*» — популярный петербургский театр пародий, основанный и бессменно руководимый Александром Рафаиловичем

Кугелем (1863–1928) в 1908–1918 гг. и, после перерыва, в 1922–1928 гг. А.Р. Кугель выступал также как театральный критик; в 1897 г. основал журнал «Театр и искусство», который редактировал до его закрытия в 1918 г.

⁵⁸ *Скалдин Алексей Дмитриевич* (1885–1943) — поэт и прозаик, с 1910 г. выступал со стихами в журналах «Аполлон» и «Сатирикон», а также в эгофутуристических изданиях. В 1912 г. выпустил сборник «Стихотворения. 1911–1912». Стихам и прозе Скалдина свойственно стремление к мистическому, таинственному, эти качества присущи и его философскому роману «Странствия и приключения Никодима старшего» (1917). После революции, боясь ареста, сразу уехал в Саратов, где занялся активной культурной и преподавательской деятельностью: заведовал Радищевским музеем, ездил в экспедиции по обследованию церковного зодчества, организовал театр-студию, пополнял музейные фонды новыми экспонатами, преподавал в Педагогическом институте и Высших театральных мастерских. Тем не менее в 1922 г. нашлись литературные деятели (поэт Л. Котомка и журналист З. Чаган), которые начали заказную кампанию, по существу с идеологической подоплекой, но возводившей на Скалдина обвинения уголовного порядка — в воровстве. В 1922 г. Скалдин был осужден на три года тюрьмы, но освобожден после вмешательства А.В. Луначарского. Повторно арестован в 1933 г. и сослан на пять лет в Казахстан. После ссылки остался жить в Алма-Ате, где был арестован в третий раз в 1941 г. и осужден на 8 лет «за контрреволюционную деятельность». Умер на этапе от инфаркта в 1943 г. Творчество Скалдина, главным образом роман «Странствия и приключения Никодима старшего», оказало влияние на М.А. Булгакова, что заметно в романе «Мастер и Маргарита». От наследия писателя сохранилась малая часть. В советское время он опубликовал только несколько детских книг.

⁵⁹ *Он держался, как римский авгур...* — то есть с величественной невозмутимостью древнеримского жреца. Авгурами в Древнем Риме именовались жрецы-предсказатели, совершающие гадания на внутренностях убитых животных или определяющие грядущие события по птичьему полету.

⁶⁰ *Авербах Леопольд Леонидович* (1903–1939) — критик, публицист, литературный и общественный деятель. Родственник Я.М. Свердлова, шурин Г.Г. Ягоды. В 1922–1924 гг. редактор журнала «Молодая гвардия», в 1926–1932 гг. редактор журнала «На литературном посту» и генеральный секретарь Российской ассоциации пролетарских писателей (РАПП). Выступал с публицистическими и лите-

ратурно-критическими работами, которые отличались характерными для рапповского руководства чертами администрирования и вульгаризаторского сектантства. О М.А. Булгакове в 1925 г. он отзывался так: «Появляется писатель, не рядящийся даже в попутнические цвета. Не только наша критика и библиография, но наши издательства должны быть настороже, а Главлит — тем паче!». После ликвидации РАПП (1932 г.) Авербах принимал участие в подготовке первого Всесоюзного съезда советских писателей. В 1937 г. Авербах был репрессирован и в 1939 г. расстрелян. Реабилитирован посмертно. В романе «Мастер и Маргарита» Булгаков вывел Авербаха в образе председателя МАССОЛИТа Берлиоза.

⁶¹ *Боклевский Петр Михайлович (1816–1997)* — художник-иллюстратор. С 1845 г. посещал класс К.П. Брюллова в Петербургской Академии художеств и мастерскую П.К. Клодта. Выработал жанр сатирического, социально заостренного портрета литературного героя. Иллюстрировал произведения Н.В. Гоголя, А.Н. Островского, П.И. Мельникова-Печерского и др. писателей.

⁶² *Патрашкин, он же Григорьев, Сергей Тимофеевич (1875–1953)* — журналист и прозаик, автор книг для юношества, в их числе романа «Александр Суворов» (1939; перераб. изд. 1950).

⁶³ *«Мы называли его «вторым Дорошевичем»...»* — имеется в виду «король фельетонов» журналист Влас Михайлович Дорошевич (1864–1922), едко обличавший пороки современного ему общества, и автор книги «Сахалин. (Каторга)» (1903).

⁶⁴ *Пильняк (псевдоним; наст. фамилия Вогау; 1894–1937) Борис Андреевич* — писатель. Первая книга его прозы, о которой упоминает мемуарист, — сборник рассказов «С последним пароходом и другие рассказы» — вышла в 1918 г. Основная тема творчества Б. Пильняка — революционная ломка и перестройка России, однако с годами его все более привлекает проблема будущего страны, ее судьба в тесной связи с прошлым. Уже в раннем романе «Голый год» (1921) проблема эта возникает, хоть и в самом общем виде. В 1926 г. Пильняк опубликовал в «Новом мире» трагическую «Повесть непогашенной луны», напечатание которой редакция журнала в № 6 за тот же год признала ошибочным: повесть, правда негласно, связывали со смертью в 1925 г. сорокалетнего военного и политического деятеля, реформатора армии М.В. Фрунзе, не удобного И.В. Сталину, ставшему с 1922 г. генеральным секретарем ЦК ВКП(б). В романе «Волга впадает в Каспийское море» (1930), сюжет которого связан со строительством водохранилища, Пильняк пытается показать рождение «новой русской культуры», новые психологи-

- ческие ситуации, приводящие порой к трагическим коллизиям. В 1929–1930 гг. Пильняк опубликовал собрание сочинений в 8 томах. Последней вышедшей в свет книгой писателя было «Созревание плодов» (1936). В 1937 г. Пильняк незаконно репрессирован и расстрелян. Реабилитирован посмертно.
- ⁶⁵ *Леонтий Котомка* (псевдоним, наст. фамилия Н. Зеленский) — поэт, журналист, публиковавшийся в юмористической прессе. Написал заказную статью-донос (совместно с Чаганом) на А.Д. Скалдина (о нем см. выше).
- ⁶⁶ *Дорогойченко Алексей Яковлевич* (1893–1947) — писатель, поэт и прозаик. Выходец из мордовской деревни, учился в Ровенской учительской семинарии, позже в Московском и Петербургском университетах. В 1919 г. вступил в коммунистическую партию, участник Гражданской войны. Как поэт печатался с 1917 г., автор нескольких сборников стихов («Боевые песни красноармейца» и др.). Позже перешел на прозу (романы «Большая Каменка», 1927, «Живая жизнь», 1930, и др. — о переменах в деревне, о коллективизации).
- ⁶⁷ *Каменский Василий Васильевич* (1884–1961) — поэт и один из первых русских летчиков. Начал печататься с 1904 г. В 1907 г. приехал с Урала в Петербург. Совместно с В. Хлебниковым, Д. Бурлюком и Е. Гуро организовал группу «кубофутуристов», которая выпустила первый футуристический сборник «Садок судей». Ранняя лирика Каменского (сборники стихов «Танго с коровами. Железобетонные поэмы», 1914; «Звучаль веснеянки», 1918, и др.) насыщена словесным экспериментаторством, однако даже в написанной почти сплошь «заумным» языком поэме «Цувамма» (1920) звучат характерные для позднейшей его лирики ноты радости бытия, восторг перед жизнью как таковой. Главные его произведения — поэмы о русских «бунтарях»: «Стенька Разин» (1912–1920), «Емельян Пугачев» (1931), «Иван Болотников» (1934). Автор мемуарных книг «Его — моя биография великого футуриста» (1918), «Путь энтузиаста» (1931), «Жизнь с Маяковским» (1940).
- ⁶⁸ *Вольф Сергей Оскарович* (1890–1951) — театральный деятель. С 1929 по 1941 гг. и потом в эвакуации был директором Воронежского драматического театра.
- ⁶⁹ *«Иванов Павел»* — музыкальный спектакль (1901) С. Надеждина и В. Раппопорта о нерадивом и ленивом гимназисте; часто ставился в театре «Кривое зеркало» и на любительской сцене.
- ⁷⁰ *Пашенная Вера Николаевна* (1887–1962) — актриса Малого театра в Москве, работала в нем с 1907 г. Народная артистка СССР (1937).

- Выступала в главных ролях классического и советского репертуара. С 1941 г. профессор Театрального училища им. Щепкина. Лауреат Государственной (1943) и Ленинской (1961) премий СССР.
- ⁷¹ *Певцов Илларион Николаевич* (1879–1934) — актер, народный артист РСФСР (1932). На сцене с 1902 г. — в труппе под руководством В.Э. Мейерхольда. С 1925 г. работал в Ленинградском академическом театре драмы. Упомянутая мемуаристом роль Павла I в одноименной пьесе Д.С. Мережковского — одна из наиболее известных ролей Певцова.
- ⁷² *Скосырев Петр Георгиевич* (1900–1960) — писатель. Учился в Саратовском университете. В 1919 г. выпустил книгу стихов «Голубое, золотое, дальнее». Во время Гражданской войны участвовал в борьбе с басмачеством в Средней Азии. Все его дальнейшее творчество, в основном проза, связано именно с этим регионом: книга очерков «В стране белого золота» (1930), повесть «Ваш покорный слуга» (1936) о туркменском поэте-сатирике Кемине (1770–1840) и др. Автобиографические романы «Бег» (1930), «Азиат» (1931) и др.
- ⁷³ *...Брат издателя...* — речь идет о Зиновии Исаевиче Гржебине (1869–1929), владельце издательства его имени, организованного в 1919 г. в Петрограде (с филиалами в Москве, позднее — в Берлине) для выпуска художественной, научной и научно-популярной литературы. Общее руководство программой издательства с 1919 г. осуществляли М. Горький, В.А. Десницкий и А.П. Пинкевич, в редакционный совет входили А.А. Блок, К.И. Чуковский и др. В дальнейшем Гржебин в погоне за коммерческим успехом отошел от программы, намеченной М. Горьким. Издательство просуществовало до 1923 г.
- ⁷⁴ *«Круг»* — издательство артели русских советских писателей, основано в 1922 г. В 1929 г. волилось в издательство «Федерация». Председателем правления был А.К. Воронский (о нем см. ниже). «Круг» издавал произведения современных советских и зарубежных писателей и ставил своей задачей объединение писателей различных направлений. Издательство выпускало сборники литературных групп (конструктивистов, «Перевала») и альманахах «Круг» (1923–1927), вышло 8 номеров.
- ⁷⁵ *Воронский Александр Константинович* (1884–1943) — литературный критик, публицист, писатель. Учился в Тамбовской духовной семинарии, откуда был исключен «за политическую неблагонадежность». В 1904 г. вступил в РСДРП(б). После Октябрьской революции в 1921–1927 гг. был редактором журнала «Красная новь», тогда же возглавлял издательство «Круг», в 1923–1927 гг. редактировал журнал «Прожектор». В 1925–1928 гг. принадлежал к троц-

кистской оппозиции (в частности, наряду с Л.Д. Троцким, отрицал принцип гегемонии пролетариата в искусстве), был исключен из ВКП(б). Позднее отошел от оппозиции, восстановился в партии, работал в Гослитиздате. В 1937 г. был незаконно репрессирован, реабилитирован посмертно. Автор многих литературно-критических и публицистических статей, составивших несколько сборников, книги «Литературные портреты» (т. 1–2, 1928–1929), автобиографической повести «За живой и мертвой водой» (1927).

⁷⁶ *Львов-Рогачевский* (псевдоним, наст. фамилия Рогачевский) *Василий Львович* (1874–1930) — критик и литературовед. В печати выступил как поэт в 1895 г., когда учился в Харьковском университете; в 1898 г. перешел в Петербургский университет и тогда же вступил в «Союз борьбы за освобождение рабочего класса»; после II съезда РСДРП — меньшевик, после поражения революции 1905–1907 гг. — ликвидатор. Литературно-критическую деятельность начал с 1899 г. в Одессе, где постоянно сотрудничал в газете «Одесские новости» (вел рубрику «Литературные беседы»). В 1900 г. уехал в Харьков, в том же году был арестован за деятельность в РСДРП, провел 8 месяцев в тюрьме, затем был выслан под надзор полиции (жил в Курске, Нижнем Новгороде, Самаре, Архангельске); в печати выступал под латинским псевдонимом *Ното*. Первая крупная статья «Писатель-интеллигент» (о В.В. Вересаеве) появилась в журнале «Обозрение» в 1904 г. После возвращения в 1905 г. в Харьков Львов-Рогачевский был вновь арестован и выслан за границу; вернулся на родину в 1909 г.; много печатался в периодике как литературный критик, в 1914 г. выпустил книгу «Две правды. Книга о Л. Андрееве». После революции отошел от политической деятельности, занимался лекторской работой, опубликовал несколько книг, в том числе «Новейшая русская литература» (с 1919 по 1927 гг. выдержала 7 изданий), «Поэт-пророк» (1921) о творчестве А. Блока и др.

⁷⁷ *Артем Веселый* (псевдоним, наст. фамилия и имя Кочкуров Николай Иванович; 1899–1939) — писатель. Активный участник Октябрьской революции, член ВКП(б) с 1917 г.; участник Гражданской войны. Сотрудничал в большевистских газетах с 1917 г. В 1922 г. поступил в Высший литературно-художественный институт им. В.Я. Брюсова, потом в МГУ. Участвовал в литературной группе «Перевал», в 1929 г. вступил в РАПП. Автор пьес («Разрывтрава», 1919, и др.), повестей и рассказов. Главное произведение — роман «Россия, кровью умытая» (полностью опубликован в 1932 г.) — о революции и Гражданской войне; в 1932 г. опублико-

вано и его последнее произведение, исторический роман «Гуляй, Волга» — о завоевании Ермаком Сибири. В 1937 г. незаконно репрессирован, реабилитирован посмертно.

⁷⁸ «Красная нива» — литературно-художественный иллюстрированный массовый еженедельный журнал; выходил в Москве в издательстве «Известия ВЦИК» в 1923–1931 гг. Публиковал в основном рассказы современных писателей, изредка — повести и романы («Блестающий мир» А. Грина, «Записки Д'Аршиака» Л. Гроссмана и др.).

⁷⁹ *Иванов Всеволод Вячеславович* (1895–1963) — писатель, прозаик и драматург. Рано оставил семью, работал наборщиком, матросом, грузчиком, цирковым актером, много странствовал по Сибири, Уралу, Казахстану, что впоследствии нашло отражение в автобио-графическом романе «Похождения факира» (1934–1935; в 1960 г. роман переработан и тематически продолжен в романе «Мы идем в Индию»). Печатался в газетах с 1915 г. Первая книга «Рогулька» была набрана и отпечатана в 1919 г. в Омске самим автором. С 1921 г. Иванов перебрался в Петроград, его повестью «Партизаны» (1921) открывался первый номер журнала «Красная новь», первого советского «толстого» журнала, а пятый — повестью «Бронепоезд 14-69» (на основе этой повести написана одноименная пьеса, впервые поставленная во МХАТе). Историко-революционная тема оставалась и в дальнейшем одной из основных в творчестве Иванова. Во время Великой Отечественной войны он выступал как публицист, автор рассказов о войне и романа «При взятии Берлина» (1946). В 1947 г. вышла книга воспоминаний «Встречи с Максимом Горьким», над которой автор работал более четверти века.

⁸⁰ *Вешнев В.* (один из псевдонимов, наст. фамилия и имя Пржеплавский Владимир Георгиевич; 1881–1931) — критик, беллетрист и журналист. Печатал в газетах и журналах статьи по экономическим вопросам, фельетоны, бытовые очерки под псевдонимами Егорович, В. Стрелков и др.

⁸¹ *Окунев* (псевдоним, наст. фамилия Окунь; 1882–1932) *Яков Маркович* — журналист, писатель. Учился на историко-филологическом факультете Новороссийского университета, был исключен за участие в студенческих волнениях, позже арестован и сослан. После 1907 г. отошел от политической деятельности, участник Первой мировой войны, награжден Георгиевским крестом. С фронта писал очерки о войне, слащаво-патриотические статьи о русской армии. Участник Февральской революции, вступил в ВКП(б) в 1917 г.

- Исключен из партии в 1923 г. за нарушение партийной дисциплины. Умер от тифа в 1932 г. Автор второстепенных романов о партии и революции, а также писатель-фантаст: утопическая трилогия «Грядущий мир» (1923), «Завтрашний день» (1924), «Катастрофа» (1927).
- ⁸² *Никитина Евдокия Федоровна* (1895–1973) — литературовед. Окончила в 1914 г. историко-философское отделение Высших женских курсов в Москве. С 1914 г. в квартире Никитиной происходили литературные заседания, получившие с 1921 г. название «Никитинских субботников» (см. след. примечание). Собирательница автобиографий и биографий писателей. Ей принадлежит ряд справочно-библиографических работ, в том числе книга «Русская литература от символизма до наших дней» (1926).
- ⁸³ «*Никитинские субботники*» — литературное объединение, созданное Е.Ф. Никитиной в Москве в 1914 г. и носившее до 1921 г. название «Литературные субботники». На заседания объединения собирались писатели, художники, актеры; при нем с 1922 г. существовало издательство «Никитинские субботники», в 1931 г. слившееся с издательством «Федерация».
- ⁸⁴ «*Кузница*» — литературное объединение, существовавшее в Москве в 1920–1931 гг. Создано группой поэтов, вышедших из Пролеткульта, теоретики которого стремились регламентировать поэтическую практику, загоняя поэзию в узкие догматические рамки. К середине 20-х годов ведущую роль в «Кузнице» играли такие прозаики, как Н. Ляшко, Ф. Gladков, А. Новиков-Прибой и др. Пережив острую внутригрупповую борьбу, объединение в 1931 г. вошло в РАПП.
- ⁸⁵ *Всероссийский союз писателей* — литературное объединение писателей, созданное по инициативе М.О. Гершензона и Н.А. Бердяева. В течение 1920-х гг. руководство Союза неоднократно отстаивало его автономию. Союз имел отделения в Москве и Петрограде и существовал наряду с другими подобными объединениями (упомянутая выше «Кузница», Всероссийский союз поэтов). Распущен в 1932 г.
- ⁸⁶ «*Земля и фабрика*» (ЗИФ) — государственное акционерное издательское общество (1922–1930), выпускавшее оригинальную и переводную беллетристику и литературно-критические издания. В 1930 г. вошло в Государственное издательство художественной литературы.
- ⁸⁷ *Замойский* (псевдоним, наст. фамилия Завалкин) *Петр Иванович* (1896–1958) — писатель. В 1918 г. вступил в коммунистическую партию, участник революции в деревне. Учился в Высшем литера-

- турно-художественном институте им. В.Я. Брюсова, в МГУ. Печатался с 1921 г., писал о жизни деревни; наиболее значительное произведение — роман «Лапти» (кн. 1–4, 1929–1936) — о российской деревне времен НЭПа и коллективизации.
- ⁸⁸ *Иванов Вячеслав Иванович* (1866–1949) — русский поэт, представитель и теоретик символизма. В его квартире, так называемой «башне Иванова», проходили «ивановские среды», собиравшие людей искусства (1903–1912). Автор сборников стихов «Кормчие звезды» (1903), «*Cor ardens*» (ч. 1–2, 1911), литературно-философских трудов. С 1924 г. жил в Риме.
- ⁸⁹ *Ауслендер Сергей Абрамович* (1886–1943) — писатель. Учился в Петербургском университете (курс не окончил). С 1905 г. печатал рассказы в периодике; с 1906 г. сотрудничал в журнале «Золотое руно». Первый сборник рассказов «Золотые яблоки» вышел в 1908 г. В романе «Последний спутник» (1913) стремился передать литературную и художественную атмосферу Петербурга конца 1900-х годов. С 1914 г. Ауслендер выступал как драматург (пьесы «Ставка князя Матвея», 1913; «Изумрудный паучок», 1914). В годы 1-й мировой войны печатал корреспонденции с фронта. В 1918 г. жил в Москве, печатался в газете «Жизнь»; в 1919 оказался в Омске, где печатался в колчаковской газете «Сибирская жизнь» и опубликовал в ней роман «Видения жизни» — о мировой войне. С 1922 г. в Москве; порвав старые литературные связи, работал в жанре историко-революционной беллетристики. Собрание сочинений в 5 томах включает повести для детей, написанные после 1922 г. В 1937 г. репрессирован, реабилитирован посмертно.
- ⁹⁰ *Романов Пантелеймон Сергеевич* (1884–1938) — писатель-прозаик, автор рассказов, повестей, романов о советской действительности 20-х годов, написанных в лирико-психологическом и сатирическом ключе. Особой популярностью пользовались сборники его рассказов «Без черемухи» (1927) и «Черные лепешки» (1928). Роман «Русь» (ч. 1–5, 1922–1936) посвящен жизни усадебной России от предвоенных лет и до Февральской революции.
- ⁹¹ *Савич Овадий Герцович* (1896–1967) — писатель, прозаик и переводчик. Печатался с 1915 г. (стихи и рассказы). В 1928 г. опубликовал роман «Воображаемый собеседник». В 1932–1936 гг. был корреспондентом «Комсомольской правды» в Париже, затем в Испании, в 1937–1939 гг. корреспондент ТАСС в Испании. Под впечатлением событий гражданской войны в Испании написаны книги «Люди интернациональных бригад» (1938), «Счастье Картахены» (1947), «Два года в Испании. 1937–1939. Очерки и рассказы» (1961). Пе-

- реводил стихи испанских и латиноамериканских поэтов, в том числе произведения Р. Альберти, П. Неруды, Г. Мистралья.
- ⁹² *Буданцев Сергей Федорович* (1896–1940) — писатель. Учился на историко-филологическом факультете Московского университета. Печатался с 1910 г. как поэт и литературный критик. Известность ему как прозаику принес роман «Мятеж» (1925, позднее издан под названием «Командарм») — об эсеровском восстании в Ярославле. Автор романов «Саранча» (1927), «Писательница» (1933–1936, опубликован в 1959) и нескольких сборников рассказов. Незаконно репрессирован в 1937 г., реабилитирован посмертно.
- ⁹³ *Казин Василий Васильевич* (1898–1981) — поэт. Печатался с 1914 г., однако известность ему принес уже послереволюционный сборник «Рабочий май» (1922). В 1918–1920 гг. учился в литературной студии московского Пролеткульта, печатался в его изданиях. Один из организаторов литературной группы «Кузница». Популярностью пользовалась поэма «Лисья шуба и любовь» (1926). Итоговый сборник стихов и поэм «Избранное» вышел в 1978 г.
- ⁹⁴ *Жаров Александр Алексеевич* (1904–1984) — поэт. Учился в Можайском реальном училище. В 1918 г. был секретарем одной из первых комсомольских ячеек, в 1920 г. вступил в коммунистическую партию. Печатался с 1921 г. Принадлежал к плеяде «комсомольских поэтов» (А. Безыменский, М. Светлов, И. Уткин и др.), воспевавших комсомольскую юность. Наиболее известна поэма «Гармонь» (1926) о молодежи. Автор героико-патриотических стихов и поэм, текстов популярных песен («Заветный камень», «Грустные ивы» и др.).
- ⁹⁵ *Уткин Иосиф Павлович* (1903–1944) — поэт. В 1920–1922 гг. служил в Красной армии. В 1927 г. окончил Московский институт журналистики. Печатался с 1922 г. Принадлежал к упомянутой в предыдущем примечании плеяде «комсомольских поэтов». Успехом пользовалась поэма «Повесть о рыжем Мотэле» (1925). Автор многих сборников стихов и поэм, последнее прижизненное издание — итоговый сборник «Лирика» (1939). В 1941 г. добровольцем ушел на фронт, после ранения вернулся на фронт в качестве военного корреспондента. Погиб в авиационной катастрофе под Москвой, возвращаясь с Западного фронта.
- ⁹⁶ *Тычина Павел Григорьевич* (1891–1967) — украинский поэт. Академик АН УССР (1929), Герой Социалистического Труда (1967). Автор лирических и публицистических стихов; в последних (сборники «Партия ведет», 1934; «Коммунизма дали видны», 1961, и др.) преобладает пафос парадного оптимизма.
- ⁹⁷ *Лидин Владимир Германович* (1894–1979) — писатель. В 1915 г. окон-

- чил юридический факультет Московского университета. Участник Гражданской войны. Первый сборник рассказов «Трын-трава» вышел в 1916 г., за ним последовали другие, затем романы «Отступник» (1927), «Могила неизвестного солдата» (1932) — о Париже, «Великий, или Тихий» (1933) — о Дальнем Востоке, «Изгнание» (1947) — о первых годах войны (Лидин был военным корреспондентом «Известий»). Автор мемуаров «Люди и встречи» (1957) и записок книголюба «Друзья мои — книги» (1962; новые главы опубл. в 1981).
- ⁹⁸ *Большаков Константин Аристархович* (1885–1938) — писатель. Учился на юридическом факультете Московского университета (1913–1916). Участник 1-й мировой и Гражданской войн. До революции входил в футуристические группы «Мезонин поэзии», «Гилея», «Центрифуга». В 1913 г. опубликовал сборник стихов «Сердце в перчатке», в 1916 г. — антивоенную «Поэму событий». В советское время писал прозу: романы «Стоночь» (1927), «Маршал сто пятого дня» (кн. 1, 1936). Незаконно репрессирован в 1937 г., реабилитирован посмертно.
- ⁹⁹ *Дворец Труда* — дом бывшего Опекунского совета на Солянке, построенный в 1825 г. архитектором Жилярди, входил в состав усадьбы бывшего Воспитательного дома. После революции во Дворце Труда располагались центральные комитеты всех отраслевых профсоюзов, а также редакции некоторых газет, в их числе газета «Гудок». Именно по коридорам этого здания убежал великий комбинатор Остап Бендер от мадам Грицацуевой. Ныне в этом здании располагается президиум Академии медицинских наук РФ.
- ¹⁰⁰ *Нарбут Владимир Иванович* (1888–1944) — поэт. Учился на историко-филологическом факультете Петербургского университета. Печатался с 1909 г. Первый сборник лирических стихов «Стихи» вышел в 1910 г. В 1912 г. Нарбут вошел в литературную группу акмеистов «Цех поэтов», представляя с М.А. Зенкевичем ее левое крыло. Сборник гротескно-сатирических стихов «Аллилуйя» (1912) конфискован цензурой. После революции Нарбут работал в советской печати: редактировал в 1918–1919 гг. в Воронеже газету «Известия», в 1920–1922 гг. на Украине был директором ЮГРОСТА в Одессе и «Ратау» в Харькове. В 1920 г. опубликовал сборники стихов «Красноармейские стихи», «В огненных столбах». В 1922 г. переехал в Москву, был директором организованного им издательства «Земля и фабрика». Незаконно репрессирован в 1937 г., реабилитирован посмертно.
- ¹⁰¹ *Залка (Zalka) Mate* (1896–1937) — венгерский писатель. Окончил коммерческое училище. В 1912 г. добровольно вступил в армию,

воевал на фронтах 1-й мировой войны. В 1916 г. попал в русский плен и отправлен в лагерь военнопленных под Хабаровском. Под влиянием Октябрьской революции примкнул к коммунистам. В 1918–20 гг. партизанил на Дальнем Востоке, в 1920 г. вступил в Красную армию, занимал боевые командные посты. После демобилизации был в 1923–25 гг. дипкурьером. В 1936 г. отправился в Испанию и под именем генерала Лукача командовал 12-й интербригадой. Убит в бою под Уэской. С 1924 г. рассказы Залки о Гражданской войне печатались в советской и венгерской печати. Наиболее значительный роман писателя «Добердо» посвящен событиям 1-й мировой войны на итальянском фронте. В 1955 г. вышла в русском переводе книга «Избранное».

¹⁰² «*Вестник знания*» — научно-популярный журнал, выходит с 1903 г. (с перерывами); с 1925 по 1930 г. выходил в издательстве П.П. Сойкина; главным редактором, вплоть до своей смерти в 1927 г., был академик В.М. Бехтерев.

¹⁰³ *Маргерит Виктор* (1860–1942) — французский писатель, автор многочисленных «бытовых» романов натуралистического направления. До 1907 г. писал вместе с братом Полем. Так же как и многие другие произведения, роман «Моника Лербье» (1923) отличался откровенностью сексуальных сцен, что даже послужило основанием для лишения автора в 1923 г. Ордена почетного легиона, полученного ранее за достижения в литературе (1898).

¹⁰⁴ ...«*Санин*» *Арцыбашева*... — вышедший отдельным изданием в 1908 г. роман М.П. Арцыбашева (1878–1927), по замыслу автора, должен был противопоставить «омертвевшей» морали запретов, калечащей чувственную сферу человеческой личности, реализуемое право на свободу сексуальных отношений, на мгновенное осуществление возникшего желания. Книга вызвала долгую и скандальную полемику в печати. По инициативе Синода против Арцыбашева было начато уголовное дело по обвинению в порнографии и кощунстве.

¹⁰⁵ «*Красная газета*» выходила в Петрограде с 26 сентября 1922 г. вечерним выпуском вместо газеты «Рабочий и солдат». Первым редактором был В. Володарский. Слита с газетой «Ленинградская правда» в 1939 г., и выход вечернего издания был прекращен почти на 7 лет. В декабре 1945 г. вышел номер возобновленной газеты под названием «Вечерний Ленинград».

¹⁰⁶ *Лебедев-Полянский Павел Иванович* (наст. фамилия Лебедев, псевдоним Валериан Полянский; 1881–1948) — критик, литературовед. Член РСДРП с 1902 г. Учился на медицинском факультете Дерптского университета. Как литератор печатался с 1910 г. в рабочей печати,

публиковал статьи о русских писателях. В 1908–1917 гг. жил в эмиграции, входил в группу «Вперед». В 1917–1919 гг. правительственный комиссар литературно-издательского отдела Наркомпроса. В 1918–1920 гг. председатель Всероссийского совета Пролеткульта. В 1921–1930 гг. начальник Главлита. Автор научно-публицистических книг о В.Г. Белинском, Н.А. Добролюбове, Н.Г. Чернышевском, Н.А. Некрасове, А.Н. Островском и множества статей о русских писателях. Был главным редактором «Литературной энциклопедии», в 1934–48 гг. ответственный редактор сборников «Литературное наследство».

¹⁰⁷ *Лилина Злата Ионовна (1882–1929)* — педагог, деятель народного образования. С 1902 г. член РСДРП, в 1903 г. примкнула к большевикам. В 1898–1917 гг. работала в Женеве под руководством В.И. Ленина. После Февральской революции вернулась в Россию. В советское время возглавляла борьбу с детской беспризорностью, ведала питанием и снабжением детей в школах, приютах, детских домах. С 1920 г. заведовала петроградским Губсоцвосом, позже была командирована в распоряжение ЦК партии. После XV съезда ВКП(б) (1927) Лилиной была инкриминирована принадлежность к троцкистской оппозиции, ее исключили из партии; труды Лилиной были изъяты из обращения и библиографии.

¹⁰⁸ *Зиновьев (псевдоним, наст. фамилия Радомысльский) Григорий Евсеевич (1883–1936)* — политический деятель. С 1903 г. большевик, в 1907–1927 гг. член ЦК, в 1917 г. и в 1921–1926 гг. член Политбюро ЦК партии. С декабря 1917 г. был председателем Петроградского совета, активно участвовал в политической борьбе 1-й половины 20-х годов. На XIV съезде ВКП(б) выступил против отчета ЦК, сделанного И.В. Сталиным, в 1926 г. отстранен от руководства Петроградским советом. В 1929–1934 гг. неоднократно исключался из партии. В 1934 г. арестован и осужден на 10 лет по сфальсифицированному делу «Московского центра», в 1936 г. приговорен к смертной казни по сфабрикованному делу «Антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевского центра» и расстрелян.

¹⁰⁹ *Государственный Педагогический театр* — в июне 1920 г. в Москве открылся Государственный Детский театр, который в 1925 г. получил название 1-го Государственного Педагогического театра. С 1931 г. он был переименован в Госцентюз, с 1936 — в Центральный Детский театр, а с 1993 г. он становится Российским академическим молодежным театром (РАМТ).

¹¹⁰ *Афиногенов Александр Николаевич (1904–1941)* — драматург. Сын упоминаемого мемуаристом ниже писателя-прозаика Н.А. Афино-

генова, печатавшегося под псевдонимом Н. Степной. Первую пьесу «Роберт Тим» Афиногенов опубликовал в 1924 г. Первый его крупный успех как драматурга — постановка во МХАТе 2-м пьесы «Чудак» (1929); далее последовали пьесы «Страх» (1930), «Далекое» (1935), «Салют, Испания!» (1936), «Мать своих детей» (1939), «Машенька» (1940), неизменно имевшие успех на сцене. С начала Великой Отечественной войны Афиногенов возглавил литературный отдел Совинформбюро. В сентябре 1941 г. закончил пьесу о войне «Накануне». Погиб 29 октября 1941 г. во время налета вражеской авиации на Москву.

¹¹¹ *Исай Лежнев* (псевдоним, наст. фамилия Альтшуллер) *Исай Григорьевич* (1891–1955) — литературовед и публицист. В 1906–1909 гг. член РСДРП, затем отошел от политической деятельности. В 1914 г. закончил философский факультет университета Цюриха. В годы революции и Гражданской войны заведовал отделом информации в «Известиях». В 1922–1926 гг. под его редакцией выходил журнал «Новая Россия» «сменовеховского» направления. После закрытия журнала Лежнев был выслан за границу, где пробыл до 1930 г. В 1934 г. вышла его книга «Записки современника» (т. 1), написанная в жанре мемуарной публицистики и еще в рукописи представленная в Политбюро ЦК ВКП(б) с просьбой о приеме в партию. Он был принят в 1933 г.; в 1935–1939 гг. заведовал отделом литературы и искусства в газете «Правда». Опубликовал ряд работ о творчестве русских писателей XIX–XX вв., но главной его темой стало творчество М.А. Шолохова (монография «Михаил Шолохов», 1948, и др.).

¹¹² «Комсомольская правда» — орган ЦК ВЛКСМ; газета начала выходить в 1925 г.

¹¹³ *Павленко Петр Андреевич* (1899–1951) — писатель. В 1917 г. окончил реальное училище в Тифлисе, учился в Бакинском политехникуме; в 1920 г. вступил в коммунистическую партию и тогда же ушел в Красную армию, где был политруком. После демобилизации вел партийную работу в Закавказье, печатался как журналист в местной прессе. В 1924–1927 гг. был секретарем советского торгпредства в Турции. После возвращения в СССР печатал очерки, рассказы, повести; результатом поездки на Дальний Восток стал роман «На Востоке» (ч. 1–2, 1936–1937) — о будущей победоносной войне. Писал киносценарии, в том числе и к фильму «Александр Невский» (совместно с С.М. Эйзенштейном; 1938). С 1945 г. Павленко жил в Крыму. В 1947 г. вышел роман «Счастье» — апофеоз эпохи Сталина. Дань культуре личности отдана и в написанных по заказу сценариях к фильмам «Клятва» (1946) и «Падение Бер-

- лина» (1947). В последние годы жизни Павленко работал над «международным коммунистическим романом» (закончена только 1-я часть «Труженики мира» о строителях Ферганского канала).
- ¹¹⁴ *Эфрос Абрам Маркович* (1888–1954) — литературный и художественный критик, переводчик. Учился в гимназических классах Лазаревского института восточных языков в Москве. Окончил юридический факультет Московского университета. Печатался с 1909 г., опубликовав принесший ему известность перевод с древнееврейского «Песни песней» Соломона. В 1912–1917 гг. выступал под псевдонимом Россций. После Октябрьской революции был хранителем Третьяковской галереи, с 1919 г. возглавлял отдел охраны памятников и старины при Наркомпросе. В 30-е годы работал в издательствах «Academia» и Государственном издательстве художественной литературы. В 1930 г. вышла его книга «Профили» — сборник статей, опубликованных ранее в периодике. Эфрос был первым исследователем рисунков А.С. Пушкина, ему принадлежат книги «Рисунки Пушкина» (1930; 2-е, дополненное изд. 1933), «Автопортреты Пушкина» (1945), «Пушкин портретист» (1947). Переводил произведения Данте, Петрарки и др. классиков европейской литературы.
- ¹¹⁵ *Алексеев Глеб Васильевич* (1892–1938) — писатель. Печатался с 1909 г. В 1917 г. эмигрировал за границу. Опубликовал в Берлине несколько сборников рассказов и повестей («Бабы посиделки», 1922; «Живые встречи», 1922, и др.). В 1923 г. вернулся в СССР. Повести «Жилой дом» (1926), «Шуба» (1928), сборники рассказов, в том числе «Свет трех окон» (1928) посвящены жизни деревни и провинциального города. Автор романов «Тени стоящего впереди» (1928), «Роза ветров» (1933). Покончил жизнь самоубийством.
- ¹¹⁶ *Никулин Лев Вениаминович* (1891–1967) — писатель. Печатался с 1910 г. Во время Гражданской войны работал в культпросвете Красной армии. Первая книга «Четырнадцать месяцев в Афганистане» (1923) написана на основании поездки в составе дипломатической миссии в эту страну. Работал в жанре революционно-приключенческого романа («Тайна сейфа», 1925, и др.), позже перешел к исторической тематике. Известность принес Никулину автобиографический роман «Время, пространство, движение» (т. 1–2, 1933). Исторический роман «России верные сыны» (1950) повествует о походе русской армии в Европу в 1813–1814 гг. Автор пьес, киносценариев, путевых очерков, книги воспоминаний «Люди и странствия» (1962).
- ¹¹⁷ *Иллеш Бела* (1895–1974) — венгерский писатель. Юрист по образованию, был призван в армию в 1916 г. Коммунист; принимал

- участие в венгерской революции 1919 г. В 1919–1921 гг. жил в эмиграции в Чехословакии, в 1921–1923 гг. — в Австрии, в 1923–1945 гг. — в СССР. Автор романа о Венгерской советской республике 1919 г. «Тиса горит» (1929), трилогии «Карпатская рапсодия» (1939–1941), трилогии «Обретение родины» (1952–1954) о 2-й мировой войне.
- ¹¹⁸ *Федерация объединений советских писателей* (ФОСП) была создана в 1929 г.
- ¹¹⁹ «*Федерация*» — издательство, созданное в 1929 г. при ФОСП (см. предыдущее примеч.) на базе нескольких кооперативных издательств. В 1933 г. «Федерация» была переименована в издательство «Советская литература», которое в 1934 г. влилось в издательство «Советский писатель».
- ¹²⁰ *Сунь Ятсен* (др. имена *Сунь Чжуншань*, *Сунь Вэнь*) (1866–1925) — китайский политический деятель, вождь Синьхайской революции 1911–1913 гг., первый (временный) президент Китайской республики (с 1 января по 1 апреля 1912 г.). В 1912 г. основал партию гоминьдан.
- ¹²¹ *Бородин* (один из псевдонимов; наст. фамилия Грузенберг; др. псевдонимы: Англичанин, Банкир, М. Броун, Никифоров) *Михаил Маркович* (1884–1951) — ответственный работник Коминтерна, занимался агентурной работой. Член РСДРП с 1903 г. В 1907–1918 гг. находился в эмиграции в Америке. С 1918 по 1922 г. в статусе дипломата осуществлял от имени Коминтерна руководство партийной работой в Мексике и ряде стран Западной Европы. В 1923–1927 гг. — главный политический советник Сунь Ятсена (см. предыдущее примеч.), национального кантонского правительства в Китае и представитель ИККИ в Китае. В 1927–1932 гг. — заместитель наркома труда РСФСР. В 1932 г. назначен заместителем ответственного редактора ТАСС, а в 1934 г. — главным редактором Совинформбюро. С 1949 по 1951 г. главный редактор газеты «Московские новости» на английском языке. В 1951 г. арестован по делу об Антифашистском еврейском комитете. Умер в тюрьме. Реабилитирован посмертно.
- ¹²² *Сперантова* Валентина Александровна (1904–1978) — актриса, Народная артистка СССР (1970). С 1925 г. работала в Госцентюзе, с 1944 г. — в Центральном детском театре в Москве. Травести, играла роли подростков, в 1950-х годах перешла на характерные и возрастные роли.
- ¹²³ «*Советское искусство*» — газета, выходившая с 1929 г. под названием «Искусство и рабочий»; с 1931 г. получила название «Советское искусство»; в 1942 г. слилась с «Литературной газетой» под

общим названием «Литература и искусство». В 1954 г. начала вновь выходить отдельно под названием «Советское искусство»; в 1953 г. переименована в «Советскую культуру», с 1991 г. выходит под названием «Культура».

- ¹²⁴ *«Литературная энциклопедия»* — имеется в виду энциклопедия, вышедшая в 1929–39 гг. сначала под редакцией В.М. Фриче, позднее — А.В. Луначарского и П.И. Лебедева-Полянского. Вышли тома с 1-го по 9-й, а также том 11; 10 и 12 тома не вышли (верстка т. 10 хранится в Государственном литературном музее в Москве).
- ¹²⁵ *Тарасенков Анатолий Кузьмич (1909–1956)* — литературный критик, литературовед, библиограф. Печатался с 1925 г. Участник Великой Отечественной войны. Работал в разное время в журналах «Знамя» и «Новый мир» (в 1950–1953 гг. — зам. главного редактора). Автор ряда книг о советской литературе, главным образом о поэзии (кн. «Поэты», 1956, и др.). Библиографический труд «Русские поэты XX века. 1900–1955» (изд. в 1966 г.) представляет значительную ценность как справочное издание.
- ¹²⁶ *Бяльницкий-Бируля Витольд Казтанович (1872–1957)* — художник, мастер импрессионистического пейзажа в духе «Союза русских художников». Народный художник Белоруссии (1944) и РСФСР (1947), действительный член Академии художеств СССР (1947). В 1885–1889 гг. учился в Киеве в рисовальной школе Н.И. Мурашко, в 1889–1897 гг. — в Московском училище живописи, ваяния и зодчества у И.М. Прянишникова, С.А. Коровина и В.Д. Поленова. Был членом «Товарищества передвижников», «Союза русских художников», «Общества имени А.И. Куинджи».
- ¹²⁷ *Неверов (псевдоним; наст. фамилия Скобелев) Александр Сергеевич (1886–1923)* — писатель, выходец из крестьянской семьи, прошел нелегкую школу жизни. Печатался с 1906 г. (рассказ о деревне «Горе залили»). Тема деревни оставалась главной в его творчестве. С 1922 г. жил в Москве. Автор рассказов, пьес, повестей, из последних особенно известна повесть «Ташкент — город хлебный» (1923) о судьбе беспризорника-подростка.
- ¹²⁸ *Федин Константин Александрович (1892–1977)* — писатель-прозаик, печатался с 1913 г. Академик АН СССР (1958), Герой Социалистического Труда (1967). В 1921 г. вошел вместе с В. Кавериним, М. Зощенко, Н. Тихоновым и др. в группу «Серапионовы братья», члены которой искали новые формы для отражения новой действительности (группа распалась в 1929 г.). Из ранних произведений наиболее известны романы «Города и годы» (1924) и «Братья» (1927–1928). Главная тема творчества Федина — интел-

лигенция и революция, но в послевоенной трилогии романов «Первые радости» (1945), «Необыкновенное лето» (1947–1948), «Костер» (1961–1965) она решена конформистски по отношению к советской идеологии (первые две части удостоены Государственной премии СССР в 1949 г.). Федин занимал руководящие посты в Союзе писателей СССР (в 1959–1971 гг. первый секретарь, с 1971 г. председатель правления).

¹²⁹ *Шпанов Николай Николаевич* (1896–1961) — писатель. По первой профессии военный инженер, окончил также в 1916 г. Высшую офицерскую воздухоплавательную школу. Участник 1-й мировой войны, в 1918 г. вступил в Красную армию. Печатался с 1925 г. Автор книг очерков («Наш полет в лесные дебри», 1926, и др.), книг об изобретателях, в их числе о Джеймсе Уатте (1936). Нашумевший роман об истории подготовки 2-й мировой войны «Поджигатели» (1949) и некоторые другие произведения («Война невидимок», 1958, «Ураган», 1961) подверглись критике за некомпетентное и поверхностное освещение серьезных проблем.

¹³⁰ *Цандер Фридрих Артурович* (1887–1933) — ученый и изобретатель, один из пионеров ракетной техники в СССР. Создал реактивные двигатели ОР-1 и ОР-2.

¹³¹ «Техника воздушного флота» — специализированный журнал, выходит с 1927 г., долгое время распространялся по подписке только для специалистов.

¹³² *Ворогушин Николай Иванович* (1889–1938) — специалист в области теплотехники, ученик Н.Е. Жуковского. Работал в ЦАГИ, ЦИАМ, МАИ. Основные труды в области теории авиадвигателей.

¹³³ *Евдокимов Иван Васильевич* (1887–1941) — писатель. В 1905–1908 гг. участвовал в работе Вологодской подпольной большевистской организации. В 1911–1915 гг. учился на историко-филологическом факультете Петербургского университета. Печатался с 1915 г. Упомянутый мемуаристом роман «Колокола» (1926), наиболее значительное произведение писателя, изображает жизнь русской провинции до и во время революции 1905–1907 гг. Автор работ о русском изобразительном искусстве («Русская игрушка», 1925, и др.) и биографических повестей о русских художниках: «Борисов-Мусатов» (1924), «М.А. Врубель» (1925), «В.И. Суриков» (1933), «Репин» (1940), «Левитан» (1940).

¹³⁴ *Кольцов Михаил Ефимович* (1898–1942) — писатель. Член коммунистической партии с 1918 г. Во время Февральской революции принимал участие в арестах царских министров. Опубликованные в 20-е годы очерки об этих событиях составили впоследствии сбор-

ник «Сотворение мира» (1928). В очерке «Октябрь» (1919) описан штурм Зимнего дворца. С 1920 г. Кольцов работал в Москве, с 1922 г. стал постоянным сотрудником «Правды». Как журналист он неизменно стремился бывать в «горячих» точках, но особое место в его жизни и творчестве занимала Испания, где он побывал впервые в 1931 г. В 1933 г. вышла его книга «Испанская весна». В 1936 г., во время гражданской войны в Испании, он находился в стране как корреспондент «Правды», а в 1938 г. вышла книга «Испанский дневник». Кольцов был популярным и «острым» фельетонистом, печатался в этом качестве почти ежедневно в «Правде», членом редколлегии которой состоял. Был основателем и редактором «Огонька», редактором сатирических журналов «Чудак» (1928–1930) и «Крокодил» (1934–1938). В 1938 г. избран членом-корреспондентом АН СССР и депутатом Верховного совета РСФСР — и в том же году незаконно репрессирован. Реабилитирован посмертно.

¹³⁵ *Виноградов Анатолий Корнелиевич* (1888–1946) — писатель, литературовед, искусствовед. В 1912 г. окончил историко-филологический факультет Московского университета. Был директором Румянцевского музея, а после его реорганизации — директором Государственной библиотеки СССР им. В.И. Ленина (с 1992 г. — Российская государственная библиотека). Автор историко-литературных работ о Проспере Мериме, историко-биографических книг «Осуждение Паганини» (1936), «Повесть о братьях Тургеневых» (1932) и др. Книга «Байрон» вышла в 1936 г.

¹³⁶ *Семенов Николай Николаевич* (1896–1986) — физик, один из основоположников химической физики. Академик АН СССР (1932), дважды Герой Социалистического Труда (1956, 1976). Создал общую количественную теорию цепных реакций (1934). Лауреат Нобелевской премии (1956).

¹³⁷ *Филиппов Борис Михайлович* (1903–1991) — писатель-прозаик. Сын известного русского ученого М.М. Филиппова (1858–1903), погибшего при невыясненных обстоятельствах во время проведения научного эксперимента. Б.М. Филиппов окончил в 1924 г. ЛГУ, один из организаторов первого клуба творческой интеллигенции в послереволюционное время, впоследствии превратившегося в Центральный дом работников искусств (ЦДРИ, Москва), директором которого он был долгие годы. В актерской среде получил ласковое прозвище «Домовой». Автор книг «Творческие встречи. Очерки о деятельности Центрального дома работников искусств в СССР» (1951); «Актеры без грима» (1967); «Как я стал «домовым»» (1974); «Музы на фронте. Очерки, дневники, письма» (1975); «Записки

- «домового»» (1978). Упомянутая мемуаристом книга «Тернистый путь русского ученого. Жизнь и деятельность М.М. Филиппова» опубликована в 1960 г.
- ¹³⁸ *Дейч Александр Иосифович* (1893–1972) — историк литературы, критик, театровед, переводчик. В 1917 г. окончил Киевский университет. Печатался с 1910 г. (перевод «Баллады Редингской тюрьмы» О. Уайльда). В 1911 г. в Санкт-Петербурге вышла работа «Тип Дон-Жуана в мировой литературе», за ней последовали многочисленные историко-литературные статьи и книги о зарубежной классике: «История доктора Фауста» (1913), «Сказание о Тангейзере» (1914), «Беранже. Рассказ о его жизни» (1932), «Тальма» (1934) и др. Жизнь и творчество Г. Гейне были одной из главных тем в творчестве Дейча. Упомянутая мемуаристом книга «Генрих Гейне» вышла в 1933 г., ею открывалась серия «Жизнь замечательных людей». Дейчу принадлежат также книги «Генрих Гейне, поэт» (1941), «Поэтический мир Генриха Гейне» (1963), «Судьбы поэтов» (1968). Он автор мемуаров «Голос памяти» (1966), «День нынешний и день минувший» (1969, переизд. 1985), «Дыхание времени» (изд. посмертно, 1974).
- ¹³⁹ *Соболев Юрий Васильевич* (1887–1940) — литературовед, критик, театровед. В 1914 г. окончил Московский университет. Основные работы посвящены жизни и творчеству А.П. Чехова («Чехов. Статьи. Материалы. Библиография», 1930, и др.). Автор книг по истории театра и творческих портретов русских актеров. Книга «М.С. Щепкин» вышла в серии «Жизнь замечательных людей» в 1933 г.
- ¹⁴⁰ *Радциг Александр Александрович* (1869–1941) — ученый в области теплоэнергетики, член-корреспондент АН СССР (1933). Автор трудов по теплотехнике и термодинамике.
- ¹⁴¹ *Кржижановский Глеб Максимилианович* (1872–1959) — государственный деятель, ученый в области электроэнергетики, с 1930 г. директор Энергетического института АН СССР (ныне носит его имя). Академик (1929), вице-президент АН СССР (1929–1939), Герой Социалистического Труда (1957). Занимал высокие посты в партийном и государственном руководстве: в 1903–1904 гг. член ЦК РСДРП, член ЦК партии в 1924–1939 гг. В 1920 г. председатель комиссии ГОЭЛРО. В 1921–1923 и в 1925–1930 гг. председатель Госплана. Автор текстов песен «Варшавянка», «Беснуйтесь, тираны...» и др.
- ¹⁴² *Парсонс Чарлз Алджернон* (1854–1931) — английский инженер и промышленник, иностранный член-корреспондент АН СССР (1931). Изобрел в 1884 г. многоступенчатую реактивную паровую турбину.

- ¹⁴³ *Лаваль Карл Густав Патрик де* (1845–1913) — шведский инженер и изобретатель. В 1889 г. построил усовершенствованную паровую турбину активного типа.
- ¹⁴⁴ *Рато Огюст Камиль Эдмон* (1863–1930) — французский инженер, специалист в области турбино- и насосостроения.
- ¹⁴⁵ *«Литературный критик»* — ежемесячный журнал; начал выходить в июне 1933 г. Основные разделы: теория и история литературы, критика, обзоры и библиография, сатира и юмор, хроника. С 1936 г. при журнале выходил двухнедельник «Литературное обозрение». Возникнув в период острой критики догматической методологии РАППа, журнал до конца 30-х годов продолжал борьбу с вульгарной социологией в оценке литературных произведений, дискутировал проблемы метода и мировоззрения. В 1939–1940 гг. на страницах «Литературной газеты» развернулась дискуссия вокруг книги Г. Лукача «К истории реализма» и ряда статей теоретического характера, опубликованных в журнале. Дискуссия, по существу, свелась к схоластическим спорам о том, «вопреки» или «благодаря» мировоззрению авторов были созданы шедевры мировой литературы, и к проработочным суждениям о журнале, характерным для атмосферы культа личности. Далее на страницах «Литературной газеты» и «Красной нови» появились разгромные статьи о журнале. В 1940 г. постановлением ЦК ВКП(б) «О литературной критике и библиографии» журнал был закрыт.
- ¹⁴⁶ *Шерба Лев Владимирович* (1880–1944) — языковед, академик АН СССР (1943), глава петербургской (Ленинградской) фонологической школы. Автор многочисленных трудов по проблемам общего языкознания, фонологии и фонетики, лексикологии, синтаксиса.
- ¹⁴⁷ *Рыкачев Яков Семенович* (1893–1976) — прозаик, критик, активный член РАППа. Боролся с развитием приключенческой и научно-фантастической литературы в советской прозе в 1920–1940 гг. Характеризовал этот вид литературы как «большое зло», изобличая ее «буржуазную мораль» в многочисленных публикациях, особенно в статье «Наши Майн Риды и Жюль Верны» (1929). После Второй мировой войны стал сам писать авантюрно-приключенческие сочинения, используя некогда так горячо изобличаемые им штампы жанра: «Коллекция геолога Картье» (1963), «Дело Гельмута Шрамма» (1966) и др.
- ¹⁴⁸ *Ермилов Владимир Владимирович* (1904–1965) — критик, литературовед. Член коммунистической партии с 1927 г. В 1924 г. окончил факультет общественных наук МГУ. Печатался с 1920 г. В 1926–1929 гг. был редактором журнала «Молодая гвардия», с 1928 г. од-

ним из секретарей РАППа. В 1932–1938 гг. — главный редактор журнала «Красная новь», в 1946–1950 гг. — главный редактор «Литературной газеты». Неоднократно подвергаясь критике за неверные оценки как современной, так и классической литературы (например, в статье «Против реакционных идей в творчестве Ф.М. Достоевского», 1949), Ермилов охотно признавал ошибки и менял точку зрения на противоположную в угоду официальной позиции. Как критик современных писателей оставил по себе недобрую память разгромными и далекими от объективности статьями. Особую «неприязнь» питал к творчеству А. Платонова. Н. Малыгина в статье «Полвека без Андрея Платонова» («Знамя», 2001 г., № 7) пишет: «Найден и опубликован поразительный документ — донос критика Ермилова сразу двум адресатам — Жданову и Фадееву. В прилагаемом к нему письме А. Фадееву сказано: «Даже у таких людей, как В. Катаев, Е. Петров, Г. Мунблит, Я. Рыкачев, Е. Усиевич, Ф. Левин, имеется нечто вроде культа Платонова. Благоговеют перед ним». Цитируемый Малыгиной документ опубликован в журнале «Октябрь» (1991, № 10), а написан он был Ермиловым в 1939 г. Опубликованный в 1946 г. в «Новом мире» (№ 10–11) рассказ Платонова «Семья Иванова» Ермилов назвал «клеветническим» («Литературная газета», 4 января 1947 г.), но, «спохватившись» спустя 17 лет, признал свою статью ошибочной («Литературная газета», 17 октября 1964 г.). Личность Ермилова однозначно оценивалась современниками, что ярче всего проявилось в следующих бытовых эпизодах: на табличке со словами «Осторожно! Злая собака», прикрепленной на калитке дачи Ермилова в Переделкино, появилась приписка «и беспринципная». После смерти Ермилова на гражданскую панихиду в ЦДЛ не пришел никто и, по свидетельству Б. Сарнова (см. его книгу «Случай Эренбурга», М., 2004, с. 425–426), распоряжением ЦК в зал согнали всех служащих Дома литераторов и Союза писателей.

¹⁴⁹ *Плиний Младший* (61 или 62 — ок. 114) — римский писатель. Из сочинений сохранились собрание писем в 10 книгах и похвальная речь «Панегирик» императору Траяну.

¹⁵⁰ *Лифшиц Михаил Александрович* (1905–1983) — философ, эстетик и литературный критик. Член коммунистической партии с 1938 г. Действительный член Академии художеств СССР (1975). Учился в Высшем художественно-техническом институте. С 1925 г. вел курсы философии и эстетики в вузах Москвы. В 1938–1941 гг. — главный редактор серии «Жизнь замечательных людей». Центр научных интересов Лифшица — изучение философского и эстетичес-

кого наследия К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина. Составитель сборников «Маркс и Энгельс об искусстве» (1993, в соавторстве с Ф.П. Шиллером; более полные издания — 1938, 1957), «Ленин о культуре и искусстве» (1938). Убежденный противник искусства модернистов и философии интуитивистов, Лифшиц в своих послевоенных публицистических выступлениях связывал эти направления с реакционными политическими режимами.

¹⁵¹ *Когда редактором был Фадеев...* — А.А. Фадеев не был редактором «Литературной газеты» в указанные мемуаристом годы. С января 1942 г., когда эта газета в результате объединения с газетой «Советское искусство» выходила под названием «Литература и искусство» до ноября 1944 г., Фадеев действительно был ее редактором. После этого газете вернули прежнее название, а Фадеева сменил А.А. Сурков.

¹⁵² «*Детская литература*» — литературно-критический и библиографический журнал; выходил в Москве с 1932 г. (в 1941–1965 гг. не издавался). С 1998 г. перешел в ведение группы учредителей, в их числе Международное сообщество писательских союзов и Союз писателей России.

¹⁵³ *Шкловский Виктор Борисович* (1893–1984) — писатель, литературовед, критик. Учился на филологическом факультете Петербургского университета. Печатался с 1914 г. (книга «Воскрешение слова» и др. работы). Был близок футуристам, позднее стал членом ОПОЯЗа (Общества изучения поэтического языка) и одним из теоретиков этой ветви формального метода в литературоведении. В 30-е годы отходит от этого направления и переходит к исследованию искусства с широким социально-историческим обоснованием его развития. Итоговые книги: «Художественная проза. Размышления и разборы» (1959), «Повести о прозе» (т. 1–2, 1966), «Тетива. О несходстве сходного» (1970). Автобиографический принцип лежит в основе мемуарных книг «Гамбургский счет» (1928), «Жили-были» (1962) и др. Значительное место в творчестве Шкловского занимают работы о русских классиках, среди них фундаментальная биография «Лев Толстой» (1963; два изд. 1967, оба в серии «Жизнь замечательных людей»).

¹⁵⁴ *Козлов Иван Иванович* (1779–1840) — поэт, переводчик. Выходец из знатного дворянского рода. Служил в гвардии, с 1798 г. — на гражданской службе. В 1821 г. ослеп после тяжелой болезни и занялся литературным творчеством. Наибольшую известность принесла ему поэма «Чернец» (полностью издана в 1825 г.). Переводил стихи многих зарубежных поэтов, в их числе и стихи Р. Бёрнса.

Перевод стихотворения Т. Мура «Вечерний звон» стал популярной песней.

- ¹⁵⁵ *Михайлов Михаил Илларионович* (1829–1865) — поэт, публицист, переводчик, революционный деятель. Родом из Оренбурга. С 1845 г. печатал стихи и очерки в петербургских газетах и журналах. В 1846 г. переехал в Санкт-Петербург, сблизился с Н.Г. Чернышевским. В 1851–1855 гг. опубликовал несколько повестей, в 1854 г. вышел роман о провинциальных актерах «Перелетные птицы». Печатался в «Современнике», был близок революционно-демократическим кругам, вел конспиративную работу, принимал участие в составлении и распространении листовок с призывами свергнуть самодержавие. В 1861 г. был арестован и приговорен к 6 годам каторжных работ и пожизненному поселению в Сибири. На каторге продолжал писать стихи и прозу. Умер через 4 года; сообщение о его смерти Герцен поместил в «Колоколе» (1865, № 205). Михайлов — один из крупнейших русских переводчиков XIX века и теоретик перевода. Особое значение имеет его работа над переводами Г. Гейне. А. Блок писал в 1919 г., что среди переводчиков Гейне Михайлов «не превзойден никем». Переводил он и стихи Р. Бёрнса, но эти переводы немногочисленны.
- ¹⁵⁶ *Гербель Николай Васильевич* (1827–1883) — поэт, переводчик, библиограф. Окончил Нежинский лицей, служил в гвардии; в 1860 г. вышел в отставку и занялся литературно-издательской деятельностью. Был близок М. Михайлову (см. предыдущее примеч.), причастен к тайному обществу «Земля и Воля». Печатался с 1846 г. Стихи его не отличались особыми поэтическими достоинствами; более значительны переводы из немецкой и английской поэзии, в числе последних были и переводы стихотворений Р. Бёрнса.
- ¹⁵⁷ *Щепкина-Куперник Татьяна Львовна* (1874–1952) — писательница, переводчица. Правнучка актера М.С. Щепкина, она с детства была связана с артистической средой. Первая написанная ею пьеса «Летняя картинка» (1892) была поставлена на сцене Малого театра. Автор ряда других пьес, рассказов, вошедших в сборники «Незаметные люди» (1900), «Труждающиеся и обремененные» (1903) и др., повестей, путевых очерков. Выпустила несколько сборников стихов («Облака», 1912; «Отзвуки войны», 1915). Стихотворение «От павших твердынь Порт-Артура» стало народной песней. Переводы драматургии Э. Ростана, У. Шекспира, Мольера, Р.Б. Шеридана и других классиков мировой литературы составляют наиболее значительную часть литературного наследия Щепкиной-Куперник. Переводила она и поэзию, в том числе стихи Р. Бёрнса.

- ¹⁵⁸ *Клычков* (псевдоним, наст. фамилия Лешенков) *Сергей Антонович* (1880–1937) — поэт, прозаик. Родом из деревни. Участник 1-й мировой войны. Печатался с 1906 г. как поэт. С первых поэтических сборников («Песни», 1911; «Потаенный сад», 1913) примкнул к так называемому новокрестьянскому направлению в русской поэзии, окончательно сложившемуся в 1914–1916 гг. (Н. Клюев, С. Есенин и др.). Критики разных направлений неизменно давали высокую оценку ранней и более зрелой лирической поэзии Клычкова. В 1911–1914 гг. он подолгу жил в деревне, занимался крестьянским трудом. В 1912–1916 гг. приобрел широкую известность, печатался в наиболее видных московских и петербургских журналах. Восторженно приветствовал Февральскую революцию; Октябрьскую революцию, как и другие новокрестьянские поэты, принял безоговорочно. С 1921 г. жил в Москве, опубликовал несколько сборников стихов, автобиографический роман «Сахарный немец» (1925), романы «Чертухинский балакирь» (1926), «Князь мира» (1928). В 30-е годы заклеймен как «идеолог кулачества» и вынужден был зарабатывать переводами. В 1937 г. был необоснованно репрессирован, приговорен к расстрелу и расстрелян в день приговора. Реабилитирован посмертно в 1956 г.
- ¹⁵⁹ *Ильин М.* (псевдоним; наст. имя Илья Яковлевич Маршак; 1896–1953) — писатель, брат С.Я. Маршака. Инженер по образованию, работал на Невском стеариновом заводе. С 1924 г. сотрудничал в детском журнале «Новый Робинзон». В 1927 г. вышла его научно-популярная книга для детей «Солнце на столе», за ней последовали книги «Который час?» (1927) — о том, как люди научились измерять время, «Черным по белому» (1928) — о развитии письменности, «Рассказы о вещах» (1936), «Человек и стихия» (1947), «Путешествие в атом» (1948) и др. Оценка мемуаристом творчества Ильина, упоминаемых далее Б. Житкова, Е. Ильиной, стихов для детей С. Маршака и К. Чуковского носит явно пристрастный и субъективный характер.
- ¹⁶⁰ *Житков Борис Степанович* (1882–1938) — писатель. В 1906 г. окончил естественное отделение Новороссийского университета, в 1916 г. — кораблестроительное отделение Петербургского политехнического института. Человек разносторонних знаний и профессий, Житков начал печататься в 1924 г. (сборник повестей «Злое море»), опубликовал цикл повестей и рассказов «Морские истории» (1925–1937), сказочные повести «Пароход» (1935) и др. Уже после смерти писателя вышла в 1939 г. детская повесть-энциклопедия «Что я видел», написанная от лица четырехлетнего мальчи-

ка Алеши-Почемучки и прочитанная многими поколениями детей. Блестящий стилист, мастер неожиданного и динамичного сюжета, Житков оказал значительное влияние на развитие современной ему прозы.

- ¹⁶¹ *Ильина Е.* (псевдоним, наст. имя Лия Яковлевна Прейс; 1901–1964) — писательница. Сестра С.Я. Маршака. Писала стихи и прозу. Автор повести «Четвертая высота» (1945) — о героине Великой Отечественной войны Гуле Королевой, документальной повести о детстве и юности К. Маркса «Неутомимый путник» (1964).
- ¹⁶² *Тараховская Елизавета Яковлевна* (1895–1968) — писательница. Училась на Бестужевских курсах в Петербурге. Печаталась с 1925 г., писала главным образом для детей: книги «Тит полетит» (1925), «Метрополитен» (1932), «Сказка про живую воду» (1953), «Луна и лентяй» (1960) и др. Опубликовала сборники лирических стихов «Скрипичный ключ» (1958) и «Птица» (1965). В литературных кругах пользовались популярностью эпиграммы Тараховской, остроумные, порою едкие, вроде той, которую приводит мемуарист.
- ¹⁶³ *Орлов Владимир Иванович* (1916–1974) — писатель и журналист. Окончил в 1938 г. Московский энергетический институт. С 1942 г. печатал научно-популярные очерки и статьи в «Правде» и др. изданиях. Автор научно-популярных книг для детей «Подземная гроза» (1944) — о минном оружии, «Секрет изобретателя» (1946) — о технических изобретениях, «О смелой мысли» (1951) и др. Выступал в печати со статьями о мирном использовании атомной энергии («Богатырский атом», 1962, и др.). Один из авторов книги «Лицом к лицу с Америкой...» (Ленинская премия, 1960).
- ¹⁶⁴ *Сафонов Вадим Андреевич* (1904–2000) — писатель. Печатался с 1923 г. как журналист. Биолог по специальности, работал в научно-художественном жанре. Первая книга «Ламарк и Дарвин» вышла в 1930 г., за ней последовали книги «Власть над землей» (1941), «Загадка жизни» (1946) и др. Автор биографической повести «Александр Гумбольдт» (1936; последующие издания под названием «На горах — свобода!») и других книг на темы истории человечества: «Механик великого художества» (1938), «Князь непобедимый» (1942), «Арион» (1963). В 1967 г. вышел сборник рассказов «Неведомая фреска».
- ¹⁶⁵ *Ананишвили Элизбар Георгиевич* (1912–2000) — писатель, переводчик. Физик по образованию, хорошо владея немецким, итальянским, французским, английским и, естественно, родным грузинским языками, стал профессиональным переводчиком и переводил стихи, прозу, драматургию с разных языков; наиболее известны

переводы классической и современной грузинской прозы. Был вице-президентом литературной комиссии Международной Федерации Переводчиков (FIT) при ЮНЕСКО.

¹⁶⁶ «Под знаменем марксизма» — ежемесячный философский и общественно-научный и политический журнал; выходил с января 1922 по июнь 1944 г в Москве. В первых двух номерах опубликована статья Л.Д. Троцкого «Об общих задачах журнала» (эти номера не сохранились, т.к. после высылки Троцкого из страны были изъяты из обращения и уничтожены). В третьем номере появилась уже статья В.И. Ленина «О значении воинствующего материализма» с положительным отзывом на статьи Троцкого и с добавлением того, что журнал должен неуклонно разоблачать современных «дипломированных лакеев “поповщины”» (т.е. идеалистических философов). Против ожидания, в журнале публиковались статьи по философским проблемам физики, теории эволюции, физиологии, генетики, евгеники. К примеру, в журнале трижды публиковались статьи основателя квантовой физики Макса Планка. С начала 30-х гг. журнал начал испытывать постоянное идеологическое давление со стороны партийного руководства. В 1931 г. вышло постановление ЦК ВКП(б) от 25 января «О журнале “Под знаменем марксизма”» с требованием «беспощадной критики всех анти-марксистских и анти-ленинских установок» в современных науках. Фактически это означало прекращение любых дискуссий. По свидетельству академика-марксиста Б.М. Кедрова, журнал «...во время войны... как-то захирел и в середине 1943 года прекратил вообще свое существование. Он не был закрыт. Нет, он просто не имел сил выходить в свет». Впоследствии вместо него, с 1947 г., стал выходить журнал «Вопросы философии».

¹⁶⁷ *Либединский Юрий Николаевич* (1898–1959) — писатель. Член коммунистической партии с 1920 г. Участник Гражданской войны, был политработником в Сибири, на Урале, в Москве. Был одним из руководителей РАППа. В 1922 г. опубликовал принесшую ему известность повесть «Неделя» — о времени «военного коммунизма». Убежденный сторонник нового социального уклада многонациональной страны и новых, по его мнению, отношений между людьми, он романтизировал и этот уклад и эти отношения в своих произведениях (роман «Рождение героя», 1930, и др.). Нередко обращался и к прошлому, расценивая его как подготовку великих перемен и борьбу за них (роман «Баташ и Батай», 1939; трилогия «Горы и люди», «Зарево», «Утро Советов», 1947–1951). Автор книги воспоминаний «Коммунисты» (1957) и мемуаров «Со-

временники» (1958). Во время Великой Отечественной войны работал во фронтовой газете «Красный воин», был корреспондентом «Красной Звезды».

¹⁶⁸ *Лелевич, Г.* (псевдоним; наст. имя Лабори Гилелевич Калмансон; 1901–1945) — критик, поэт. Член коммунистической партии с 1917 г. В годы революции и Гражданской войны был на партийной работе. Опубликовал сборники стихов о революции «Набат» (1921) и «В Смольном» (1925). Участвовал в борьбе литературных групп 20–30-х годов как критик и один из редакторов журнала «На посту», ратуя за пролетарское искусство с позиций партийного руководства литературой при упрощенческом и вульгарно-социологическом подходе к явлениям искусства и литературы (книга «На литературном посту. Статьи и заметки», 1924, и др.). Был незаконно репрессирован, реабилитирован посмертно.

¹⁶⁹ *Стечкин Борис Сергеевич* (1891–1969) — ученый в области гидро- и аэромеханики и теплотехники. Академик АН СССР, Герой Социалистического Труда (1961). Ученик Н.Е. Жуковского. Основатель и глава научной школы авиационного и космического двигателестроения. Создал теорию теплового расчета авиационных двигателей, теорию воздушно-реактивных двигателей. В 30-е годы был незаконно репрессирован и, как и многие другие ученые, работал в «шарашке». В 1954 г. организовал лабораторию, выросшую затем в Институт двигателей АН СССР. Одним из первых развернул работы по плазменным и ионным электрореактивным двигательным установкам для космических полетов. Лауреат Государственной (1946) и Ленинской (1957) премий СССР.

¹⁷⁰ *Чаромский Алексей Дмитриевич* (наст. фамилия Бороничев; 1899–1976) — специалист по конструированию двигателей для военной техники (самолетов и танков). Окончил Военно-воздушную академию им. Н.Е. Жуковского в 1928 г. Работал руководителем авиационного отдела НАМИ, был одним из инициаторов создания Центрального института авиационного моторостроения (1930). Репрессирован в 1938 г. и направлен в «шарашку», где продолжал работать конструктором до 1942 г. После освобождения сразу возглавил секретный завод по производству дизельных двигателей. За создание уникальных двигателей для авиации и танков удостоен Сталинской премии (1943).

¹⁷¹ *Яковлев Александр Сергеевич* (1906–1989) — авиаконструктор, академик АН СССР (1976), Герой Социалистического труда (1940, 1957). Под его руководством были созданы многие типы поршневых и реактивных самолетов. Книга «Цель жизни» выдержала 5 изданий

(последнее – в 1987 г.). Лауреат 7 Государственных и Ленинской премии (1972).

- ¹⁷² *Симорин Александр Михайлович* (1899–1961) – биогеохимик, врач. В 1925 г. окончил медицинский факультет Саратовского университета, считал себя «натуралистом с химическим уклоном». Занимался микробиологией, органической химией и исследованием горючих сланцев. С 1931 г. работал в биогеохимической лаборатории АН СССР у В.И. Вернадского. В 1935 г. возглавил экспедицию в Восточное Забайкалье, которая положила начало полевым эколого-геохимическим исследованиям в СССР. Арестован и отправлен в лагерь (1936–1943). В 1937 г. подвергся новому следствию и пережил два ложных расстрела (в спину, из автомата, за 50 шагов), не признался ни в чем. После освобождения в 1943 г. оставлен в Магадане на свободном поселении, организовал химическую лабораторию при местной больнице. Реабилитирован в 1956 г., вернулся в Москву в 1957 г. со справкой о необходимости восстановления на прежней работе, однако восстановлен не был. Умер через 6 месяцев в г. Старый Крым. Вернадский, вплоть до своей смерти в 1945 г., отказывался подписать приказ о его увольнении.
- ¹⁷³ *Новиков Андрей Никитич* (1889–1941) – писатель. Выходец из крестьян. Член коммунистической партии с 1917 г. В 1928 г. вышла его книга повестей и рассказов «Барский двор». Автор сатирической повести «Причины происхождения туманностей» (1929) и романа «Ратные подвиги простаков» (1930), посвященного событиям времен коллективизации.
- ¹⁷⁴ *Боков Виктор Федорович* (р. 1914) – поэт. Выходец из крестьян. В 1938 г. окончил Литературный институт им. М. Горького. Печатался с 1934 г. В стихах Бокова сильна фольклорная струя: сборники «Яр-хмель» (1958), «Весна Викторевна» (1961), «В трех шагах от соловья» (1977) и др. Автор книги прозаических миниатюр «Над рекой Истермой. Записки поэта» (1960). Составил и в 1950 г. опубликовал антологию «Русская частушка».
- ¹⁷⁵ *Кожевников Алексей Венедиктович* (1891–1980) – писатель. Выходец из крестьян. Участник Гражданской войны. Учился в Московском литературно-художественном институте им. В.Я. Брюсова. Печатался с 1924 г., автор многих повестей и романов, материал для которых собирал в долгих поездках по стране. Роман «Магистраль» (1934) посвящен строителям Турксиба, роман «Живая вода» (1950; Государственная премия СССР, 1951) – жизни работников конного завода в Хакасии. Кожевников писал также путевые очерки (сборник «За краем света», 1959, и др.), рассказы и повести для детей.

- ¹⁷⁶ *Серая Сова* (по-индейски *Вэша Куоннезин* — псевдоним; настоящее имя Джордж Стэнсфелд Белани; 1888–1938) — канадский писатель и естествоиспытатель. Выдавал себя за индейца по материнской линии, но на самом деле был англичанином. В юности переехал в Канаду, был лесничим и проводником. Участник 1-й мировой войны. Вернулся в Канаду и занялся приручением бобров. В 1920 г. его приняло к себе индейское племя оджибуэй. В 1925 г. Северная Сова женился на ирокезке и большую часть жизни провел среди индейцев. В книге «Люди с последней границы» (1931) рассказал о жизни в лесах Онтарио. Книга «Саджо и ее бобры» (1935), переведенная на многие языки, пользовалась огромным успехом.
- ¹⁷⁷ «*Литературная Россия*» — литературный еженедельник, выходит с января 1963 г.; создан вместо вышедшей с 1958 г. газеты «Литература и жизнь». Печатает художественные произведения и литературно-критические статьи. Учредители — коллектив редакции и Союз писателей России.
- ¹⁷⁸ *Свирский Алексей Иванович* (1865–1942) — писатель. Родился в бедной еврейской семье, рано осиротел, скитался по России. Член коммунистической партии с 1919 г. Печатался с 1892 г.; в 1893 г. вышла книга «Ростовские трущобы», имевшая успех у читателей. Переехав из Ростова в Петербург, опубликовал в 1898 г. трехтомник «Погибшие люди». Жизнь «отверженных», людей социального дна всегда оставалась главной темой творчества Свирского. Автобиографическая повесть для юношества «Рыжик» (1901) пользовалась широкой популярностью, переиздавалась много раз, в 1960 г. была экранизирована. В 1947 г., уже после смерти автора, вышла книга «История моей жизни», над которой Свирский работал с 1928 г.
- ¹⁷⁹ «*Всемирный следопыт*» — журнал, основанный в 1925 г. издательством «Земля и фабрика». Журнал в основном печатал приключенческую, географическую литературу, рассказы о путешествиях и путешественниках. Популярность издания быстро росла и к 1930 г. его тираж составлял 150 000 экз. В 1930 г. партийные власти начали закрывать все негосударственные издательства; в 1932 г. журнал прекратил свое существование. В настоящее время журнал возрожден издательством «ПАНОРАМА TV».
- ¹⁸⁰ *Сытин Иван Дмитриевич* (1851–1934) — русский издатель и книготорговец. Самостоятельную издательскую деятельность начал с 1876 г., когда приобрел литографию для печатания лубочных картинок. В 1883 г. он уже создал издательскую фирму «Товарищество Сытин и К^о», а в 1890-е годы она превратилась в крупное

издательское предприятие с широким ассортиментом изданий, вплоть до энциклопедических. В 1891 г. Сытин приобрел и продолжил издание журнала «Вокруг света», доведя его тираж до 50 000 экземпляров. С 1897 г. Сытин издавал газету «Русское слово», тираж которой достиг миллиона экземпляров. После 1917 г. Сытин продолжал работать в полиграфии, принимая участие в становлении советского издательского дела. О себе и своей деятельности он рассказал в автобиографии «Жизнь для книги» (издана в 1960 г.).

¹⁸¹ *Вирта Николай Евгеньевич* (1906–1976) — писатель. Печатался с 1923 г. Первый роман «Одиночество» (1935; Государственная премия СССР, 1941) трактовал с официозной точки зрения возглавленное эсером А.С. Антоновым восстание 1920–1921 гг., поднятое крестьянами Тамбовской и отчасти Воронежской губерний, недовольными политикой «военного коммунизма». По мотивам романа Вирта написал пьесу «Земля», поставленную во МХАТе в 1937 г., а в 1939 г. на основе того же романа появилась опера «В бурю» на музыку Т. Хренникова. В 1937 г., в период массовых необоснованных арестов и расстрелов, Вирта опубликовал роман «Закономерность», по сути представлявший собой апологию предательства. Приспосабливаясь к обстоятельствам и «перестраиваясь на ходу», Вирта в 1956 г. выпустил роман «Крутые горы», трактующий о переменах в колхозной деревне, происшедших после XX съезда КПСС, а в 1960 г. — роман «Степь да степь кругом...» о целинниках Казахстана. Многочисленные пьесы Вирты неизменно соответствовали политической ситуации в стране. Сценарий фильма «Сталинградская битва» (1949; Государственная премия СССР, 1950) написан в соответствии с культом личности И.В. Сталина.

¹⁸² *Нагибин Юрий Маркович* (1920–1994) — писатель. Учился на сценарном факультете ВГИКа. Печатался с 1940 г. Участник Великой Отечественной войны; после контузии — военный корреспондент газеты «Труд» (1943–1945). Опубликовал сборник рассказов о войне «Человек с фронта» (1943), «Большое сердце» (1944). В более поздние годы вышли сборники лирической прозы «Перед праздником» (1960), «Переулки моего детства» (1971), «Река Гераклита» (1984) и др. В 1994 г. опубликованы: повесть «Бунташный остров» — о забытых обществом инвалидах войны, автобиографическая повесть «Тьма в конце туннеля», повесть «Моя золотая теща» — о быте номенклатурной элиты 40–50-х годов, роман «Дафнис и Хлоя эпохи культа личности, волюнтаризма и застоя». Опубликованная посмертно в 1995 г. книга «Дневник» содержит острые характеристики литературных и общественных событий.

- ¹⁸³ *Бек Александр Альфредович* (1903–1972) — писатель. Участник Гражданской и Великой Отечественной войн. Печатался с 1919 г. как военный очеркист. Первая повесть «Курако» (1934) посвящена русскому металлургу-доменщику. Автор повести «Волоколамское шоссе» (1943–1944) о защите Москвы в 1941 г., романов «Жизнь Бережкова» (1956) и «Новое назначение» (опубл. в 1986) — о нравственных проблемах, порожденных эпохой культа личности.
- ¹⁸⁴ *Меркуров Сергей Дмитриевич* (1881–1952) — скульптор-монументалист; народный художник СССР (1943), член Академии художеств СССР (1947). Лаконично-обобщенная форма ранних произведений (памятник К.А. Тимирязеву в Москве, 1922–1923) в 30–50-е годы трансформировалась в помпезный монументализм памятников советским государственным деятелям (И.В. Сталину, В.И. Ленину и др.).
- ¹⁸⁵ *Антонов Олег Константинович* (1906–1984) — авиаконструктор; академик АН СССР (1981), Герой Социалистического Труда (1966). Под его руководством создан ряд самолетов, в их числе АН-124. Лауреат Государственной (1952) и Ленинской премий (1962).
- ¹⁸⁶ *Климов Владимир Яковлевич* (1892–1962) — авиаконструктор, академик АН СССР (1953), дважды Герой Социалистического Труда (1940, 1957). Создатель двигателей для самолетов конструкции В.М. Петлякова, А.С. Яковлева и др. Лауреат Государственных премий СССР (1941, 1943, 1946, 1949).
- ¹⁸⁷ *Поликарпов Николай Николаевич* (1892–1944) — авиаконструктор. Герой Социалистического Труда (1940). Под его руководством создан ряд истребителей, учебный самолет и легкий бомбардировщик У-2 (По-2) и др. Лауреат Государственных премий СССР (1941, 1943).
- ¹⁸⁸ *Ильюшин Сергей Владимирович* (1894–1977) — авиаконструктор, академик АН СССР (1968). Трижды Герой Социалистического Труда (1941, 1957, 1974). Под его руководством созданы многие типы бомбардировщиков, штурмовиков и пассажирских самолетов. Лауреат восьми Государственных и Ленинской премии (1960).
- ¹⁸⁹ *Микулин Александр Александрович* (1895–1985) — конструктор. Академик АН СССР (1943), Герой Социалистического Труда (1940). Создатель поршневых турбовинтовых и турбореактивных двигателей для самолетов. Четырежды лауреат Государственных премий СССР.
- ¹⁹⁰ *Ушаков Константин Андреевич* (1892–1967) — ученый в области аэродинамики, ученик Н.Е. Жуковского. В 1920 г. окончил МВТУ им. Баумана. Участник создания аэродинамической лаборатории

- МВТУ, с 1918 г. работал в ЦАГИ, руководил созданием комплекса новых лабораторий. Лауреат Государственных премий СССР (1943, 1949), премии им. Жуковского (1962).
- ¹⁹¹ *Швецов Аркадий Дмитриевич* (1892–1953) — конструктор. Герой Социалистического Труда (1942) Создатель поршневых звездообразных авиационных двигателей. Четырежды лауреат Государственной премии СССР.
- ¹⁹² *Писаржевский Олег Николаевич* (1908–1964) — писатель, публицист. Печатался с 1927 г. Работал референтом в Институте физических проблем АН СССР (1936–1946). Один из зачинателей советской научно-художественной литературы. Автор книг «Адмирал корабельной науки» (1945), «Дмитрий Иванович Менделеев» (1949; Государственная премия СССР, 1951), «Александр Евгеньевич Ферсман» (1955) и др.
- ¹⁹³ *Поликарпов Дмитрий Алексеевич* (1905–1965) — партийный функционер, с конца 1950 г. зав. отделом культуры ЦК КПСС. Именно ему И.В. Сталин сказал свою знаменитую фразу: «В настоящий момент у меня нет для тебя других писателей: хочешь работать — работай с этими». Среди литераторов у Поликарпова было прозвище «дядя Митя». «В отличие от большинства тогдашних партийных бонз, он был последышем тех “неистовых ревнителѐй”, которые исполняли свои партийные обязанности с особым рвением», — пишет Б. Сарнов в уже упоминавшейся выше книге «Случай Эренбурга» (с. 310).
- ¹⁹⁴ *Вавилов Сергей Иванович* (1891–1951) — физик, основатель отечественной школы физической оптики. Академик (1932) и президент (с 1945) АН СССР. Брат академика Н.И. Вавилова (1887–1943) выдающегося ученого-генетика, незаконно репрессированного в 1940 г. и умершего в тюрьме. Автор трудов по физической оптике, главным образом по люминесценции и ее применению. Четырежды лауреат Государственных премий СССР.
- ¹⁹⁵ *Александров Георгий Федорович* (1908–1961) — ученый, автор трудов по философии и социологии. Академик АН СССР (1946). В 1940–1947 гг. руководил управлением агитации и пропаганды ЦК КПСС, в 1947–1954 гг. директор Института философии АН СССР, в 1954–1955 гг. министр культуры.
- ¹⁹⁶ *Топчиев Александр Васильевич* (1907–1962) — химик; академик (1949), вице-президент (с 1958) АН СССР. Автор трудов по проблемам органической химии. Лауреат Государственной (1950) и Ленинской премий (1962).
- ¹⁹⁷ *Юрьев Борис Николаевич* (1889–1957) — ученый в области авиатехники; академик АН СССР (1943). Автор трудов по теории и

- конструированию вертолетов. Дважды лауреат Государственной премии СССР.
- ¹⁹⁸ *Бардин Иван Павлович* (1883–1960) — металлург. Академик АН СССР (1932), Герой Социалистического Труда (1945). Руководил проектированием крупных металлургических предприятий, разработкой и внедрением непрерывной разливки стали. Дважды лауреат Государственной, а также Ленинской премии (1958).
- ¹⁹⁹ *Данилевский Виктор Васильевич* (1898–1959) — историк техники. В 1923 г. окончил Харьковский технологический институт. Изучал техники горно-металлургического производства, рудников и шахт, гидросиловых установок и плотин. Опубликовал монографию о развитии гидроэнергетики в России в XVII–XVIII вв., книгу «И.И. Ползунов. Труды и жизнь» (обе 1940). За эти работы удостоен Сталинской премии второй степени (1942).
- ²⁰⁰ *Посошков Иван Тихонович* (1652–1726) — экономист и публицист. Самоучка, сочетал предпринимательскую деятельность с литературными занятиями; основной труд — «Книга о скудости и богатстве» (1724, изд. в 1824). Стронник преобразований Петра I.
- ²⁰¹ *Фролов Петр Козьмич* (1775–1839) — горный инженер и изобретатель. Построил первую в России конно-чугунную дорогу.
- ²⁰² *Журавский Дмитрий Иванович* (1821–1891) — ученый и инженер. Автор проектов и строитель крупных мостов. Автор трудов по сопротивлению материалов. В 1855 г. получил Демидовскую премию.
- ²⁰³ *Белелюбский Николай Аполлонович* (1845–1922) — инженер и ученый. Разработал методы испытания стройматериалов. По его проектам построены металлические железнодорожные мосты через Волгу, Днепр, Обь и др.
- ²⁰⁴ *Бородин Александр Парфеньевич* (1848–1898) — инженер и ученый, один из основоположников паровозостроения в России.
- ²⁰⁵ *Кирпичев Виктор Львович* (1845–1913) — ученый, автор трудов по теоретической и прикладной механике. Из контекста воспоминаний Л. Гумилевского неясно, имеет ли он в виду именно этого ученого или его сына Михаила Викторовича Кирпичева (1879–1955), академика АН СССР (1939), автора фундаментальных исследований по теплотехнике, лауреата Государственной премии СССР (1941).
- ²⁰⁶ *Шухов Владимир Григорьевич* (1853–1939) — инженер, изобретатель, почетный член АН СССР (1929), Герой Труда (1932). Создал десятки конструкций, отличавшихся новизной, смелостью решения и практичностью, в том числе нефтепроводы, нефтехранилища, установку для термического крекинга нефти и т.д. Лауреат премии им. В.И. Ленина (1929).

- ²⁰⁷ *Ветчинкин Владимир Петрович* (1888–1950) — ученый, механик, заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1946). Один из организаторов ЦАГИ, автор трудов по динамике полета самолета и ракеты. Лауреат Государственной премии СССР (1943).
- ²⁰⁸ *Плаксин Игнат Николаевич* (1900–1967) — ученый в области металлургии и горного дела, член-корреспондент АН СССР (1946). Автор трудов по гидрометаллургии. Лауреат Государственных премий СССР (1951, 1952).
- ²⁰⁹ *Рюриков Борис Сергеевич* (1909–1969) — критик, публицист. Член коммунистической партии с 1932 г. Окончил историко-филологический факультет Горьковского пединститута в 1932 г. В 1941–1946 гг. работал в армейской печати, в 1946–1949 и 1955–1956 гг. — в аппарате ЦК КПСС (в отделах агитации и пропаганды, культуры). В 1953–1955 гг. главный редактор «Литературной газеты», в 1963–1969 гг. — журнала «Иностранная литература». Основные работы посвящены марксистско-ленинской эстетике (книга «Марксизм-ленинизм о культуре и искусстве», 1960, и др.).
- ²¹⁰ *Шпенглер Освальд* (1880–1936) — немецкий философ и историк. Развил учение о культуре как множестве замкнутых «организмов», выражающих коллективную душу народа и проходящих жизненный цикл, длящийся около тысячелетия. Основной труд Шпенглера — «Закат Европы» (т. 1–2, 1918–1922). Согласно теории философа, органическая культура, умирая, переходит в цивилизацию, в которой господствует голый техницизм, а на смену творчеству приходят бесплодие и окостенение.
- ²¹¹ *Бергсон Анри* (1859–1941) — французский философ, представитель интуитивизма. По Бергсону, подлинная реальность — жизнь как метафизически-космический процесс, творческая эволюция, постигаемая посредством интуиции, противоположной интеллекту. Труд Бергсона «Творческая эволюция» был переведен на русский язык в 1914 г. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1927).
- ²¹² *Быков Константин Михайлович* (1886–1959) — физиолог, академик АМН СССР (1944) и АН СССР (1946). Исследовал влияние коры головного мозга на работу внутренних органов. Лауреат Государственной премии СССР (1946).
- ²¹³ *Сурков Евгений Данилович* (1915–1988) — критик, театровед, искусствовед, заслуженный деятель искусств РСФСР (1970). Печатался с 1930 г. В 1947–1949 гг. работал в «Правде». Состоял в редколлегиях газет «Советская культура», «Литературная газета», журнала «Знамя»; с 1969 г. — главный редактор журнала «Искусство кино». Пи-

сал статьи о театре, литературе, кино с позиций теории социалистического реализма в искусстве.

- ²¹⁴ *Кеменов Владимир Семенович* (1908–1988) — историк искусства и художественный критик. Учился в 1-м МГУ (1928–1930), действительный член Академии художеств СССР (1954; вице-президент с 1966); заслуженный деятель искусств РСФСР (1968). Член КПСС с 1939 г. Преподавал в ГИТИСе (1933–1938) и др. учебных заведениях Москвы. В 1938–1940 директор Третьяковской галереи. В 1940–1948 председатель правления Всесоюзного общества культурной связи с заграницей (ВОКС). Зам. министра культуры СССР (1954–1956). В 1956–1958 гг. постоянный представитель СССР при ЮНЕСКО. Основные работы посвящены борьбе течений в современном искусстве и эстетике, утверждению социалистического реализма в изобразительном искусстве, вопросам классического русского и зарубежного, а также советского искусства. Активно поддержал снос храма Христа Спасителя в Москве. Наиболее известна его книга «Историческая живопись Сурикова. 1870–1880-е гг.» (1963).
- ²¹⁵ *Борищков Владимир Иосифович* (р. 1915) — литературовед, член коммунистической партии с 1941 г. В 1940 г. окончил филологический факультет МИФЛИ. Участник Великой Отечественной войны. Занимался историей советской литературы в методологическом плане с позиций социалистического реализма. Книга «Правда и ложь о советской литературе» (1972) и др. работы содержат полемику с зарубежными советологическими концепциями и оценками.
- ²¹⁶ *Орбели Леон Абгарович* (1882–1958) — физиолог, один из создателей эволюционной физиологии, академик (1935) и вице-президент АН СССР (1942–1946), академик АМН СССР (1944). Лауреат Государственной премии СССР (1941).
- ²¹⁷ *Анохин Петр Кузьмич* (1898–1974) — физиолог. Академик АН СССР (1966) и АМН СССР (1945). Автор трудов по нейрофизиологии — механизмам условного рефлекса и внутреннего торможения. Лауреат Ленинской премии (1972).
- ²¹⁸ *Студитский Александр Николаевич* (1908–1991) — ученый-биолог, гистолог. В 1960–1964 гг. заведовал кафедрой гистологии МГУ. До 1990 г. работал заместителем главного редактора журнала «Успехи современной биологии». Известен «борьбой» с генетикой, активно критиковал «реакционный менделизм-морганизм» в широкой печати. Кроме научной деятельности известен и как писатель-фантаст, проводивший те же идеи в своих произведениях (роман «Разум Вселенной», 1966). Поддерживал научно несостоятельную так называемую «новую клеточную теорию» О.Б. Лепешинской.

- ²¹⁹ *Чагин Петр Иванович* (псевдоним; настоящая фамилия Болдовкин; 1898–1967) — литературный деятель. Член коммунистической партии с 1917 г. Участник Октябрьской революции. Учился на филологическом факультете МГУ. Был на партийной работе (в 1922–1925 гг. второй секретарь ЦК КП Азербайджана и одновременно редактор газеты «Бакинский рабочий»), далее занимался редакционно-издательской деятельностью: директор издательств АН СССР (1933–1938), «Художественная литература» (1939–1946), «Московский рабочий» (1946–1950), «Советский писатель» (1951–1956). Заместитель главного редактора журнала «Дружба народов» (1956–1958).
- ²²⁰ *Шепилов Дмитрий Трофимович* (1905–1995) — политический и государственный деятель. Член-корреспондент АН СССР (1953). В 1952–1956 гг. главный редактор «Правды», одновременно в 1955–1956 гг. и феврале – июне 1957 г. секретарь ЦК КПСС. В 1956–1957 гг. кандидат в члены Президиума ЦК и министр иностранных дел. Обвинен в принадлежности к так называемой антипартийной группе Молотова, Маленкова, Кагановича (по официальной формулировке «примкнувший к ним Шепилов») и снят со всех постов. Написал воспоминания «Непримкнувший» (опубл. в 1998 г.).
- ²²¹ *Черноуцан Игорь Сергеевич* (1918–1990) — критик. Член коммунистической партии с 1943 г. В 1941 г. окончил филологический факультет МИФЛИ. Участник Великой Отечественной войны. В 1951–1964 гг. и с 1967 г. ответственный работник отдела культуры ЦК КПСС. В 1964–1966 гг. возглавлял кафедру литературоведения, искусствоведения и журналистики Академии общественных наук при ЦК КПСС. Выступал со статьями об эстетическом наследии К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина, автор книги «О ленинских принципах политики партии в области литературы и искусства» (1958).
- ²²² *Храпченко Михаил Борисович* (1904–1986) — литературовед. Академик АН СССР (1966), Герой Социалистического Труда (1984). Член коммунистической партии с 1928 г. В 1924 г. окончил Смоленский университет. В 1939–1948 гг. возглавлял Комитет по делам искусств при Совете министров СССР. Член Президиума АН СССР. С конца 20-х – начала 30-х годов занимался проблемами стиля и метода советской литературы, метода и мировоззрения писателя с позиций теории социалистического реализма (книга «Творческая индивидуальность писателя и развитие литературы», 1970, Ленинская премия, 1974).
- ²²³ *Волгин Вячеслав Петрович* (1879–1962) — историк. Академик АН СССР (1930). В 1921–1925 гг. ректор МГУ; в 1930–1935 гг.

- непременный секретарь, в 1942–1953 гг. вице-президент АН СССР. Автор работ по истории социалистических и коммунистических идей. Лауреат Ленинской премии (1961).
- ²²⁴ *Тевелев Матвей Герцович* (1908–1962) — писатель. Печатался с 1928 г. участник Великой Отечественной войны; после войны жил в Ужгороде. Опубликовал несколько сборников рассказов, в их числе «Наследники» — о народе на войне. Основное произведение Тевелева роман «Свет ты наш, Верховина...» (1953) посвящен жизни Закарпатья в период между 1-й и 2-й мировыми войнами.
- ²²⁵ *Жинкин Николай Иванович* (1893–1979) — исследовал психологические и психофизиологические механизмы процесса порождения речи («Механизмы речи», 1958). Разрабатывал также психологические проблемы речевой коммуникации, понимания текста, развития речи учащихся.
- ²²⁶ *Новиков Василий Васильевич* (р. 1916) — литературовед, критик. В 1937 г. окончил Куйбышевский пединститут. С 1948 г. руководил кафедрой теории литературы и искусства Академии общественных наук при ЦК КПСС. Писал в основном о М. Горьком, В. Маяковском, о проблеме партийности литературы с официальной позиции. Член-корреспондент АН СССР (1984).
- ²²⁷ *Щербина Владимир Родионович* (1908–1989) — литературовед, критик. Окончил литературный факультет Краснодарского педагогического института. Много лет возглавлял Институт мировой литературы АН СССР. Один из яростных ревнителей «партийности литературы».
- ²²⁸ *Лихтенштейн Ефим Семенович* (1908–1987) — российский книговед, издательский работник, педагог. Многолетний ученый секретарь Комиссии АН СССР по изданию научно-популярной литературы, председателем которой в 1933–1951 гг. был С.И. Вавилов. Автор книг «Редактирование научной книги» (1957), «Теория и практика редактирования» (1961) и др.
- ²²⁹ *Коштыянец Хачатур Седракович* (1900–1961) — физиолог. Академик АН Армении (1943), член-корреспондент АН СССР (1939). Автор трудов по эволюционной физиологии и истории физиологии. Лауреат Государственной премии СССР (1947).
- ²³⁰ «*Литературная Москва*» — литературно-художественный сборник, два выпуска которого вышли в 1956 г. в Москве. Главным редактором сборника был Э.Г. Казакевич. Сборник представлял собой попытку консолидации литературных сил, противостоящих тоталитарной системе. Подвергся резкой критике официальных литературных инстанций, особое негодование которых вызвал рас-

сказ А. Яшина «Рычаги» о рядовом партийном собрании в колхозе, участники которого превращаются во время этого собрания в «рычаги голосования». Сборник был закрыт.

²³¹ «Похоронят, зароят глубоко...» — это стихотворение А. Блока датировано 18 октября 1915 г.; впервые опубликовано в «Солнце России», 1916, № 4. Мемуарист опустил последнюю строфу:

Торопиться не надо, уютно;
Здесь, пожалуй, надумаем мы,
Что под жизнью беспутной и путной
Разумели людские умы.

(Цитируется по изд.: Александр Блок. Собрание сочинений в восьми томах. ГИХЛ, М., 1960, т. 3, с. 154).

²³² *Яacobson Павел Максимович* (1902–1979) — психолог. В 1918–1922 гг. учился в МГУ. Преподавал психологию в школе и высших учебных заведениях, в том числе в Государственном институте театрального искусства (ГИТИС). В 1941 г. добровольно ушел на фронт, после тяжелого ранения демобилизовался и вернулся к профессиональной деятельности (доцент кафедры психологии философского факультета МГУ, с 1944 — научный сотрудник Института Общей и педагогической психологии АПН СССР). Автор трудов «Психология сценических чувств актера» (1936), «Психология чувств» (1966), «Психологические проблемы мотивации поведения человека» (1969).

²³³ *Николаева Татьяна Михайловна* (р. 1933) — языковед, специалист в области славистики и общего языкознания. Автор книг: «Интонация сложного предложения в славянских языках» (1969), «Слово о полку Игореве» и пушкинские тексты» (1997), «От звука к тексту» (2000) и др.

²³⁴ *Михайлов Андрей Дмитриевич* (р. 1929) — литературовед. В 1955 г. окончил филологический факультет МГУ. Печатается с 1954 г. Автор трудов по истории западноевропейских литератур, в их числе работы о творчестве Данте, Дж. Боккаччо, П. Ронсара, Вольтера, П. Мериме, М. Пруста и др. Подготовил издание Собрания сочинений П. Мериме в 6 томах (1963). В 1976 г. вышла книга «Французский рыцарский роман», в 1986 — «Старофранцузская городская повесть “фабль”», в 1995 — «Французский героический эпос».

²³⁵ *Михайлов Олег Николаевич* (р. 1933) — критик, литературовед. В 1955 г. окончил филологический факультет МГУ. Печатается с 1954 г. В 1967 г. вышла книга «Иван Алексеевич Бунин. Очерк творчества». Автор беллетризованных историко-биографических

- книг «Суворов» (1973), «Державин» (1976), «Генерал Ермолов» (1983) и др., книги «От Мережковского до Бродского: литература русского зарубежья» (2001), исторического романа «Кутузов» (2004).
- ²³⁶ *Лазарев Николай Васильевич* (1895–1974) — ученый-фармаколог; токсиколог. Один из первых ученых, обративших внимание на использование растительных ингредиентов для лечения и профилактики разных заболеваний. Автор трудов по изысканию средств, повышающих работоспособность и выносливость организма. Особенно интересовался старинными рецептами из Юго-Восточной Азии.
- ²³⁷ *Ненадкевич Константин Автономович* (1880–1963) — химик-минералог, член-корреспондент АН СССР (1946). Автор трудов по разработке способов извлечения редких металлов из руд. Именем ученого названы открытые им минералы ненадкевит и ненадкевичит. Лауреат Государственной премии СССР (1948).
- ²³⁸ *Шафрановский Илларион Илларионович* (1907–1994) — кристаллограф. Заслуженный деятель науки РСФСР (1973). В 1930 г. окончил ЛГУ. С 1931 г. работал в Ленинградском горном институте, с 1946 г. заведовал кафедрой минералогии. В 1934–1948 гг. преподавал в ЛГУ. Автор трудов по кристалломорфологии, минералогической кристаллографии, истории минералогии и кристаллографии.
- ²³⁹ *Шингарев Андрей Иванович* (1869–1918) — политический деятель. В 1895 г. окончил медицинский факультет Московского университета. В 1895–1907 гг. работал врачом в Воронежской губернии. Член «Союза освобождения», председатель Воронежского комитета партии кадетов, с 1908 г. член ее ЦК. Депутат 2–4-й Государственных дум. После Февральской революции возглавил Министерство земледелия во Временном правительстве первого состава; 25 марта 1917 г. провел закон о хлебной монополии. С 5 мая стал Министром финансов, а со 2 июля, по решению ЦК партии кадетов, вышел из состава Временного правительства. Член Предпарламента. 28 ноября, в день предполагаемого открытия Учредительного собрания, арестован и доставлен в Петропавловскую крепость. 6 января 1918 г. переведен в Мариинскую тюремную больницу вместе с Ф.Ф. Кокошкиным (см. следующее примеч.) и в ночь на 7 января убит матросами и красногвардейцами.
- ²⁴⁰ *Кокошкин Федор Федорович* (1871–1918) — профессор государственного права в Московском университете. Один из создателей партии кадетов (1905). В 1906 г. депутат 1-й Государственной думы. С 1907 г. постоянный сотрудник «Русских ведомостей». В марте–

- июле 1917 г. председатель Юридического совещания при Временном правительстве и председатель комиссии по выработке закона об Учредительном собрании. 28 ноября арестован, содержался в Петропавловской крепости. 6 января переведен вместе с А.И. Шингаревым в Мариинскую тюремную больницу. Убит в ночь на 7 января матросами и красногвардейцами.
- ²⁴¹ *Левин Федор Маркович* (1901–1972) — критик, литературовед. Член коммунистической партии с 1920 г. В 1933 г. окончил Институт красной профессуры. В 1928 г. вышел сборник его стихов «В буре дней», в 1939 г. — повесть для детей «Федоха». Автор статей о русских классиках и советских писателях.
- ²⁴² *Чаплыгин Сергей Алексеевич* (1869–1942) — механик, один из основоположников аэродинамики. Академик АН СССР (1929), Герой Социалистического Труда (1941). Автор трудов по теоретической механике, гидро-, аэро- и газовой динамике. Участвовал в организации ЦАГИ (1918), в 1921–1941 гг. был научным руководителем этого института.
- ²⁴³ *Зинин Николай Николаевич* (1812–1980) — химик-органик, основатель научной школы. Академик Петербургской АН (1865), первый президент Русского физико-химического общества (1868–1977).
- ²⁴⁴ *Виноградов Александр Павлович* (1895–1975) — химик. Академик АН СССР (1953). В 1947 г. возглавлял Институт геохимии им. В.И. Вернадского АН СССР. Профессор МГУ. Автор трудов по гео-, биогео- и космохимии, разрабатывал проблемы химической эволюции Земли. Лауреат премии им. В.И. Ленина (1934). Ленинской премии (1962, трижды лауреат Государственной премии СССР. Награжден Золотой медалью им. М.В. Ломоносова АН СССР (1973).
- ²⁴⁵ *Вагнер Николай Петрович* (1829–1907) — зоолог и писатель. Член-корреспондент Петербургской АН (1898). Автор трудов по фауне беспозвоночных и энтомологии. Автор книги для детей «Сказки Кота-Мурлыки» (1872) и др.
- ²⁴⁶ *Храбровицкий Александр Вениаминович* (1912–1989) — историк литературы. В основном известен как исследователь творчества В.Г. Короленко. Главным делом своей жизни Храбровицкий считал книгу «В.Г. Короленко в годы революции и гражданской войны», впервые вышедшую в 1985 г. на Западе и ставшую своего рода прологом к последовавшему на родине многочисленным публикациям из недоступного прежде наследия русского писателя-гуманиста.
- ²⁴⁷ *Пиксанов Николай Кирьякович* (1878–1969) — литературовед. Член-корреспондент АН СССР (1931). Автор более 700 научных работ

по истории русской классической литературы. Подготовил Полное собрание сочинений А.С. Грибоедова (т. 1–3, 1911–1917). Книги «Три эпохи» (1912), «Пушкинская студия» (1922), «Два века русской литературы» (1923) положили начало семинариям, имеющим целью углубленное изучение проблем литературоведения. Основатель литературного краеведения (книга «Областные культурные гнезда», 1928).

Л.И. Лебедева, С.С. Никитин



Содержание

Л. Лебедева. Четверги у Гумилевского 5

Судьба и жизнь. Воспоминания

Часть первая 11

Часть вторая 136

Часть третья 266

Приложение

Три стихотворных послания М. Зенкевичу 313

Комментарии *Л.И. Лебедевой, С.С. Никитина* 315

Гумилевский Л.И.

Г94 Судьба и жизнь. Воспоминания – М.: Грифон М, 2005. – 368 с., ил. – (Монограмма).

ISBN 5-98862-006-X

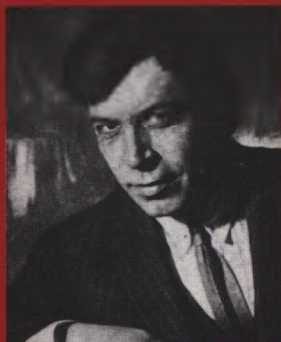
Книгу воспоминаний Льва Гумилевского (1890–1976) поистине можно назвать «романом о двадцатом веке». Автор прожил долгую и творчески плодотворную жизнь, богатую событиями и встречами со множеством людей, — литераторов самого разного уровня и образа мыслей, чиновников от литературы, людей техники от «академиков до плотников», — и все они ожили на страницах его мемуаров, охватывающих время от начала века и до 1969 г., когда писатель завершил свой труд, оставив на его страницах назидание потомкам.

Лев Иванович Гумилевский
СУДЬБА И ЖИЗНЬ. ВОСПОМИНАНИЯ

Редакторы *Л.И. Лебедева, С.С. Никитин*
Художник *Игорь Борисович Северцев*
Корректор *В.А. Элькин*
Оригинал-макет *И.Ю. Домниной*

Подписано в печать 10.04.05
Формат 60х90/16
Тираж 1000 экз. Заказ № 1096

Грифон М
111141, Москва, Электродная ул., 3^б
Тел.: (095) 203-30-85
E-mail: elenagrif@yandex.ru



Книгу «Судьба и жизнь» по праву можно назвать «романом с XX века». Среди персонажей мемуаров присутствуют писатели, журналисты, издатели, чиновники от литературы, государственные и партийные деятели, включая Сталина. Воспоминания А.И. Гумилевского, охватывающие период с 1900 по 1969 гг., — уникальное явление в мемуаристике XX века.

Лев Гумилевский / Судьба и жизнь

ISBN 5-98862-007-8



9 785988 620075 >